НЁМАН

2/2014
ФЕВРАЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 12.02.2014 г. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,15. Тираж 3043. Заказ 335.
Цена номера в розницу 21 400 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ВЕРА ЗЕЛЕНКО

Не умереть от истины[*]

Роман

Людмила Георгиевна Пономарева, в театральной среде попросту Люська, переживала не самые легкие времена в своей жизни. Головокружительный успех, случившийся в начале карьеры, сменился бесконечно долгим простоем, ненавистью окружающих, обвинениями в дурном характере, заносчивости и в зазнайстве. Далее пошли неудачные попытки создания семьи, трудные отношениями с повзрослевшим сыном. Поначалу казалось, что если уж она чего-то достигла, пусть с трудом, пусть ценой неимоверных усилий, то достигла она этого навсегда. И если роль получилась, то она будет блистать в ней вечно. А следующую она нанижет, как редкую жемчужину, все на ту же нитку, и так соберет настоящее ожерелье, в котором будет красоваться и пять, и десять, и пятьдесят лет. Такими же неповторимыми бусинами лягут ее браки с Антоновым и Городецким. И все подруги будут завидовать ей, какие талантливые мужики любили ее в жизни. Ее маленький Ваня, самый чудесный бриллиант, так и будет смешно складывать губки в трубочку и лепетать умилительно: «Мама Люся, я тебя вот так сильно люблю!» И вовсе не хотелось, чтобы он рос, грубел, потихоньку учился врать, курил в подворотне, прогуливал уроки, хватал девок за толстые ляжки...

Все оказалось иллюзией. За первой ролью вторая пришла через девять лет. Людмила Георгиевна была все еще обворожительна, но по утрам кожа выглядела чуть-чуть дряблой и сухой, голос стал почему-то низким, походка не так легка. Из угара семейной жизни она вынесла одно: брак — это меморандум о ненападении. Как только одна сторона забывает об этом, все рушится, все превращается в грязь, на которой уже ничего не произрастает. С сыном отношения тем более зашли в тупик. Когда он вырос, он вообще не мог взять в толк, почему эта нервная, взбалмошная тетка позволяет себе его поучать. Его, такого умного, тонкого и талантливого. Ее задача его накормить, одеть и обуть. Все! С остальным он справится как-нибудь сам.

Людмила Георгиевна все преодолела. Сидела без перерыва на диетах, подтянула кожу, вырвала одну роль, потом другую, при этом, правда, потеряла лучшую подругу. Новые роли сыграла ослепительно и дерзко, словно кто-то сверху вдохнул в нее новую жизнь. С мужьями разобралась: одному помогла построить квартирку в спальном районе, другого пристроила в Москву, в лучший столичный театр. В общем, бывшие мужья плавно перешли в разряд благодарных друзей. Сына определила в консерваторию, при случае отправила в Америку, где он благополучно женился на официантке придорожного кафе. По крайней мере, она знала: он никогда не будет ходить голодным. Сейчас они растят троих детей: мальчики очень похожи на своего русского деда,

---

[*]Окончание. Начало в № 1, 2014 г.

девочка обещает быть красоткой. Словом, можно считать, с поставленными задачами Людмила Георгиевна худо-бедно справилась, «птички» по всем пунктам программы поставила, вот только по ночам почему-то хотелось выть от тоски. Подруг не было, да и в театре, где все соперники, их в принципе не может быть. Дай бог, сохранить хотя бы видимость пристойных отношений. Вне театральной среды о дружбе вообще говорить не приходится. Там, за стенами театра, идет другая, малопонятная жизнь, с иными мерками, иными ценностями.

До Нового года оставалась неделя. Несколько раз появлялась Франческа, по-дружески общалась с ним и с бабой Соней, заботливая, но без навязчивости, приветливая, но без заискивания. Как-то пришла в веселом настроении, вдруг начала мерить Сонины шляпки, которые, словно картинки, были развешаны по всей квартире. Они запылились от времени, потускнели, но в них была память о Сонином величии, о временах, когда ее благосклонности добивались сильные мира сего, да и просто замечательные люди. Сергей всегда с иронией проходился по Сониной страсти к коллекционированию шляпок.

Франческа взялась их примерять. И оказалось, что шляпы эти замечательные, изысканные, редкие. И Франческа в них предстала совсем иной. Захотелось ее обнять, откинуть вуаль, а потом и шляпу, поцеловать в губы, влажные и горькие, сказать что-то очень важное. Она почувствовала его взгляд, смутилась вдруг, сняла шляпу, повесила на место. Кусочек пера остался у нее в руках.

— Ах, баба Соня! Я, кажется, испортила твою любимую шляпку.

— Негодница! Что же я оставлю тебе в наследство? Не пошлые ведь бриллианты, в конце концов. Послушайте, молодые люди, Новый год на носу. Не заняться ли нам подготовкой. А тебе, Сержик, надо еще сфотографироваться на паспорт. Франческа проводит тебя в студию, — это было произнесено таким тоном, будто все давно уже было решено и сопротивляться не имело ни малейшего смысла.

Было как-то неловко снова лепить усы. Сергей ограничился темными очками и шарфом, который замотал чуть ли не по самые уши, усы на всякий случай сунул в карман.

— Сержик, как давно вы были в художественной галерее? — немного важно спросила итальянка, лишь только они спустились по парадной лестнице и вышли на улицу Декабристов.

— Не помню! — Сергея не прельщала перспектива глазеть на картины великих и восторгаться тем, чем уже давно не хотелось восторгаться.

— А в филармонии?

— Тем более не скажу, — усмехнулся он.

— Предлагаю на сегодня культурную программу: галерея, концерт классической музыки и между ними фотоателье. Потом можно и в кафе.

— Франческа, я не готов. Это слишком насыщенная для меня программа. Боюсь, я утомлю вас. Я стал неинтересным собеседником.

— Послушайте, Сержик, что вы ломаетесь? Это будет взаимное... — она задумалась на секунду, — взаимное удовольствие. Правильно я сказала?

Сергей горько усмехнулся.

— Вы что-то другое имели в виду. Может, взаимную пользу.

— Ну да! Я хотела сказать, я вам что-нибудь расскажу о современных русских художниках, вы ведь мало, наверно, знакомы с их творчеством...

— Да, знавал я когда-то двоих, один теперь прозябает в Канаде, другой давно спился.

Франческа пропустила последнюю фразу.

— А вы мне расскажете о театре, о его распаде и о возможном возрождении.

— Я дал себе клятву: никогда и ни с кем больше не говорить о театре. И честное слово, эту тему лучше обсуждать с Соней. Она пережила на своем веку много возрождений и распадов.

Франческа рассмеялась.

— Ее точку зрения я отлично знаю. Меня интересует ваша.

— Вы наделяете меня, актера средней руки, глубинами, которых во мне отродясь не водилось, — с тоской произнес Сергей.

Настя не находила себе места. Все дни и ночи, что последовали со дня трагической смерти Сергея, она никак не могла прийти в себя. Она машинально ходила на работу, по вечерам — на лекции, на все эти никому не интересные занятия, а думала только об одном: как могло так случиться, что здоровый, в расцвете сил, на пике славы мужик, в которого она имела несчастье влюбиться, так бездарно, так не ко времени погиб. В своих мыслях она давно расчистила дорогу к его сердцу: от жены, от любовниц, в наличии которых она ни минуты не сомневалась, наконец, просто от друзей, и все не могла взять в толк, почему он не устремился к ней навстречу по этой самой теперь уже свободной дороге, не повис радостно у нее на плече. Нет, конечно, он был счастлив видеть ее время от времени, демонстрировал приятелям, вот, мол, смотрите, какая дуреха в меня влюбилась, и дуреха-то ничего, с такой и в свет выйти не стыдно. И только его фраза «а ты красивая!», сказанная буднично и равнодушно, заронила в душу зерно сомнения: а нужна ли она ему вообще. Когда любят, когда наслаждаются каждой вместе проведенной минутой, иные слова произносят губы. Настя приходила в театр снова и снова, жадно искала встречи с ним, а потом любой сомнительный жест — разговоры о дочери, о жене, в конце концов, вечно лежащий на столике в гримерке журнал с его фотографией на обложке, — любой жест пыталась использовать против него, лишь бы только развенчать созданный ею образ. Этот журнал мог бы оказать неоценимую услугу: она представляла себе, как, уходя домой, он прячет его в стол, а, возвращаясь в гримерную, снова извлекает на поверхность, потом время от времени бросает нежный, будто случайный, взгляд на свой портрет, и чувство глубокой счастливой благодарности к этому миру, явившему его на свет Божий, заливает его душу. Но даже это не помогало Насте. Она была увлечена им до потери ощущения реальности, до галлюцинаций воспаленного сознания. Ей казалось, закрой она на минуту глаза, затем резко распахни их — и он будет стоять перед нею в метро, в магазине, у подъезда ее дома.

А теперь эта старуха! Чего она от нее хотела? Словно весточка с того света. Нет, вынести все это было невозможно.

Сашка притащил ее в кафе, усадил за столик, спрятанный за колонной в глубине зала, накупил каких-то вкусных вещей, рассказывал что-то взволнованно, лицо его при этом оставалось настороженным. Настя совершила над собой некоторое усилие: попыталась вдуматься в смысл того, что он излагал.

— Настя, что-то не так?

— С чего ты взял?

— Да так... Я и в самом деле привык к тому, что ты у нас девушка особенная, витающая в высоких сферах. Но иногда не мешает все-таки спускаться на землю.

— Я тебя обидела?

— Не более чем всегда. Просто я волнуюсь, ты плохо выглядишь. Этот твой знаменитый нездешний взгляд... Он стал еще более нездешним. И круги под глазами.

— Я плохо сплю, — Настя провела пальцем по золотому изгибу тарелочной каемки.

— Но это не проясняет ситуацию.

— Ну что ты пристал? Трагически погиб один мой знакомый...

— И ты так убиваешься по нему? Он был тебе дорог? С его уходом ты потеряла целый мир? — Сашка потихоньку сползал с иронической интонации, не догадываясь даже, насколько был близок к истине.

— Да! Но я не хочу говорить об этом.

— А о чем? Я вообще не знаю, о чем можно с тобой говорить в последнее время.

Настя кивнула головой, словно подтверждая: никаких больше вопросов!

...Лена размышляла о случившемся. Что-то не складывалось в этой истории. Композиционно чего-то не хватало. Может быть, потому что она не видела Сергея мертвым. И потом, на днях ей попалась заметка, такая маленькая заметочка в газете, на которую не всегда обратишь внимание ввиду ее неприметности, о том, что пропал молодой человек, наружность такая-то. Вышел утром из дома и не вернулся. Родители пребывают в расстроенных чувствах. Молодой человек характеризовался положительно, врагов у него будто бы не было, хотя если хорошо подумать, враги есть у всякого, разве что молодой возраст мог быть гарантией того, что их не могло накопиться слишком много. Врагов, как и друзей, коллекционируешь всю жизнь, а потом в старости «любуешься» на их портреты. Все еще было впереди у юного создания, если было, конечно, впереди хоть что-то. Но вот что было у молодого человека совершенно точно, так это пламенная страсть к шикарным автомобилям и быстрой езде... Нет, конечно, Лена никак не связала эти два события, Серегину гибель и исчезновение пацана, но ведь при желании можно попробовать увязать все что угодно...

Последнее время мысли Елены все больше занимал пропавший паренек, о котором она вычитала в газете.

...Андрюша был тихий мальчик, ясноглазый, приятный, воспитанный. Да и как иначе в семье дипломатов? Долгие годы отец его работал в ООН, мать была первоклассной переводчицей. Мальчишка учился в американской школе, английский знал в совершенстве. Когда вернулись в Союз, тяжело переживали непростой адаптационный период. Жалкие витрины магазинов угнетали, квартира, к получению которой отец приложил в свое время немалые усилия и которой очень гордился, смахивала после американских хором на сарай. Народ вокруг был сплошь грубый, неотесанный. У матери началась депрессия, атаки ослабевали лишь в моменты коротких визитов бывших подруг. Их завистливые взгляды являлись самым действенным лекарством.

Пережить трудности адаптационного периода Андрюше помогла первая любовь к милой девушке с живым взглядом. Она была студенткой консерватории, скрипачкой и не догадывалась, что ее поклонник еще ходит в школу. Была у Андрюши одна страсть: он с детства обожал красивые машины. Ему их дарили десятками — маленькие модели, у которых все было взаправдашнее: шины, колеса, зеркала, фары, руль. Из Америки отец привез великолепный автомобиль — красу и гордость всей семьи. Андрюше оставалось два года до совершеннолетия, два долгих года до того момента, когда он сможет,

наконец, пойти на курсы водителей. А пока ранними утрами на пустынных участках дорог отец давал сыну первые уроки вождения.

На премьеру долгожданного спектакля в новомодном экспериментальном театре северной столицы билеты достать было практически невозможно. И все-таки, используя свои сложные дипломатические связи, отец привел дорогое семейство на спектакль. В ряду припарковавшихся машин Андрюша и узрел шикарный автомобиль. Этот эпизод, скорее всего, проскользнул бы мимо, но из автомобиля вышел мужик, которого позже мальчишка увидел на сцене. И то, как мужик держался во время спектакля, — герой не герой, но уж точно образец для подражания, — произвело на парня неизгладимое впечатление, каким-то непостижимым образом объединилось с впечатлением от автомобиля и залегло глубоко в душу.

А потом были белые ночи, прогулки по набережной Невы. Гуляя допоздна с милой светловолосой скрипачкой Танечкой, забрели они как-то на Петроградскую сторону, а назад до развода мостов вернуться не успели. Гуляли еще и еще, пока Танечка не устала и окончательно не замерзла. И надо же такому случиться, что во дворе дома, где они устроились на скамейке, он снова наткнулся взглядом на тот самый автомобиль. Тут же всплыл образ владельца автомобиля, умного и красивого мужика, и Андрюша неожиданно почувствовал себя почти таким же умным и красивым, надо было только сесть за руль вожделенного автомобиля. Таню он, разумеется, видел рядом. Он ей и слова не сказал в тот вечер о мучивших его мыслях.

Осенью он выследил актера у театра, подкараулил его со старшим дружком, у которого был свой «Москвич». Они дождались актера после дневной репетиции и проследили весь путь до гаража. Зачем они это сделали, Андрюша не смог бы так сразу ответить. А приятель ни о чем и не спрашивал.

...В день рождения Танечки он подкатил на Театральную площадь, у нее как раз закончились занятия с профессором, вручил ей букет алых роз. Танечка ахнула, за ней еще никто не ухаживал так красиво. Эти розы, наверно, стоили целое состояние. Автомобиль окончательно добил ее. Андрюша посадил ее рядом, скрипку небрежно швырнул на заднее сидение, так что у Танечки зашлось сердце, — скрипка была редкая и очень дорогая, — повел машину как заправский водитель, ничего не забыл из папиных уроков. По центральным улицам проехал осторожно, по-мужски элегантно, но как только выехали на загородную трассу, прибавил газу и понесся. Танечка восхищенно смотрела на его точеный профиль.

Удар был сильный, оба мгновенно потеряли сознание. Машина через минуту взорвалась...

...Переступив порог художественной галереи, представлявшей современное искусство, Сергей тотчас понял, что совершил большую ошибку. Это было не совсем то, в чем сейчас особенно нуждалась его душа. От всех этих одноруких и одноглазых чудовищ, вывернутых облезлой душонкой наружу, веяло холодом могилы, психозом надорванного естества, разрушением человеческого разума. Вспомнилась почему-то Инна Виноградова. Стало трудно дышать. Кроме всего прочего, вокруг слонялись толпы бездельников, опасность разоблачения была велика.

— Франческа, извини меня бога ради, мне надо выйти.

— Что-то случилось? — испуганно спросила итальянка.

— Мне надо выпить глоток воды.

Он направился в туалет, плеснул там холодной воды в лицо. Минут пять простоял с опущенными в раковину под ледяную струю руками. Немного

отпустило. Это все нервы. Он дошел до точки. Минут через десять при усах и темных очках, замотанный шарфом, как факир удавом, Сергей спокойно лицезрел все эти надсадные шедевры, пытаясь хотя бы отчасти понять, что же имели в виду авторы «гениальных» творений.

— Франческа, как вы думаете, этот глаз вместо пупка на великолепном женском теле несет идеологическую или все же физиологическую нагрузку? Жаль, я не знаю достаточно выразительных итальянских ругательств!

— Сержик, ну нельзя же столь примитивно понимать искусство.

— И не называйте меня этим дурацким именем — Сержик. Я позволяю это только Соньке.

— А вы не называйте при мне мою тетку Сонькой. Договорились?

— Хорошо! Это будет наш компромисс. А теперь, милая Франческа, позвольте мне присесть. Что-то здорово кружится голова. То ли от вас, то ли от этих потрясающих полотен.

Франческа засмеялась.

— Сережа, можно я еще немножко поброжу одна?

Сергей окинул тоскливым взором долгий зал галереи: по центру стояли скамьи, унылые и безликие, как и все в этом храме искусства, на них сидели такие же унылые посетители галереи. Рядом с белесым старичком зияло свободное место. Еще раз он окинул ненавистным оком все эти потрясающие образчики человеческой безвкусицы, все эти ребусы воспаленного ума. Вот разве что взор с надеждой зацепился за крошечный росток лебеды, пробивающийся сквозь наслоение обломков человеческой жизни, вернее, знаков его присутствия на земле. Потом он наткнулся взглядом на Франческу, что-то встрепенулось на дне души и теплой волной понеслось с током крови по телу. Что там баба Соня говорила о сухом цветке эдельвейса?.. Франческа была хороша. С легким гибким телом. При этом излучала покой и уверенность. Но, боже правый, как много красивых женщин прошло сквозь него, некоторые из них оставили неизгладимый след в его жизни, но не было ни одной, которой бы он любовался так отстраненно, так спокойно, как этой с неба свалившейся итальянкой с русскими корнями. Вот она подошла к очередному шедевру, приподнялась на цыпочках, словно хотела избавиться от бликов, — интересно, есть ли в итальянском слово «на цыпочках», — потом чуть присела, и в каждом ее движении было столько грации, столько смысла, что оставалось только пожалеть о том, что все случилось слишком поздно.

Он уже знал по опыту, что в театр молодые актрисы приходят тонкими и блистательными и остаются такими пять, десять, пятнадцать лет, кому сколько отпущено природой. Потом какая-то часть из них начинает приобретать мягкость, округлость покорно-текучих линий, и в этом определенно есть нечто завораживающее, пока в один момент такая носительница вечной женственности не превращается окончательно в бабу. А жить-то надо. И зарплату получать, и детей растить. А куража уже нет, есть только одно мучительное желание: дойти, доехать, добраться до мучительного финала. И уже не об аплодисментах речь и не о корзинах с цветами. А о том, как не потерять разум, достоинство. Представительницы другой части женского состава почему-то начинают усыхать, превращаться в мумии, как это случилось с Ариадной, — ну и имечко Бог сподобил родителей дать своему дитяти, — и тогда они до старости играют девочек, а угасающая душа уже давно ведет свой отсчет времени, глаза постепенно мертвеют.

— Молодой человек, не правда ли, забавно современное искусство? — старичок надумал перекинуться с Сергеем фразой.

— Не знаю, что и сказать, — неопределенно ответил Сергей в надежде, что старичок обидится и отстанет. Но не тут-то было. Старичок оказался не из обидчивых.

— Игра разума. Игра света и тьмы. Ломкое и грубое искусство. В конечном счете, глубокая эстетическая скованность.

Сергей покосился. Старичок имел неглупое лицо и говорил витиевато.

— Демоны искушают не только плоть, но и разум, — продолжал словоохотливый старик. — А ведь демонов рождает сам человек. А я вас знаю. Вы актер. Простите, запамятовал имя. Вы из того бандитского театра.

«Стоп! Я все равно не дам ему закончить!» — молниеносно промелькнуло в голове.

— Простите, вы ошиблись, — сухо ответил он.

— Не упорствуйте. Вы играли в... Не припомню и названия... Жалкая человеческая участь — потеря всего, из чего состоит жизнь, в том числе и памяти.

Сергей был напуган и удивлен одновременно.

— Не удивляйтесь. Я сам актерствовал в молодости.

— Почему только в молодости? — Сергей решил увести разговор в безопасное для себя русло.

— Неинтересно стало. Я разочаровался...

— Разочаровались в чем? — в Сергее проклюнулся легкий интерес к собеседнику.

— Как вам сказать? Лицедейство — большой грех. Человек должен жить. Сам. А не играть и не притворяться. Это предназначение Всевышнего разыгрывать комедии и ставить мизансцены, декорациями к которой и является наша жалкая и одновременно великая жизнь.

— Я, пожалуй, готов согласиться с вами, но лишь отчасти. Без театра жизнь станет вообще невыносимой.

— Вы ошибаетесь. Человек перестанет жить иллюзией, что можно что-то поправить в жизни благодаря театру. Да и современная живопись, к которой мы сегодня с вами имели счастье прикоснуться, уверяю вас, никого из здесь присутствующих не сделает ни умнее, ни лучше...

Франческа уже минут пять стояла рядом и слушала старичка, не решаясь вклиниться в разговор.

— Вот посмотрите на эту молодую женщину! Что может быть прекраснее, совершеннее в жизни? — стало понятно, что он уже давно следит за Франческой. — Возьмите ее за руку и познайте вместе с нею все радости бытия. Это самое лучшее, что вы можете сделать в этой жизни. И даже если вы пресыщены славой, вином и женщинами, отриньте свой опыт и начните жить так, будто родились сегодня. С годами наша душа становится совершенным и прекрасным проводником самых изысканных чувств.

Старик словно подслушал его мысли.

— А может быть, наша уверенность в том, что мы живем, — только иллюзия? — устало спросил Сергей.

Франческа была смущена, что-то хотела сказать, но не нашлась, да и старичок вдруг проворно откланялся. Через пару шагов он обернулся и вымолвил:

— И передайте привет Соне!

— Кому? — испуганно переспросил Сергей.

— Сонечке Залевской! Софья Николаевна весьма значительная, я бы даже сказал, эпохальная дама. Скажите, Борис Козловский еще жив.

Это было слишком. Зачем эти усы, очки, весь этот маскарад, если первый попавшийся дряхлый старикашка, у которого по всем законам бытия должно

было отшибить память, узнает его и позволяет еще поучать? Да, видно, он не в курсе, что того, с кем он только что беседовал, уже как бы и нет в живых. Наверно, на лице Сергея отразилась сложная внутренняя борьба, ибо Франческа прошептала:

— Сержик, я голодна, я очень хочу есть. Я приглашаю вас в ресторан.

— Согласен. Надеюсь, вы не станете передавать мне деньги под столом? — ответил он с веселым недоуменным бешенством.

Из ресторана они вышли повеселевшие, приятельски настроенные, в общем, легкие.

— Сережа, а ведь мы не выполнили главного задания бабы Сони.

— Это какого?

— Мы не сфотографировали вас.

— Господи, и вы верите в весь этот бред старухи? Какой паспорт! Какая виза! Какая Италия! Да я сдохну от тоски через неделю.

— Вы полюбите эту страну. Ее не полюбить невозможно. Я покажу вам Тоскану с ее холмами, пиниями, побережьем. Я свожу вас во Флоренцию, и вы ахнете, как много вы не познали еще в жизни.

— Дорогая Франческа, если там так мило, что же вы сбежали в суровый край по имени Россия. И не говорите мне, что вами движет память крови. Сколько в вас этой самой круто замешанной крови? Одна шестнадцатая? Тридцать вторая?

— Да разве в этом дело?

— И сколько лет вы уже в России, простите?

— Пять!

— Не слишком ли затянулось ваше знакомство с русской культурой? Да и не самый удачный, прямо скажем, момент вы выбрали для знакомства. Страна агонизирует.

— Какой вы злой, однако!

— Это не я злой. Это жизнь моя злая. Но вы не ответили мне. Что держит вас здесь?

— Вы, — выдохнула вдруг она и смутилась.

— Бросьте! Мы с вами знакомы месяц.

— А мне кажется, всю жизнь.

— Шутить изволите?! Что ж, можно и пошутить, если ничего другого не остается. Надеюсь, в филармонию вы меня сегодня не потащите.

— Вот в этом вы как раз и ошибаетесь. Потащу!

— Что за дикая причуда?!

— Баба Соня просила до ночи не возвращаться. У нее свидание.

— Чего-о-о?

— Свидание.

— Ладно, ведите, — махнул рукой Сергей, слегка уже контуженный ее смущенным признанием.

Концерт скрипичной музыки вопреки ожиданиям привел Сергея в умиротворенное состояние. Музыка в тот памятный вечер звучала классическая: Моцарт, Вивальди, Массне. Что-то, вероятно, иначе было устроено в человеческой душе двести и триста лет назад. Он слушал и не слушал музыку, она сама проникала в его душу. Он никогда не считал себя таким уж меломаном, хотя и не чужд был гармонии. Смешно и грустно теперь вспоминать, но он так и не окончил музыкальную школу. А ведь ему пророчили большое будущее. Матери было не до его музыкальных опытов, но Любаша, Сережина родная бабка, изо дня в день стояла рядом и радовалась каждой правильно взятой ноте, каждой верной интонации. Она таскала за ним виолончель года два или три, не про-

пускала ни одного школьного концерта, ради нее он мучительно осиливал все эти непостижимые для нормального человека премудрости сольфеджио. И все-таки он не выдержал, взбунтовался. И слезы любимой бабки не помогли, вся трудная наука, в один миг разорванная в клочья, почила в бозе. Он стал на путь обретения свободы. И вот теперь он слушал все эти сонаты, сонатины, концерты с такими невзрачными названиями «Ля минор» или «Соль мажор», и вдруг к своему великому удивлению обнаружил, что они не только не раздражают его, но и поднимают над болью и над приключившейся с ним бедой. Франческа смотрела на сцену, отрешенная и прекрасная. Легкая улыбка озаряла ее лицо, ту половину, которую он мог украдкой наблюдать.

Господи, зачем они здесь? Зачем они рядом? Что вообще он сотворил со своей жизнью? Ему бы переварить всех своих прежних женщин. Зачем обременять себя еще одной историей привязанности и еще одного разочарования? Зачем влезать в очередной хомут? Пытаться покорить еще одну женщину с ее ранимой, изнеженной душой, с ее надеждами, которые ни один — даже самый лучший в мире мужчина — не сможет до конца воплотить, с ее ожиданием счастья, которое — он ручается — она не знает сама, как выглядит. Зачем он ей — это отдельный вопрос. Женщина всегда хочет опереться на сильного мужчину. И иногда она его так долго ждет, что не может уже отличить подлинного от того, которым грезит ночами... А может, и правда, разом покончить со всем этим: с выморочной своей жизнью, с театральными химерами, с эфемерностью актерского предназначения, с вымышленным смыслом существования? Покончить со всем этим раз и навсегда, оформить визу и рвануть в благословенную Италию? Там всегда солнце и всегда тепло. Там, хочется думать, живут счастливые люди. А женщины его как будто уже и отпустили: Маша, Ленка и Настя ...

Через неделю Франческа принесла Сереге два французских журнала, и в каждом — откровения о нем. Один вышел на неделю раньше. В нем Машка рассказывала французским читателям о том, какой он был великий актер, бездушный муж и отец при этом. Это прозвучало как выстрел в спину. Как предательство, в котором не было никакого смысла, а только унижение его памяти. Она вспоминала какие-то жуткие истории, в которых он выглядел неподобающим образом и в которых не было ни слова правды. И самое паскудное во всем было то, что он, оказывается, был равнодушным отцом, жестоким воспитателем. Ей ли не знать, что он любил Аленку до беспамятства? И даже когда они с Машкой в чудной, замечательно легкой компании актеров, писателей-драматургов проводили незабываемое лето в Планерском, куда возвращались время от времени, а Аленка оставалась с Лизой дома, и вдруг пришла телеграмма о болезни дочери, он все бросил и помчался в Питер, оглушенный, перепуганный до смерти симптомами Аленкиной болезни. Машка же осталась наслаждаться изысканным обществом.

— Все будет хорошо! — уверяла она Сергея. — Обычные детские недомогания. Вот увидишь, через три дня Аленка поправится!

Аленка и в самом деле быстро пошла на поправку. Однако это не помешало им расстаться. На год. И именно тогда возникла Ленка... Господи! Но ведь Машка упрекает его так, словно имеет право, словно чем дальше уходит в прошлое день его похорон, тем больше она верит в его отцовство. Или все дело в гонораре, который выплатил ей французский журнал?

Второе интервью — с Ленкой — было и того ужаснее. Они будто соревновались — две его бабы — кто выдаст больше откровенных подробностей о нем. В Ленкиных словах проглядывало, по крайней мере, страдание. Стало

ясно, что она его все еще любит, хотя их лав-стори, она признавала это, осталась в прошлом. По крайней мере, в этом она была честна.

— Бедный мальчик! — вздыхала баба Соня. — Любаша всегда говорила, что женщины погубят тебя.

— Софья Николаевна, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо тревожить бабкину душу.

— Что-то ты все о душе, мой мальчик. Раньше ты не был к этому склонен. Знаешь, Сержик, я тебе честно скажу: Машка твоя порядочная стерва. Я всегда недолюбливала ее.

— Баба Соня! Прошу, не надо!

— Ну, ладно-ладно. Чай пить будешь?

— У себя в комнате.

— Кстати, паспорт твой будет скоро готов. Дальше займемся визой. А ведь раньше визой занимался дворник и приносил ее в течение дня. Да, времена в моей молодости были не столь забюрократизированные.

— Софья Ивановна, я вам очень благодарен за участие, — слова прозвучали подчеркнуто чинно, — но я ведь никогда не говорил вам, что согласен на отъезд. Вся эта суета вокруг моего тела выглядит несколько комедийно.

— Как это не говорил? — возмутилась баба Соня. — Ты сфотографировался и этого достаточно.

— Это была моя ошибка. Я сделал это ради вас. Чтобы вы успокоились хотя бы на время.

— Я успокоюсь, когда самолет с тобой на борту поднимется в воздух.

— Несносный вы человек! Скажите хотя бы, какая у меня будет фамилия?

— Не помню. Что-то нейтральное. Чтобы с такой фамилией ты везде был своим.

— Я даже в родном городе чужой. А вы хотите... — Сергей в сердцах махнул рукой. — И как вы все это собираетесь обтяпать? Ведь для визы нужна биография, какие-то документы, заверения, подписи?

— С этим как-то можно справиться. Да не волнуйся ты так! Я вот, старуха, так не оплакиваю свою жизнь... — она осеклась, поняла бестактность сравнения. — Да не волнуйся ты так! — повторила она. — Сделают тебя свободным художником. А со свободного художника, сам знаешь, взятки гладки. Он, как перекати-поле, ни в ком не нуждается и никому ничего не должен. Сержик, я завидую тебе. Я была в Италии до революции несколько раз. Это со-о-всем другая жизнь. Да в твои годы всякая жизнь другая. Главное — любить ее, жизнь... Сержик, ты только посмотри, ну взгляни же на экран, какие симпатичные, милые ребята! — баба Соня приникла взглядом к экрану. — И какая внутренняя свобода! Они ничего не боятся. Это же просто невероятно! Кто-то гениальный придумал эту обворожительную форму общения: они мило щебечут, как будто о пустяках, а на самом деле о весьма важных и интересных вещах. Такое возможно только в московской среде. В Питере все словно заморожены немного. Впрочем, наш Саша мало в чем им уступает. Вот только злости у него многовато. А эти мальчики такие воспитанные... и обаятельные, и вдобавок большие эрудиты.

— Баба Соня, брось! Представь их лет через двадцать пять. Лысыми, с брюшками. Им станет лень говорить о всеобщей любви к человечеству. Привязанность к более прозаическим вещам возьмет в них верх.

— Ну вот мой дорогой, ты все испортил. Мне и впрямь тяжело их представить на вершине жизни. Там почему-то всегда меньше солнца. — Баба Соня бросила рассеянный взгляд на Сергея и запнулась. Она с трудом поднялась со стула, не спеша направилась к телевизору, переключила канал.

— Ах, снова Рубенчик! Всю жизнь так бы и смотрела на его смешную рожу. Знаешь, что он мне сказал однажды? «Истина жизни, Софочка, открывается человеку в тот момент, когда он держит на ладонях своего ребенка, а потом целует его в голую попку. Этого не объяснишь словами». И это он отважился сказать мне, понимаешь, мне? Быть может, только тебя одного я и держала на руках маленького, такой теплый комочек жизни. Пронзительный был момент, хоть ты и не мой ребенок. Впрочем, кто знает, — задумчиво произнесла старуха, не глядя на вконец расстроенного Сергея. — А еще, знаешь, Рубенчик так прекрасно говорил об одиночестве. Что вот, мол, одиночество это высшая степень человеческой свободы. Иногда я бываю согласна и с этим. А что думаешь об одиночестве ты? — и она взглянула на бедного Сержика. Гримаса боли и отчаяния исказила его черты. — Ну, Сержик, будет тебе, будет! Не хватало еще нам разрыдаться над тем, что жизнь не оправдала наших чрезмерных ожиданий. А знаешь, в чем твоя беда? — сказала она неожиданно жестко. — Ты слишком сосредоточен на самом себе. Ну скажи честно, что такого страшного произошло. Ну, напугал ты всех и самого себя немного. Но ведь ты жив, и даже не очень пострадал. И все можно вернуть на круги своя и даже устроить куда лучше. Надо только расстаться со своей болью.

— Но ведь в той жизни осталась Аленка, — начал оправдываться Сергей.

— Сержик, заметь, она тоже жива и здорова, и, Бог даст, ты останешься светлым пятном в ее жизни, и любовь к тебе сделает ее чище и возвышенней. А если тебя что-то не устраивает, пади к Машкиным ногам и моли ее о прощении.

Сергей застонал вслух, новая волна боли, ярости и тоски окатила его с головой. Он больше не мог продолжать этот разговор. Он подхватил лежащую на столе газету и стремглав выскочил из гостиной... Иногда старуха бывает несносной. Как будто специально отыскивает язвы на его теле и безжалостно срывает чуть подсохшую корку. Хотя... кто знает... в чем-то она, безусловно, права. Сколько можно страдать, сколько можно рыдать о безвозвратно потерянном, пусть и по его величайшей глупости? Вокруг люди старятся, теряют слух и зрение и все равно продолжают радоваться каждому новому дню. А он, мужик в расцвете сил, обрек себя на бездействие, на прозябание в квартире со старухой, сохранившей куда больше благоразумия, чем ей положено в ее преклонные годы. Она радуется каждому прожитому мгновению, каждой минуте общения с ним. Ведь не истукан он бесчувственный, в самом деле, он все прекрасно понимает, замечает, домысливает: к старухе вернулась жизнь.

Тем временем Франческа покинула их, улетела в Париж, а оттуда собралась совершить еще один перелет в Рим. Издательские дела не терпели отлагательств.

На второй день Сергей с удивлением обнаружил, что тоскует по молодой итальянке. Он стал неотступно думать о ее жизни, пытался представить, какое у нее было детство, школа, мальчик, в которого она впервые влюбилась. Ее первая связь с мужчиной, какие слова она говорила ему при этом, как запрокидывала голову. Почему вдруг занялась искусством. Во все времена это являлось привилегией состоятельных людей. И только в нашей стране народ почему-то считал, что можно праздно предаваться делу избранных, не имея ничего за душой. Возможно, Франческа богата. Богатство — то, что делает в конце концов женщину несносной. Нет, неблагодарное это дело пытаться представить себе жизнь молодой женщины. К тому же иностранки. К тому же красивой. Он и не заметил, как стал считать Франческу красивой. Странные мысли в голову приходят иногда...

Софья Николаевна, по-бабьи охая, с трудом опустилась на колени перед шкафом красного дерева. По центру шкафа во всю его высоту располагалось ржаво-серебристое, потускневшее от времени зеркало.

— Тусклое и древнее, как и я сама, как и вся моя жизнь, — тяжело вздохнула старая женщина.

Она потянула на себя нижний ящик, широкий в основании. Ящик не поддался.

— Этого еще не хватало! — в сердцах воскликнула старуха.

Она дернула за резную ручку еще раз, потом еще и еще, но с тем же результатом. Ноги в непривычном положении мгновенно устали. Она с трудом поднялась, пошла за спицей. Одной из тех, что валялись в кладовке. Некогда она была славной вязальщицей. Когда-то в Питере, в театральных кругах, была мода на ее вещи. Особенно в 30-е годы. Даже Лилечка не гнушалась носить ее кофточки. «Свяжи, Соня, что-нибудь красивое, с глубоким вырезом. Обожаю яркие вещи!» — говаривала она.

Слава богу, Сержик ушел, а то непременно поинтересовался бы, что за суета началась в Сониной комнате.

Софья Николаевна вернулась с коробкой спиц, вытащила самую длинную и тонкую, просунула ее в выщерблину в верхней кромке ящика, спица прошла на полдлины и уперлась во что-то твердое. От сердца отлегло: шкатулка, стало быть, на месте. Соня долго билась над выдвижным, но чем-то запертым ящиком, потом все-таки сообразила сходить на кухню за старым широким ножом, больше похожим на казацкую саблю, осторожно поместила его конец между кромкой ящика и дном платяного отсека, направила его под углом от пола и кверху, стала медленно просовывать, так что нож в конце концов вошел во всю свою длину. И тогда она снова потянула ящик на себя. Он поддался с трудом, но все-таки начал потихоньку выдвигаться. Шкатулка была на месте.

Эта была вещь редкой красоты — тонкая резная работа по розовому дереву. Сюжет был задуман под влиянием творчества Альфонса Мухи, невероятно модного в свое время художника из Чехии. Грациозная, девически прекрасная фигура, органично вписанная в виньетку из цветов и листьев, символов и арабесок.

Когда-то отец отдал за шкатулку целое состояние. Давненько Соня не любовалась своими сокровищами. Дрожащей рукой — не столько от старости, сколько от волнения — она вставила ключ, который всегда носила на себе в качестве подвески на платиновой цепочке. Он был довольно изящный и казался не ключом, а весьма необычным украшением. Это была маленькая птичка с крылышками и лапками, вместо глаз — крошечные бриллианты. Собственно лапки и были ключом. Даже самые близкие Сонины подруги не догадывались, что милая птичка на Сониной груди открывала ворота к настоящим сокровищам.

Соня откинула крышку. Внутри шкатулка была подлинным произведением искусства. В ней было потайное дно, за ним открывалось следующее. Но об этом невозможно было так сразу догадаться. Шкатулка состояла из множества отсеков, и каждый был со своей задумкой. В одном из них зеркальное дно, ограниченное такими же зеркальными стенками, отражало нездешний свет россыпи бриллиантов чистейшей воды. Их было двенадцать, все они ждали своего часа. Когда-то их было гораздо больше, но и жизнь ведь длинная.

В другом отсеке стенки были выложены тонким слоем микроскопических ракушек, на дне лежала перламутровая пластина. Само собой, в этом гнездышке хранился жемчуг — серый, обрамленный платиной с вкрапленными

в редкий металл бриллиантами. Кольцо и серьги потрясали воображение. В третьем отсеке, выстланном красным бархатом, покоилось кольцо с огромным рубином, увитым тонкой золотой змейкой. Когда Соня его надела, рубин частично перекрыл два соседних пальца. Далее на черном шелке, отороченном золотой тесьмой, мерцала матовым блеском редкой красоты камея.

И все же все самое ценное располагалось ниже. Второе дно открывалось все той же птичкой, но только уже клювиком, третье — и того проще: надо было вставить в крошечный паз кончик крыла и чуть-чуть повернуть его влево. Пальцы Софьи Николаевны были не столь послушны, как в молодости, ключик то и дело выпадал из рук. И все же она открыла все этажи заветной шкатулки. На самом ее дне покоились сережки изысканной, редчайшей работы, своим неповторимым блеском сверкали бриллианты потрясающей огранки. Соня все еще дрожащими руками достала их из крошечного отсека, поднесла к ушам, глянула на себя в зеркало.

Их она подарит Франческе в день ее бракосочетания. Когда-нибудь это непременно случится, если Бог даст, то и при Сониной жизни. Должно же хоть что-то остаться праправнучке от прапрадеда-золотопромышленника. Если же Соня все-таки покинет этот мир раньше, чем любимая правнучка выйдет замуж, на всякий случай у нее готово завещание. Нотариуса, между прочим, тоже пришлось «смазать», чтобы не болтал лишнее.

Рядом с бриллиантовыми серьгами пустовал отсек. Всякий раз, когда Соня натыкалась взглядом на выложенный тончайшим батистом уголок, сердце ее охватывала тоска. Батист был собран в складочки и завершался кружевом необычайной красоты. Когда-то, давным-давно, еще до войны, здесь были спрятаны серьги с зелеными бриллиантами, предмет острой зависти неравнодушной к самым изысканным украшениям Лилечки, да и не только ее одной. Они едва не стоили Соне жизни... За ними охотились... Кто только не охотился за сережками с зелеными бриллиантами! Лилечка бредила ими.

Соне хватило здравого смысла смириться с инсценировкой ограбления, в котором вместе с песцовой шубой ушли и зеленые бриллианты. Собственно, она ничего не знала о готовящейся акции, именно поэтому ограбление выглядело весьма убедительно. Но и потом она повела себя достаточно рассудительно, не единым словом не выдав ни себя, ни Моню. Так или иначе, Моня был автором и исполнителем «ограбления», и, в конечном счете, Сониным спасителем. Больше она никогда не надевала свои знаменитые бриллианты.

Марии она подарит платиновые серьги с серым жемчугом и бриллиантами. Она достойна сего царского подарка. Да и должна же Соня каким-то образом компенсировать ей потерю дорогого Сержика. Может быть, хотя бы жемчуг отчасти добавит блеска ее не слишком счастливым глазам.

А вот что делать с... Софья Николаевна наконец вспомнила, зачем достала заветную шкатулку. Это украшение должно быть весомо, оно должно быть таким, чтобы человек не смог устоять, чтобы, увидев его, он ответил согласием на еще не успевшую прозвучать просьбу. Соня подержала в руках кольцо — темный насыщенный изумруд величиной с хорошую виноградину в обрамлении более светлых мелких изумрудов, между которыми точечными вкраплениями сверкали бриллианты. Перед самой смертью, уже будучи практически неподвижным, дрожащей медленной рукой отец достал из кармана своего домашнего халата, который почти не снимал, — так холодно было в промерзшем его кабинете — изящную коробочку со словами:

— Сонечка, я оставляю тебя в этом кромешном аду с надеждой, что оттуда, сверху, я буду все контролировать и смогу хоть как-то тебе помочь. А пока пусть будет тебе утешением это!

Он открыл коробочку, тускло просияв слезящимися глазами навстречу украшению дивной работы. Он был редким ценителем прекрасного.

Нет, Соня не может отдать в чужие руки вещь, которая помнит тепло отцовских рук.

А вот это, кажется, было подарено в день ее дебюта. Это было кольцо из коллекции самой Ольги Глебовой-Судейкиной. Оно притаилось в углу второго уровня, в том самом месте, где ось соединяла прочие уровни, может быть, поэтому оно не бросалось сразу в глаза.

— Надеюсь, ты будешь достойно служить высокому искусству, — сказал торжественно отец. Как всякий любящий отец, он тревожился за будущность своей дочери, чтобы — не приведи Господи — она не оказалась в плену низменных страстей.

Семь продолговатых александритов, сходящихся, словно лепестки, к голубому бриллианту, радовали глаз. Красиво, черт побери! Вот и сослужи высокому: помоги дорогому Сержику выпутаться из всей этой драматической истории.

Моня, умирая, — а было это, если не изменяет память, шесть или семь лет назад, — прошептал ей в больнице холодеющими губами:

— Соня! Ты меня никогда не любила! А ведь я ради тебя мог человека, не задумываясь, загубить. Я даже в ОГПУ ради тебя пошел. И то, что ты старше меня на одиннадцать лет, не имело никогда никакого значения. Если тебе что-нибудь когда-нибудь понадобится, мой внук Яша сделает для тебя все. Он умнее меня, хитрее, изворотливее. Чего не могу сказать о его отце. В одном мой сын оказался дальновиднее меня — взял фамилию жены и навсегда разобрался с пятым пунктом. Вот тебе Яшин телефон и адрес, позвонишь и скажешь, что ты Соня. Этого будет достаточно.

Что ж! Пришло, значит, время потревожить Монину тень. Будем надеяться, что Яша из того же теста. Кольцо подстрахует Соню. Вряд ли для Яши будет проблемой сварганить загранпаспорт для Сержика. В конце концов, не такой уж это грех. Сержик никого не грабил, не убивал. Разве что сам себя. Но это не считается. Тем более что он по-прежнему живой и невредимый. Может, умом только немного тронулся.

Соня аккуратно захлопнула нижнее дно шкатулки, — раздался едва слышный щелчок, — снова извлекла из среднего этажа шкатулки кольцо с голубым бриллиантом, повертела его, примерила, завернула в тряпочку и положила на дно своей старомодной сумки. Шкатулку замотала в старое выцветшее полотенце и водворила на прежнее место.

На следующий день Софья Николаевна проснулась сосредоточенная и решительная. На Сережино «доброе утро» ответила что-то невнятное, вроде, посмотрим еще, каким оно будет. Сергей понял, что лучше не тревожить старуху, мало ли что творится с нею, поди разберись, что у стариков на уме. Баба Соня долго копалась в своем нафталиновом шкафу.

— В этом балахоне со старой брошью я буду как Анна, всякий будет счастлив мне услужить. Не зря ведь столько лет я была рядом с нею. А может, нарядиться, как Лилечка, в короткую юбку и высокие сапоги? — баба Соня хихикнула. — Неужели она не понимала, что смешна. В семьдесят лет пытаться выглядеть девчонкой! Ну да, ей было тогда семьдесят, а мне сейчас почти девяносто. Конечно, она была еще девчонкой, да и Васечка, ее ангел-хранитель, был при ней, всегда был готов подстраховать. И все-таки моя задача — на сегодня выглядеть величественной. Но главное — не переиграть.

Баба Соня долго еще сидела у своего трюмо, взбивала кудельки, остатками помады обводила рот, на бледном пергаментном лице этот сливовый рот казался чем-то диким.

— Боже мой, куда уходят наши годы? Куда уходит красота? Сержик, слышишь? — крикнула она из своей комнаты. — Никогда не смотри на себя в зеркало больше минуты! Впрочем, мужчинам нет нужды рыдать по своей уходящей молодости. У них есть вещи поважнее. Лишившись их, они лишаются смысла жизни. — Эти слова из уст старухи прозвучали почти скабрезно. Это было на нее не похоже. Сегодня она вообще вела себя не по правилам.

Через полчаса она вышла, прихрамывая, из своей комнаты. Как некстати разболелась нога! Сергей взглянул на нее и ахнул: перед ним стояла — ни дать ни взять — истинная царица. Грозный взгляд сотворили подрисованные брови, жесткая линия рта завершила образ.

Сергей не проронил ни слова. Подал ей пальто, клюку с ручкой из слоновой кости, подарок Рубенчика, открыл перед ней дверь. Баба Соня величественно проплыла мимо.

...Мрачный дом со множеством одинаковых окон — сюда ее любезно подбросил молодой водитель такси, не взяв при этом ни копейки, — произвел на нее тягостное впечатление. Никогда не любила она посещать подобные учреждения. Однако сегодня она решила ни в коем случае не поддаваться наплыву тяжелых воспоминаний.

— Мне к Якову Соколовскому по очень важному делу, он назначил мне встречу, — высокомерно начала она. — Молодой человек, будьте добры, назовите мне номер его кабинета. Память, знаете ли, подводит.

Молодой человек, которому было явно за сорок, предупредительно нажал на педаль, вертушка подалась, и Софья Николаевна, устрашающе стуча клюкой, побрела в глубину одного из самых ужасных из всех известных ей заведений. А между тем, капитан того мрачного ведомства был строго настрого проинформирован, как вести себя в нештатных случаях. Инструкцию он нарушил. Позже он решил, что старуха загипнотизировала его. Впрочем, все обошлось.

Софья Николаевна для своих лет неплохо ориентировалась в незнакомой обстановке. Ум у нее был живой и ясный. Довольно быстро она нашла нужную ей комнату, коротко постучала и тут же резко толкнула дверь.

— Кто там еще? — раздраженно спросил голос. — Я занят.

— Видите ли, молодой человек, я пришла, чтобы отвлечь вас от ваших дел и убедить заняться моими.

— Кто вы такая? — вопрос прозвучал не очень вежливо, но в голосе проклюнулось любопытство.

— Для начала пригласите меня присесть.

— Ах да, прошу прощения! Просто я ни привык к гостям такого рода.

— Я не гость, я — Соня, и ваш замечательный дед Моня...

— Ах, боже мой! Соня... Софья Николаевна Залевская? Не может быть! Столько наслышан! — и он засуетился, забегал вокруг Сони, стал предлагать то стакан чая с печеньем, то сигарету, словом, совсем ошалел малый, так на него подействовало упоминание имени деда.

Баба Соня чуть не рассмеялась, но вовремя вернула величественное выражение лица, так ведь и испортить все недолго. Хорошо воспитанный ребенок, — отметила она про себя, — видно, книжки умные в детстве читал, и они пошли ему явно впрок.

— И что вас привело ко мне, уважаемая Софья Николаевна? Ей богу, я очень рад вас видеть! Вы даже не представляете, как я обожал деда!

— Ну что мы с вами сразу о деле? Хотите, я расскажу вам о вашем деде, каким веселым и дерзким он был, пока не занялся серьезным делом? — и она постучала по папке, одной из тех многочисленных папок, которыми был

завален стол. Прикоснувшись к дерматиновой обложке, Софья Николаевна ощутила ледяной ужас, но виду не подала. — Ваш дед был замечательный, он был тонким ценителем театрального искусства и красивых женщин, он мог разработать смелый план и хладнокровно осуществить его. Он мог даже убить человека, если тот того заслуживал, — последнюю фразу она произнесла одними губами.

Яша поднял руку предупредительным жестом, хватит, мол, хвалить моего деда, не переборщите.

— Вы ведь не для этого пришли? — осторожно поинтересовался он.

— У меня к вам деликатное дельце...

— Знаете что, милая Софья Николаевна, давайте не будем сейчас о делах, — и он снова сделал некий жест, словно умоляя немедленно прекратить разговор. — Через десять минут у меня обед. Не поесть ли нам мороженого в ближайшем кафе? Там и продолжим о моем замечательном деде, пламенном революционере, — он сделал ударение на предпоследнем слове.

— Предпочитаю пирожное с чашечкой кофе. От мороженого стало горло болеть. Здоровье уже, к сожалению, не то, — и она тяжело поднялась. — Я буду ждать вас в скверике напротив.

В тот момент она уже знала, что паспорт Сержика, можно считать, лежит у нее в кармане. Получив от чиновника то, что ей было нужно, она была готова посочувствовать ему.

Когда-то Моня спас ее из Лилечкиных смертельных объятий. Почти лишенная чувств, насмерть перепуганная, Соня задыхалась, с ужасом ждала момента, когда Лилечка сдернет с ее ушей зеленые бриллианты, а вместе с бриллиантами, возможно, и Сонину жизнь. Она уже приняла решение подарить серьги Лилечке добровольно, уже изобретала повод для подарка, как Моня все переиграл.

Той осенью Соня гостила у подруги в Москве. Поздно вечером они возвращались с Лилечкой от общих друзей, обе в роскошных шубах, с драгоценностями в ушах и на пальцах. Только они вышли из подъезда и нырнули в темный провал подворотни, как непонятно откуда на них свалились, именно свалились, спрыгнув сверху, жуткие темные фигуры, лиц они не различили. Лиля вскрикнула испуганно и стала оседать, Соня же мужественно пыталась отбиться сумочкой, которую тут же и отобрали. Тогда она стала царапать грабителя, а потом и вовсе укусила за руку. Он руку одернул и как-то очень аккуратно стал снимать с нее сережки.

— Это тебе за то, чтобы больше не кусалась! — миролюбиво сказал он. — Шубку давай снимай, да поскорее! — добавил он и потянул на себя ее шикарное манто.

В этот момент раздался свист, налетчики как сквозь землю провалились. К своему великому изумлению Соня обнаружила, что ограбили лишь ее одну. Лилечка осталась целой и невредимой, к тому же при шубе и драгоценностях. Она их подробно и внимательно ощупала, лишь только пришла в себя. Соне от досады хотелось плакать. Лилечке тоже, когда она бросила взгляд на осиротевшие Сонины уши... Ничего не оставалось другого, как вернуться к Мнацаканянам. В тонком платье в холодную ноябрьскую ночь Соня подхватила тяжелую пневмонию.

На следующий день к Сонечке, остановившейся у бывших ленинградских, а теперь уже московских друзей, явился неожиданно Моня. В руках у него был тугой узел.

— Вот! — сказал он спокойно закашлявшейся подруге. — Твоя шуба. Продай ее чужим людям. Поручи это верному человеку. Мне, например, —

и он хитро улыбнулся. — А серьги, — он протянул ей что-то, завернутое в тряпочку, — спрячь далеко и никогда не надевай.

— Моня, что все это значит? Ты так быстро поймал преступников?

— Нет! Мне просто надоело лицезреть твою глупость. Только ты одна не замечала алчного блеска в глазах твоей подруги. Впрочем, не у нее одной.

— Боже мой! Моня! Зачем ты все это делаешь?

— Мне кажется, ответ тебе известен, — и он отвел в сторону грустный взгляд.

— Сержик, хочу тебя вытянуть на люди, — глаза бабы Сони тускло сверкнули. — Я тут навещала Нелли Наумовну на улице Рубинштейна. Обнаружила славную забегаловку. Там подают чудное мясо, бьюсь об заклад, ты такого никогда не едал.

— А ты когда успела его попробовать?

— Сержик, я мяса уже не ем лет десять, только курочку. Но вот по запаху определила: блюдо — пальчики оближешь!

— Ну что ты придумала! Какая забегаловка, какое мясо?

— Ладно, надевай свой маскарад. Усы не забудь, они в китайской вазочке. Между прочим, вазочка из коллекции самого Николая. — И она весело подмигнула. — Ну, не артачься! Я хочу доставить себе удовольствие — накормить тебя настоящим обедом, — и она бодро двинулась в свою комнату.

— Сейчас будет доставать свои столетние кафтаны, — с усмешкой подумал Сергей.

Через полчаса баба Соня предстала пред дорогим Сержиком этакой эпохальной старухой, в общем, чудовищно вырядилась.

Пока они добрались до заветной кафешки, часы показывали четыре. У дверей стояла небольшая очередь, при ближайшем рассмотрении стало ясно, что она состоит из двух непересекающихся групп. Молодые ребята, симпатяги и весельчаки, болтали взахлеб, не обращая внимания на окружающих. Женщины, по-видимому, сбежали с работы, и работа эта располагалась где-то неподалеку, ибо каждую минуту они напряженно оглядывались по сторонам. Увидев бабу Соню, все, само собой, расступились, и странная парочка из старухи и замученного молодого человека сразу же очутилась за столиком у окна. Баба Соня заказала все, что нашла в меню, слава богу, меню было скромное: мясо-гриль, салатик, вино на выбор, кофе с пирожным, но все перечисленное внушало доверие старой женщине.

— Для тебя, мой милый мальчик, улица Рубинштейна наверняка ничем не примечательная улица, — начала баба Соня, чтобы просто о чем-нибудь поговорить. — Когда-то она была Троицким переулком. А ведь на пересечении этого переулка и Невского располагалась в былые времена одна из знаменитых в городе «Филипповских» булочных. Что за чудные пирожные продавали в ней! При советской власти — увы! — все стало пресно и невкусно.

Сергей покосился на бабу Соню. Старуху опять понесло. Сколько он переслушал подобных воспоминаний!

— Вот тебе скучно меня слушать, соколик. А ведь на этой улице жил когда-то Саша Брянцев. Было время, когда он попросту меня подобрал, не дал сдохнуть от голода и тоски. Здесь и Оленька Берггольц проживала когда-то. Да что там говорить! Сам Джон Рид жил здесь в семнадцатом году.

— Соня, пощади меня! Ну при чем здесь Джон Рид?! Да еще в семнадцатом году?! Нельзя ли о более близких к нам временах и нравах?

Принесли заказ, и Сергей жадно принялся за мясо. Оно было великолепное, мягкое, вымоченное в вине, с ароматом дыма. Нечто подобное он пробо-

вал когда-то в Париже. Сразу же закружилась голова. Сергею показалось, что он прилично опьянел. Баба Соня сидела напротив, по-старушечьи подперев лицо руками, с умилением смотрела на дорогого Сержика. Как только Сергей покончил с порцией мяса, баба Соня тут же пододвинула ему свою.

— Ешь, мой мальчик, наедайся! А то заморила я тебя голодом, замучила диетическими супчиками.

Сергей с благодарностью уминал вторую порцию мяса, но уже не столь жадно. С наслаждением, не спеша отрезал очередной кусочек, прямо вдоль полоски, отпечатанной решеткой, на которой, похоже, его запекали, затем аккуратно посылал его в рот, долго смаковал, запивал вином, проглатывал. Баба Соня продолжала с умилением следить за каждым его движением.

— Вот вы все обижаетесь на Сан Саныча, — вдруг прервала молчание старуха. — Я тебе скажу, пустое это дело. Он вам кажется грубым, неделикатным. А ты представь себя на минуту, окруженным сотней соискателей ролей и славы, и каждый мнит себя исключительным, гениальным, непревзойденным. И надо заставить всю эту разноликую массу двигаться в одном направлении. Скажу тебе по секрету, на это требуются титанические усилия и не факт, что из этого будет толк. В Ташкенте, в войну, я часто слышала восхитительную фразу: если ты ходишь по веткам дерева, то он ходит по листьям. Золотые слова. Всегда найдется кто-то искуснее тебя. А еще там говорят: от одного скакуна немного пыли, но если и поднял ее, до славы еще далеко. Мудрейший народ, скажу я тебе, проживает в той стороне.

— Понятно, — Сергей лениво отпрянул от стола, продолжая потягивать вино из широкого бокала и размышляя при этом, стоит ли ввязываться в извечный спор о театре. — Послушай, Соня, я ведь тебе уже много раз говорил: с театром покончено. Я не хочу возвращаться к этой теме. Я умер для театра. И театр тоже умер для меня. Выкрикивать в зал дурными голосами банальные истины — это занятие исключительно подходит психически неуравновешенным людям. Никто не пытается мыслить иначе, чем мыслит большинство. Все как-то забыли, что недосказанность в театре, пожалуй, самое ценное.

— Когда-нибудь ты поймешь, банальность завораживает глубиной жизненной правды, — миролюбиво возразила старуха.

— Ладно, пью за то, — Сергей поднял бокал, чуть повысил голос, так что стали оглядываться посетители кафе, — чтобы я был последним идиотом, разуверившимся в несокрушимой силе театра и его бесценной миссии. Пусть театр идет своей неповторимой дорогой вперед, к совершенству, но уже без такого идиота, как я, — еще раз присев ударением на слове идиот, завершил свою самую длинную за последние дни и недели речь Сергей.

— Почему ты бросил музыку? — неожиданно спросила старуха.

— Ты это о чем? — не сразу понял Сергей.

— Как о чем? О твоей виолончели!

— Господи, да забудь ты о ней, треклятой! — в сердцах воскликнул Сергей. — Я был счастлив, когда разделался с ней.

— Неправда! Ты лжешь себе! Даже я за долгие годы твоего обучения стала поклонницей сего дивного инструмента. В те далекие времена, когда ты был юн и прекрасен, как Бог, да к тому же еще играл, стоило мне где-нибудь услышать грудной, чарующий тембр виолончели, как я сразу начинала собираться к тебе на концерт. Виолончель, в отличие от скрипки, — это всегда состоявшаяся любовь взрослой пары. Но это можно лишь понять с годами. И зачем ты ее бросил. Мне всегда хотелось плакать, когда ты играл «Размышление» Массне или «Времена года» Чайковского.

— Господи, ты и это помнишь?

— Я даже помню твое увлечение той поры. Балетной девочкой Катей. Она была таким милым воробышком. Я любовалась вами. Почему у вас не вышло романа?

— Соня, ты невозможная! Ты вытаскиваешь из памяти такое...

— И все же, что помешало вашим чувствам?

— Не могут два каторжанина любить друг друга. Ладно бы еще с одной галеры...

— Но почему каторжанина?

— Соня, балет, равно как и музыка, — это адское напряжение всей жизни. Для чувств не остается ничего.

— Поэтому ты бросил музыку?

— Может быть, может быть... Мне было скучно. Я хотел порыва, импровизации, а надо было отделывать каждую ноту, и с этого начинался всякий урок. Я сходил с ума. Тогда я не знал, что дело не в виолончели. Что жить вообще скучно. Ибо каждый день повторяется все с начала. Почему ты думаешь, все пьют в театре? Невозможно в течение пятнадцати лет с одинаковым рвением играть одну и ту же роль.

— Сержик, дорогой, что ты городишь? Я вдвое старше тебя, и все еще изнемогаю от восторга перед жизнью, я каждый день познаю свою вселенную снова и снова, я наслаждаюсь всякой минутой общения с тобой, с Франческой, с твоими глупыми подружками. Надо уметь людей слушать. Нельзя проскакивать через чью-либо историю, в ней должны быть драгоценные детали: запахи детства, протяжный звук виолончели в ночи, цвет глаз любимого человека, тембр его голоса, вкус первого поцелуя, а потом и измены. Все должно быть в истории жизни... Представь себе, я уже почти слепа, а все еще читаю книги и прихожу в восторг от прочитанного. Мне мнится, что к чему бы я ни прикоснулась, я уже везде была и буду снова. Жизнь невозможна, если в ней нет меня. А ты... ты загнал себя в бесплодную созерцательность, и она махнула разочарованно рукой.

Обратно взяли такси. У Сони разболелись ноги, и Сергею пришлось в буквальном смысле взять Сонины ноги в свои руки и поставить их в салон машины. Соня тихо постанывала, таксист терпеливо ждал.

Дома их встретила оживленная Франческа, сразу же засуетилась вокруг чая, но, увидев их отчужденные лица, решила оставить всех в покое. Выпив чашку несладкого чая, Сергей удалился в свою комнату. Баба Соня начала раскладывать пасьянс.

Баба Соня, сама того не ведая, разбередила в душе Сергея старую рану. Это же надо! Вспомнить про виолончель! Сергей давно загнал мучительную тему в самый дальний угол подсознания. Нечеловеческая тоска мгновенно разливалась по телу, стоило лишь услышать объемный, вибрирующий, такой непостижимый звук родного инструмента. Это вызывало болезненный виток воспоминаний о матери, о бабке, о тоненькой девочке Кате, о не воплотившихся фантазиях, в которых бархатный голос виолончели вторил всякой вновь зарождавшейся эмоции, настолько же сильной, насколько сильной бывает сама молодость. Где те времена, когда пальцы были послушны, когда смычок высекал чистейшие звуки, когда охватывала безумная страсть при каждом повороте точеного Катиного профиля, когда душа уносилась вместе с чарующими звуками и возвращалась, обогащенная новым счастливым опытом? Куда все ушло? Куда, вообще, все уходит? Где девочка Катя с бездонными глазами? Он мечтал отдать Аленку в музыкальную школу учиться играть на скрипочке. Казалось, что не вышло у него — обязательно получится у дочери. Такой чистой и возвышенной души он не знал ни у одного ребенка.

За стеной звучали приглушенные голоса. Франческа что-то взволнованно говорила бабе Соне, та глухо возражала. Теперь у Сергея новая семья, если, конечно, это можно назвать семьей. Как-то странно все выходило.

...Лене снова приснился сон, в котором Сергей был жив. Рассмотрев ситуацию со всех сторон, она решила довериться матери своей школьной подруги. Та не раз демонстрировала свои мощные способности. Утром, едва дождавшись часа, когда вероятность разбудить человека и поставить тем самым себя в неловкое положение, почти минимальна, Лена позвонила Полине.

— Полинка, привет! — деланно радостным тоном выдохнула она в трубку.

— Привет! А кто это! — недоуменно прозвучал голос на другом конце провода.

— Не узнаешь свою школьную подругу? А еще клялась в вечной дружбе когда-то под каштанами.

— Ленка! Неужели ты?! И снизошла до своей скромной школьной подруги? Ты, которая на Олимпе?

— Я о тебе всегда помню. И люблю. Ты мой последний надежный оплот. Но я к твоей маме.

— Леночка, заходи! — вечером того же дня Олимпиада Ивановна сама открыла дверь. — Как давно мы не принимали тебя в своем скромном жилище. — Олимпиада Ивановна была по-прежнему приветлива, по-прежнему радовалась гостям. Редкий дар по теперешним временам.

Елена огляделась. Старая мебель, выцветшие обои, книги школьных времен. Что-то милое и родное. Как встреча с детством. Она обняла Полину, затем необъятную Олимпиаду. Так и живут вдвоем. Будто время остановилось. Похоже, им никто не нужен. Наверно, иногда Олимпиада все же отпускает дочь к любимому мужчине на ночь. Если звезды, конечно, не возражают.

— Боже мой! Я только сейчас поняла, как я скучаю по вашему дому.

— Ну, давай, рассказывай, как живешь, — начала Полина, пока мать засуетилась вокруг чайного столика.

— Разве это жизнь? — отмахнулась Лена.

— Ну, если это не жизнь, то что же тогда жизнь? Небось, каждый день новый поклонник провожает! — с завистью проговорила подруга.

— В том-то и беда, что каждый день новый, — поморщилась гостья.

— Так ты придержи какого-нибудь, — со смешком посоветовала Полина.

— Не держатся. Кто нормальный — я говорю о зрителях — может сойти с ума настолько, чтобы сблизиться с актрисой — с непредсказуемой и взбалмошной бабой?

— Так сойдись со своим, с театральным, — резонно заметила подруга.

— Тут все гораздо сложнее. В театре все ходят словно по кругу. Случается, старые партнеры встречаются вновь.

— Ты рассказываешь какие-то страсти, — подмигнув, проговорила Полина.

— А то!

— Ленка, но ведь ты на сцене! Красивая. В шелках. Фигурка у тебя точеная. И ты несешь людям свет.

— Ах, Полина, оставь. Это все бред. Порой я думаю, что вовсе не свет им нужен. А моя... — она стала подыскивать нужное слово, — моя порочность, мои страхи, мое безумие...

— Леночка, что тебя привело к нам, милая? — Олимпиада Ивановна, наконец, села напротив. — Я очень рада видеть тебя, но думаю, так просто ты бы не пришла.

— Вот! — Лена смущенно достала фотографию и протянула ее Олимпиаде. — Скажите что-нибудь о нем.

— Это Сергей!

— И? — напряглась всем телом гостья.

— Он жив! — лицо Олимпиады стало жестким и сосредоточенным. Острым взглядом она всматривалась в лежащие перед ней карты. — У тебя есть еще что-нибудь?

— В смысле? — не сразу поняла Лена.

— Ну, какая-нибудь его вещь. Что-нибудь, что прилегало к телу.

Елена, все еще смущаясь, вытащила футболку:

— Вот!

Олимпиада нервно прошлась по ней рукой, поднесла к лицу, вдохнула едва ощутимый запах.

— Да, он жив! — сказала она устало.

— Где он? Что с ним? Он здоров? — встрепенулась молодая женщина.

— Здоров. Но как будто ушел далеко.

— Как это? — растерянно переспросила гостья.

— Он жив, но не с нами. Душой не с нами.

— И что мне теперь делать? — упавшим голосом проговорила Лена.

— Смириться. И ждать, — развела руками хозяйка.

— Долго? — вопрос прозвучал совсем уж заунывно, если не сказать — жалобно.

— Вытяни любую карту! — приказала Олимпиада. — Я думаю, у вас еще будет встреча, — деликатно пообещала она, бросив косой взгляд на карту.

— Правда? — взволнованно переспросила Лена.

— Погоди! Встреча-то будет, но ты не очень рассчитывай на нее, — выждав паузу, невозмутимо закончила хозяйка.

Елена разочарованно посмотрела на Олимпиаду. Не за этим она сюда пришла. А то, что Сережа жив, это она и сама отлично знает. Несколько вечеров подряд она провела под окнами старухи. Правда, это ничего не дало. А врываться в чужой дом было бы и вовсе неразумно. Да и вряд ли бы сработало. Только ведь сердце не обманешь.

Новый год начался весело и странно.

...В девять вечера на такси приехала Мария с Аленкой. Сергей, как всегда, заслышав звонок, ретировался в дальний угол квартиры, но в последний момент, вместо того, чтобы забиться за старый тяжелый шкаф времен Людовика XIV, — у старухи к антиквариату была явная слабость — неожиданно поменял решение. Он подошел на цыпочках к двери, стал боком, чтобы, не дай бог, ничем не выдать свое присутствие, и вдруг увидел свой выгнутый и жалкий силуэт в отражении зеркала. Чуть не расхохотался, настолько смешным и нелепым показался сам себе. Он стал внимательно прислушиваться к тому, что творится в прихожей, а затем и в гостиной бабы Сони. Когда он понял, что рядом находится Аленка, сердце ухнуло куда-то вниз, потом вдруг стало рваться наружу. Он уже нажал ручку двери, он уже сделал шаг навстречу дочери, как вдруг услышал:

— Вот пришли поздравить вас, дорогая Софья Николаевна, с наступающим Новым годом. Илья нас ждет внизу, в такси, поэтому мы только на пять минут. Вот здесь все, что вы любите.

— Машенька, милая, разве я когда-нибудь тебе говорила о том, что чего-то там люблю?

— Наверно, нет! — засмеялась осторожно Маша. Всякое неверно сказанное слово может обернуться бедой. — Вероятно, Сережа рассказывал мне

когда-то давным-давно, как вы баловали его мандаринами в детстве, кормили черной икрой. А он ее терпеть не мог, — и она снова рассмеялась, на этот раз более искренно. — Вот я и решила, что вы все это по-прежнему любите. Да еще тортик фирменный прихватила из «Метрополя», муж моей одноклассницы Милки оставил мне, знает, стервец, как я его люблю.

— Спасибо тебе, дорогая! Правда, едок я уже никакой. Ну, да вдруг гости нагрянут! — и она хитро подмигнула Аленке. — Аленка, золотце, дай я тебя поцелую. Ну что ты как неживая? — и она стала гладить девочку по ее вьющимся светлым волосам, поцеловала в ушко и в лобик. — Настоящий Сержик, когда тот был в таком же нежном возрасте. У него точно так вились его замечательные русые волосы. А сейчас он... — вдруг сказала Софья Николаевна и осеклась, — а сейчас он смотрит на нас сверху и радуется: мы с вами живы-здоровы и даже по-своему счастливы. Правда ведь, Аленка? Ну ладно-ладно, не горюй! Подождите меня минутку.

И она покинула комнату — Сергею показалось — надолго.

— Мамочка, а что это за старая бабушка? — спросила шепотом Аленка.

— Это бабушка Соня. Она помогала твоей бабушке Лизе и прабабушке Любе растить твоего папу.

— А я думала, что она волшебница, только очень веселая. И древняя, — немного подумав, добавила малышка. — У нее очень много морщин.

«Сейчас принесет очередной бриллиант, — вздохнул тяжело Сергей, — испортит мне ребенка!»

Софья Николаевна скоро вернулась, что-то подала Аленке. Сергею стало понятно, что это большая, тяжелая вещь.

— А что это, бабушка Соня? — чуть испуганно спросила девочка.

— Это виолончель! Очень маленькая виолончель, размером одна восьмая. — Она выдержала паузу, чтобы придать торжественность моменту. — На ней твой папа начинал играть.

Вот старая чертовка! Сохранила даже виолончель. Сергей был потрясен. Интересно, где она ее прятала. Не из какого угла ведь не выглядывал ее обшарпанный футляр.

— Папа? — радостно и удивленно воскликнула Аленка.

— Да, твой папа! — подтвердила баба Соня. — Ты, верно, не знаешь, что твой папа чудесно играл на виолончели. Ему пророчили блестящее будущее. А он взял и стал актером. Хорошим актером. Я хочу, чтобы ты тоже начала обучаться музыке. Пусть это будет виолончель. А если тебе не понравится играть на виолончели, я куплю тебе скрипочку. Это, конечно, более подходящий для такой малышки, как ты, инструмент.

— Нет, бабушка Соня, только на виолончели! Ведь ее папа, когда был маленьким, держал в своих руках.

И малышка вцепилась в футляр, как будто в нем находилось настоящее сокровище.

— Ну ладно, Софья Николаевна, мы пошли, нас Илья уже, наверно, заждался, — произнесла ошеломленная Мария. Впервые за долгое время она увидела дочь сияющей.

В начале двенадцатого объявилась Елена. Она позвонила Софье Николаевне как старой подруге и стала рассказывать о своих мучительных предчувствиях.

— Леночка, я совсем не верю в чудеса. Вот мы разговариваем с вами — это реальность. Вы молоды, прекрасны — и это тоже реальность. Вам надо забыть Сергея, попытаться создать семью, родить ребенка. Это все вполне

реальные земные радости. А так много думать и говорить о Сергее не стоит. Так ведь можно и с ума сойти. И других свести. Да и он все видит и все слышит, порадуйте его своим благоразумием.

— В каком смысле? — насторожилась Лена.

Ну и баба Соня! То ли всех за нос водит, то ли из ума окончательно выжила.

Сергей расставлял тарелки на праздничном столе. В центре стола расположилась маленькая елочка, убранная накануне Франческой. Франческа задерживалась.

— Леночка, вот вы все говорите о предчувствиях. Вы правы. В том смысле, что Сержик все видит, все слышит. Он чувствует всех нас, мы чувствуем его. Он дорог нам, мы дороги ему, — баба Соня повторила так удачно найденную формулировку.

— Спасибо вам, дорогая Софья Николаевна! Передавайте Сереже привет!

— Обязательно, Леночка!

Баба Соня положила трубку, тяжело вздохнула.

— Твоя Ленка совсем из ума выжила, — объявила она тотчас Сергею, — неймется все ей. Того и жди, вычислит тебя... Что-то активизировались нынче снова твои бабенки, не ровен час запеленгуют нас, как глупых мышат. Куда подевалась Франческа? Новый год на носу. А что твоя Настя? Видно, мало любила тебя, — разочарованно проронила старуха.

Сергей отмахнулся. Несмотря ни на что он пришел в замечательное расположение духа. Что ни говори, а Новый год замечательный праздник. Всегда дарит надежду. И он снова стал что-то поправлять на праздничном столе.

— Пора зажигать свечи! — торжественно произнесла баба Соня.

За пятнадцать минут до полуночи прилетела Франческа. Она была усыпана снежными хлопьями — настоящая русская красавица с примесью жаркой итальянской крови. Или наоборот. Но в любом случае — красавица. Она принесла запах мороза, мандарин, долгожданного праздника. Это был волнующий запах детства, ожидания чуда и чего-то еще. Сергей помог Франческе раздеться, потянул к столу, за которым торжественно восседала баба Соня.

— Ну что, мои дорогие? Пока осталась минутка, пригубим шампанского за уходящий год. Все живы, и это самое главное. Остальное все поправимо. А шампанское, скажу вам по секрету, так себе. До революции куда вкуснее шампанское было.

Сергей и Франческа расхохотались.

Лишь только прозвучали куранты и был осушен новый бокал, теперь уже французского, припрятанного до времени Франческой, шампанского, как бабу Соню снова стали поздравлять по телефону. Франческа поманила Сергея на кухню. Прямо с порога она начала страстно уговаривать его устроить экспромтом для бабы Сони маленький спектакль, в котором бы и старая актриса ненароком приняла участие — сыграла бы саму себя, великую и смешную, святую и грешную, состарившуюся, но все еще юную душой. Франческа накануне набросала веселый и дерзкий сценарий, Сергей попробовал сопротивляться, но потом увлекся, стал что-то придумывать сам, добавлять, словом, процесс пошел.

Тем временем баба Соня плотно села на телефон. Позвонил Сан Саныч, вспомнил ее любимые роли, как блистала она в них. Знает хитрец, как растопить старухино сердце. Потом звонила дочь Рубенчика, сказала, что папа Сонечку обожал, всегда и всем говорил, что Софья великая актриса. Это все были необязательные речи, но все же очень сладкие для постаревшей бабы Сони.

В половине первого одновременно прозвенел телефон и звонок входной двери. Франческа и Сергей почему-то закрылись на кухне и вовсе не собирались ее покидать. Да и опасно это было для мальчика.

Баба Соня поразмыслила, куда направиться раньше, звонки настойчиво звучали в новогодней ночи. Все же подалась открывать входную дверь. Долго гремела ключами, наконец отворила — за дверью никого! И только собравшись снова захлопнуть ее, бросила случайно взгляд на пол, в тот момент она и обнаружила на коврике маленькую изящную коробочку. Господи, и что это может быть, успела лишь подумать старушка, как из глубины квартиры снова настойчиво зазвучал телефон.

— Софья Николаевна? — голос на том конце провода звучал неуверенно.

— Да! Я слушаю вас, — едва отдышавшись, ответила баба Соня.

— Софья Николаевна, это Настя!

— Кто-кто? — с недоумением переспросила старуха.

— Настя. Неужели вы не помните меня? Мы ведь встречались с вами. Вы сами когда-то позвонили мне, — проникновенно начала девушка.

— Ах, Настя! Ну да, конечно! — невозмутимо-приветливо отозвалась баба Соня.

— Я хочу попросить у вас прощения. Я поговорила с вами тогда достаточно грубо, я знаю. Я не хотела. Просто мне было больно. Мне больно и сейчас. Но я люблю вас. Я вспомнила все, Сережа мне рассказывал о вас. Вы чудесная! Вы нашли мой подарок?

— Какой подарок? — удивилась старуха.

— Ну, коробочку! — испуганно выпалила девушка, видно коробочка-то была для нее дорога.

— Ах, так это от вас? — промямлила старая женщина.

— Да! Откройте ее! — решительно потребовала Настя на том конце провода.

— Мне жаль нарушать такую красоту, — попробовала сопротивляться баба Соня.

— Открывайте смело! — чуть ли не выкрикнула в трубку девушка.

Софья Николаевна затихла, словно ушла куда-то. На самом деле она долго искала ножницы, потом пыталась аккуратно разрезать обертку, так чтобы не повредить белое и черное перья, закрепленные приклеенной к их основанию бусинкой-жемчужиной. Но поскольку аккуратно действовать не получалось, Софья Николаевна дрожащими руками разорвала обертку. В обыкновенной коробочке лежал маленький изящный футляр, в котором обычно хранят ювелирные изделия. Софье Николаевне наконец удалось открыть застежку, и... прямо перед ней на бархате бирюзового оттенка лежали изумительные сережки с зелеными бриллиантами — те самые, что когда-то были спасены Моней... Она напрочь забыла о них, ибо очень этого хотела. В памяти мелькнули Ташкент, Бухара, сильнейшая ее привязанность к майору, его неожиданная смерть, ее скорый арест...

— Ведь это мои сережки! — выдохнула она в трубку.

— Я знаю! — радостно отозвалась Настя. — Поэтому и возвращаю их вам.

— Откуда они у вас, милое дитя? — взволнованно спросила старуха. — Ведь я... я их когда-то подарила Жене. Была война, я была в эвакуации в Ташкенте, иногда ездила в Бухару.

— Я знаю. Только вы не дарили их вовсе. Вы просто забыли их под подушкой в спальне у моей бабушки.

— Да кто вам сказал, что я их забыла? — запальчиво выкрикнула старуха. — Я очень любила Женю, у нее была непростая жизнь. Впрочем, у кого она была тогда простой?! Я хотела как-то ее вознаградить за все ее лишения.

— Если бы вы только знали, Софья Николаевна, как переживала бабушка всю оставшуюся жизнь по поводу этих сережек, как пытала мою маму и ее брата, не они ли спрятали их. Как хотела найти вас. Никому не разрешила ни

разу их надеть. Даже отправила мою маму учиться в Ленинград. Все приговаривала: «Аннушка, если встретишь Софочку, дай мне знать!» Но ни фамилии вашей, ни театра, в котором вы служили, бабушка никогда не знала.

— Но как вы все-таки вычислили меня, милое дитя? Ленинград ведь город не малый!

— В прошлую нашу встречу вы обмолвились, что бывали в Бухаре.

— Чего это вдруг я стала говорить о Бухаре? — насторожилась старуха.

— Вы старались расположить меня к себе, — рассмеялась Настя. — Вы говорили о своей богатой на знакомства жизни. Вспоминала Блока, Анну Ахматову, Лилю Брик. Вы вспоминали войну, Ташкент, где познакомились с бабкой Сережи, — здесь Настя на секунду замолчала, — потом что-то говорили о Бухаре, я не помню что.

— Настя, я хочу увидеться с Женей, — решительно заявила Софья Николаевна. — Немедленно.

— Это невозможно. Бабушка умерла. В прошлом году.

— А что Аннушка? Твоя мама?

Софья Николаевна услышала, как отворилась кухонная дверь, услышала шаги.

— Настенька, дорогая, я больше не могу с вами говорить, — зашептала старуха в трубку, прикрыв ее рукой. — Мы с вами обязательно вернемся к нашему разговору. А серьги эти ваши и только ваши! Я очень любила Женю... Оставайтесь всегда такой же устремленной в беспредельность, талантливой девочкой. Ищите свою любовь. Мы все в поисках востребованности и любви. Вся жизнь на это уходит. До свидания!

Сережа с Франческой, карнавально наряженные, запорхали вокруг бабы Сони. Она смотрела на них и ничего не могла понять. У нее перед глазами стремительно проносились картины, одна мучительнее другой. После неожиданного ареста в Ташкенте и столь же неожиданного освобождения она достала из укромного места свои самые изумительные серьги с зелеными бриллиантами и отвезла их Жене в подарок. Но вручить их так и не решилась. Женя никогда бы не приняла столь дорогой и столь изысканный подарок. Пусть лучше Жене, чем неизвестно кому. Любаше с Лизой точно не достанутся, если ее арестуют еще раз. Потом, много позже, когда страсти улеглись, она, нет-нет, да и сожалела о содеянном. Уж больно хороши были серьги. А потом успокоилась и решила, что все к лучшему. Женя — прекрасный человек... И вот на тебе — встреча с Настей, как привет из прошлой жизни. О сегодняшнем разговоре она не расскажет даже Сергею.

После феерического шоу, устроенного развеселившейся неожиданно молодежью, что само по себе вызвало прилив небывалого энтузиазма и у бабы Сони, так что она подыграла молодым людям в меру своих уже скромных сил, посидели у телевизора. Франческа с нескрываемым любопытством смотрела «Голубой огонек». Ей все было в диковинку. За долгие годы все эти «Голубые огоньки» порядком надоели Софье Николаевне. Не было в них жизни, не было искры, все было приглажено, выверено до вдоха и выдоха. Правда, что-то стало меняться в этой стране. Не ясно, однако, в какую сторону. Вот и Чернобыль случился. Как будто Всевышний перестал заботиться о ее народе. Не хватает колбасы, вечные перебои со стиральным порошком. Конечно, все это мелочи жизни, но какие досадные! Как будто у людей закончился завод, ослабла пружина, и они перестали понимать, куда и зачем движутся.

Софья Николаевна посидела часок у экрана и решила оставить молодежь. Хотелось спать. Пожелав всем спокойной ночи, она удалилась в опочивальню. Но заснуть оказалось не так-то просто. Вспоминала каждую подробность

разговора с Машей, Аленка же и вовсе растрогала ее до слез. Уцепилась в футляр с виолончелью, как иной ребенок в сундук с куклами... Елена, как всегда, разбередила душу своими предчувствиями. Как же она права! А Сержик утверждает, что она ветреная. Дуралей! Ничего в женщинах не понимает. Ну, а Настя? Настя вообще взбудоражила старуху сверх всякой меры. Софья Николаевна вздохнула...

Отчего-то стала вспоминать себя юной девчонкой, гимназисткой, зорко отслеживающей каждый шаг обожествляемого ею Саши Блока, почувствовала на губах соленые слезы ревности, она всегда ощущала их вкус, когда вдали мелькала рыжеволосая Дельмас в своих пышных юбках. Потом наплывами возник точеный образ Лилечки, за ней замаячил темнеющий силуэт Володечки. На этот раз он явился угнетенным, несчастным, потерянным. Собственно говоря, он таким и был в свои последние годы. Он утратил в себе постоянную суровую готовность к бою, что прежде всегда искал и жаждал.

Дальше Соня увидела себя в Ташкенте военной поры, где спектакли проходили в нетопленных залах, вспомнилось бесконечное чувство тоски и ожидания, когда же придет конец этому кошмару. Как вспышка, явился образ майора. Эта была ее последняя любовь. Дальше шли только привязанности. По-своему сильно она была привязана к Любаше, к Жене. Надо же! Настя — Женина внучка, а Сережа — Любашин внук. Круг замкнулся. Пути Господни неисповедимы.

Всякую минуту Соня ощущала в себе присутствие свободно перетекающих, загадочных, изменчивых энергий некогда дорогих людей, непринужденное перемещение живых нервных импульсов.

...И все же самого большого счастья она желает Сереже и Франческе. Это ведь и ее дети. У Насти еще все впереди. Молодая, вибрирующая, умная. И Мария ведь умна. Да вот не дал Бог чего-то главного. Интуиции женской, умения терпеть. Что ж говорить про Елену... И все-таки Соня любит их всех, и жалеет, и желает каждой только добра. А уж Аленку, кажется, вообще бы на руки взяла и никогда не отпускала. Может, потому ей Бог детей и не дал, что была бы она просто сумасшедшей матерью. А вот нет! Все неправда! Надо быть честной с собой до конца. На самом деле в тот короткий период жизни, что отпущен был для любви, никого, кроме себя, она по-настоящему не любила. Так почему теперь сердце болит за всех сразу?

Все образуется. После зимы всегда приходит лето.

Франческа увезет Сержика в Италию. Италия лечит. Там всякий обретает себя вновь. Захочет Сержик порвать с театром, пусть сделает это. Всегда должен оставаться некий зазор между сценой и жизнью. Только бездарный актер играет совсем всерьез. Талантливый не преминет воспользоваться любой возможностью, чтобы немного подмигнуть зрителю... Театр не может подменить жизнь. Он даже не может дать счастья. Потому что на сцене всегда есть первый. И ему на миг может почудиться, что это и есть счастье. А второй всегда обречен, по крайней мере, до той поры, пока не смирится с этим, и только позже, когда у него найдутся силы выйти из неравного поединка, только тогда у него появится шанс не пропустить что-то главное, что находится за пределами театра. Что за бредовые мысли мучают ее сегодня. Один Всевышний знает, в чем человеческое призвание, он посылает людям знаки, а они не могут прочитать их... Все будет хорошо. А пока будем довольствоваться тем, что имеем, будем жить своим разумом и желанием сделать своих ближних хоть чуть-чуть счастливее.

В Риме Франческа собиралась пристроить свою рукопись о современном русском театре; книга о русских художниках, отданная в редакцию годом

раньше, должна была уже увидеть свет. Франческа предвкушала, как возьмет ее в руки, пройдет пальцами по прохладной обложке, раскроет ее — страницы на срезе с трудом разойдутся веером.

В Париже она должна встретиться с Эмилем. Этой встречи она бы предпочла избежать. Она и так ее долго откладывала. И все же следует расставить все точки над «i», как говорят эти русские. Между ней и Сержиком не пролегло ни одной ночи, ни одного поцелуя, но представить себя в постели с Эмилем она уже не могла. Можно было бы протянуть еще какое-то время, не встречаться, ничего не объяснять, но Франческа ненавидела ложь в любом ее проявлении. Возможно, роман с Сережей никогда не случится, но теперь она знает точно: мужчина ее жизни существует.

Она достала тетрадь, начала что-то мелко писать, лишь бы отделаться от назойливого соседа справа. Самолет гудел, моторы работали исправно.

Франческа прилетела в Париж в полдень и сразу же отправилась в театральную студию на окраине Парижа. Она не стала предупреждать Эмиля о своем приезде, предстоящая встреча тяготила ее. В маленькой студии уже пятый сезон шел спектакль по пьесе Эмиля. Когда-то эта пьеса ошеломила Франческу, она и влюбилась не столько в молодого человека с умными глазами и сутулой спиной, сколько в обворожительную его манеру с мягкой иронией, не делая резких скачков в сюжете, рассказывать о своем восторге перед жизнью.

Она толкнула дверь в кабинет Эмиля, дверь поддалась. Все было на местах: папки с текстами в книжном шкафу, на рабочем столе новомодная и дорогая штука — компьютер, маленький столик для чаепития с двумя провалившимися креслами. Все скромно и даже скучно, разумеется, кроме компьютера — предмета гордости Эмиля. На столе стояла рамка с фотографией — Франческа и Эмиль в Хорватии, в Сплите, на фоне развалин дворца римского императора Диоклетиана. Еще молодые. Еще с надеждой на счастье. Острая жалость к Эмилю, к себе, к Сереже, наконец, царапнула сердце. Она обернулась — Эмиль стоял с чайником в дверях. Из носика чайника тонкой струйкой поднимался пар. Франческа была рада, ей-богу, рада его видеть, но это уже была иная радость.

Вечером шел спектакль, который уже не казался столь оглушительно гениальным. Не было в нем той мощи, того размаха, того накала страстей, к которым она привыкла у русских. Все было четко, с правильными акцентами, но сухо и безжизненно. Сухо и безжизненно было и ночью, словно тела их подменили.

— Франческа, не достаточно ли тебе изучать этих русских? Они грубы и примитивны, — вскипающим голосом произнес Эмиль за чашкой утреннего кофе.

— Что ты можешь знать о русских? — растерянно произнесла Франческа. — Я уже пять лет в России, у меня прабабка, в конце концов, русская, но я ничегошеньки не понимаю в русском характере. Да что характер! Я иногда вообще не понимаю, о чем они думают. Порой ругаются страшно, а в глазах любовь, всепрощение. А иной раз все корректны и вежливы, а душа пылает ненавистью.

— А что, у итальянцев иначе? — со скептической миной поинтересовался Эмиль.

— Иначе. У итальянцев все чувства на поверхности. И дно так близко. У русских дна не видать, — без улыбки ответила Франческа.

— А ты себя-то считаешь кем? Итальянкой? Русской?

— Итальянкой? Русской? Не знаю. В России я итальянка. В Италии русская. Прабабкина кровь чуть-чуть отравила мою. Эмиль! Мне нужна твоя помощь, — наконец отважилась Франческа.

— Слушаю! — чуть подняв бровь, произнес Эмиль.

— Я хочу помочь одному русскому актеру. Ему надо помочь с работой. Ты бы мог пристроить его в студию? — осторожно спросила молодая женщина.

— Франческа, это трудно, почти невозможно. Язык, манера игры — все должно быть на уровне, — с поскучневшим лицом ответил француз.

— Я ведь никогда тебя ни о чем не просила, — страстно проговорила Франческа.

— Ты с ним спала? — обречен был задать мучивший его вопрос Эмиль.

Франческа смутилась.

— Нет, — сказала она тихо. — Иначе бы я не стала тебя просить.

— Ладно. Я подумаю. Пусть учит французский, — примирительно ответил Эмиль.

Это был маленький шаг вперед, реальный подход к решению трудной задачи. Дело оставалось за малым — уговорить непростого русского принять предложение.

Весь следующий день Франческа прошаталась по Парижу. До обеда Эмиль сопровождал ее в походе по бутикам, покормил обедом в приличном ресторане. Он пытался расспрашивать ее о России, о театрах, о режиссерах, с которыми был знаком, но чувствовалось, что мысли его в этот момент были далеко и расспрашивал он больше для приличия. Была в его манере некая мягкая снисходительность к женщине, к ее неисправимым недостаткам. Но воспитание и образование не позволяли выказать это более грубо. Ни тебе взрыва эмоций, ни радости, ни удивления — все чувства выверены, все эмоции дозированы. И если женщина рассуждает здраво, он видит в этом посягательство на мужское право доминировать во всем. И это — человек искусства, литератор, драматург. Такие же и его пьесы — элегантные и бездарные. Нет в них русской души.

После обеда Франческа отправилась на Монмартр. В Ленинграде — неуютная погода с вечными лохмотьями туч, из которых попеременно сыплется то снег, то дождь, а в Париже весна, прозрачный воздух, высокое небо, художники, цветочницы — извечное побуждение к легким чувствам, бесплодным, как всякая богемная жизнь. Вечно юный город, вечное ожидание чуда. А завтра Рим. Флоренция. А потом снова слякотный Ленинград и... окаянный Сержик. И вдруг так захотелось к нему, что впору было сдавать билет и лететь обратно в Россию...

В тот же вечер Франческа вылетела в Рим, так и не встретившись с Эмилем. Она позвонила ему поздно, накануне вечернего спектакля, когда знала, он будет внутренне сосредоточен на предстоящем событии, тем легче перенесет мысль о расставании. Она сообщила ему о случайном билете на вечерний самолет, виновато извинилась, с намерением никогда не встречаться больше, разве что Эмиль сжалится над Сержиком и примет его в свой театр. Невидимая точка, где пора распрощаться, уже давно пройдена. Надо лишь привести в исполнение то, что давно назрело. И тогда не придется мечтать о выходе за пределы друг друга.

...Рим был родным. Она дышала этим воздухом с детства. Долгое время считала, что живут на земле итальянцы, греки и еще какая-то объединенная нация, не успевшая сформироваться до конца, каждый представитель которой невероятно страдает, оттого что он не итальянец и не грек. В аэропорту Рима она сразу же позвонила Роберто. Он тут же примчался за ней, — она не успела даже получить багаж, — долго и любовно изучал ее, угадывая произошедшие перемены. Потом, болтая о пустяках, повез в любимый со студенческих

времен ресторанчик, накормил традиционным спагетти, — такого она не ела нигде в мире, — и не спеша покатил ее к издателю, знал, насколько Франческе не терпится подержать в руках свою книгу.

Издатель был приятно удивлен, приветлив, сразу же отвел их на склад, где ровными рядами лежали экземпляры ее книги.

— Плохо продается? — озабоченно поинтересовалась Франческа.

— Да нет, вроде бы ничего. Ведь мы только выпустили ее. Половина тиража уже разошлась.

У Франчески отлегло от сердца. У нее была масса вопросов к издателю по поводу следующей своей книги, переговоры о ней она начала еще по телефону из Ленинграда, это были вопросы об обложке, о качестве фотографий, о содержании.

Когда-то Роберто изучал историю искусств также вдохновенно, как и Франческа. Он был чрезвычайно любезен с издателем, хотя предмет искусства — так ему теперь, во всяком случае, казалось — мало волновал его. Но поскольку это нужно было Франческе, он проявлял всяческий интерес к разговору. Он пригласил издателя на ужин в честь успешно продаваемой книги, хотя Франческа подавала ему грозные знаки.

Давным-давно Роберто был неравнодушен к зеленоглазой и пепельноволосой Франческе, маленькой тоненькой девушке с плавными движениями, но вот беда, он был робок и худ, и близорук к тому же. Длинные его руки как будто болтались чуть невпопад с движениями, которое совершало его тело, — типичный юноша, в котором тонкий интеллект странно сочетался с природной неуклюжестью. Он был страстно влюблен в театр. На этой почве они и подружились с Франческой. Не было мало-мальски заметного театра, а в нем мало-мальски успешного спектакля, который бы они не посмотрели. Потом Роберто женился на скромной девушке из приличной семьи, приобрел подобающий вес, обзавелся кучей славных детишек, был по-своему счастлив. Но как только Франческа появлялась в Риме, все бросал и летел к ней навстречу. Чтобы еще раз заглянуть в ее зеленые глаза, еще раз посетовать, почему так витиеваты пути Господни. Издателя он пригласил намеренно, иначе Франческа ускользнула бы из его дружеских объятий во Флоренцию уже сегодня.

В ресторан она явилась в том же наряде, в котором прилетела утром в Рим, — черная облегающая юбка, белый свитер, на бедрах ремень — все как всегда безукоризненно и элегантно. Впрочем, в его окружении мало кто не умел себя подать.

Через час издатель покинул их, сославшись на занятость. Но до этого он очень хорошо поел и так же недурно выпил. Поцеловал руку Франческе и напоследок, скользнув по ее оголившимся коленям масленым взглядом, заметил вслух, что у него на Франческу большие виды, и если ей нужна его помощь, то она всегда может на него рассчитывать. «Что ж, неплохо», — она подумала о Сергее.

— Франческа, ты похудела! Ты много работаешь! — сердобольно заметил Роберто.

— Роберто, милый, разве это работа! Работа — это у станка стоять, у плиты. Фуэте, в конце концов, крутить. А книги писать — это удовольствие. Тем более о театре. Тем более о русском, — на одном дыхании вымолвила итальянка.

— А ты изменилась. Что-то жесткое в тебе появилось, — оторопело произнес Роберто.

— Это потому что я заговорила о станке? — перебила его Франческа.

— И поэтому тоже, — укоризненно ответил он.

— Знаешь, я никогда не была высокого мнения о своей работе. Хотя любила ее и продолжаю любить. Но это не тот труд, без которого невозможна жизнь, — запальчиво продолжала итальянка.

— Твоя, что ли? — решил уточнить Роберто.

— И моя тоже, — продолжала упорствовать Франческа.

— Так можно договориться до бессмысленности многих вещей в жизни, — плохо было то, что Роберто начал раздражаться.

— А многие вещи и в самом деле бессмысленны, — пожала плечами Франческа.

— Ты ведь не о театре, — все больше приходил в удивление Роберто.

— Не знаю. Может быть, и о театре. Один мой знакомый — русский — говорит, что театр...

— Что это за русский, которого ты уже цитируешь? — перебил язвительно Роберто.

— Неважно. Это хороший русский.

— Франческа, к черту русских! Они отняли тебя у нас. Ты там застряла. В этой безнадежной стране. Где все тяжело и безысходно, — остановил он ее поднятой ладонью.

— Неправда! — слабо возразила молодая женщина.

— Давай лучше о тебе. О твоих планах. Когда ты вернешься?

— Может быть, очень скоро. Ты даже не представляешь, насколько скоро это может произойти, — примирительно произнесла Франческа.

— Надеюсь, не с русским?

— Вот тут ты как раз и не угадал, — блаженно улыбнулась итальянка.

Самолет приземлился в Америго Веспуччи, аэропорту Флоренции, строго по расписанию. Спустившись с трапа самолета, Франческа, наконец, поняла, насколько соскучилась по родному дому. Ей не терпелось скорее обнять мать, чмокнуть отца в зеркальную макушку, упасть на свою широкую кровать. Она наняла такси. Солнце едва успело окрасить на востоке небо в розовые тона, как Франческа уже вышагивала по набережной Арно, неподалеку от Понте-Веккио, старинного моста со знаменитыми лавками флорентийских ювелиров. Отец, между прочим, был невероятно горд, — еще бы! — их фамильный особняк располагался на набережной Арно, а его ювелирная лавка на Понте-Веккио предлагала самый изысканный товар заезжим туристам. Он всегда утверждал, что его род — это побочная ветвь могущественной династии Медичи. Он источал полное довольство жизнью, гордость достигнутым, когда, удобно расположившись в комфортном кресле на широком балконе, сплошь увитом пурпурными розами, потягивал из золоченого бокала теплым летним вечером ароматное кьянти. Внизу по реке бойко курсировали веселые теплоходы.

— Ах, детка, если бы ты только знала, скольких трудов стоило Медичи привести этот город к расцвету! — всякий раз при встрече торжественно говорил он своей блудной дочери.

— Папа, ты уверен, что наш род действительно берет начало от Медичи? А не от гвельфов или, того хуже, гибеллинов? А, может, от самого Юлия Цезаря? — смеясь, выпаливала Франческа. — Признайся, ты эту историю выдумал сам?

— Я ее только чуть облагородил. Нет у тебя, Франческа, гордости истинной итальянки, — отмахивался сеньор Доминико. — Твоя русская бабка испортила твою кровь. А иначе, откуда эта ирония по отношению к нашим святыням? Ты разве не горда тем, что Леонардо, Микеланджело, Данте...

— Боккаччо, Галилей, Джото — все они флорентинцы, — весело подхватывала фразу дочь.

Рассчитавшись с таксистом, она позвонила во входную дверь, хотя ключи лежали где-то в сумке. Дверь никто не открыл. Когда молодая женщина все же достала со дна сумки ключи, осторожно открыла дверь, ее обдало волной родного запаха. В доме не было ни души. Она бросила свои чемоданы внизу, взбежала по темной лестнице наверх, но и там — никого. Сердце в страхе забилось — что случилось? Она ходила по комнатам — все было по-прежнему, разве что над камином добавилось ее фотографий. Свою комнату она нашла в идеальном порядке, будто только вчера покинула ее. И опять фотографии на стенах: Франческа с Эмилем в Париже, в Риме — с Роберто, в Тоскане — с родителями, еще молодыми... Мама научила ее русскому, которому сама выучилась у бабки. Конечно, что-то из Луизиного русского ушло навсегда, что потом пришлось с трудом наверстывать правнучке в Москве и Ленинграде.

Стукнула щеколда входной двери. Франческа бросилась вниз.

— Вот ты где, дорогая! А мы сбились с ног в аэропорту, — мать выглядела чуть усталой.

— В аэропорту? — удивилась Франческа. — А откуда вы...

— Роберто позвонил, что ты вылетаешь.

— А-а-а! Как же я соскучилась! Мама! Отец! — и она приникла на мгновение к матери, потом к отцу.

— Франческа, милая, мы безумно рады. Возвращайся скорее. Хотя бы и с этим русским. Хотя, если честно, мы не в восторге. Но лишь бы ты была счастлива.

— С русским? — снова пришел черед удивиться Франческе.

— Ну да! Роберто нам все рассказал, — осторожно сообщила сеньора Лучия.

Это было уже слишком. Это был такой тонкий, такой болезненный вопрос, к тому же далеко не решенный. И вот, пожалуйста, все полагают, что могут грубо вламываться в ее жизнь, давать советы, чего-то требовать в ответ на свою заботу.

— Франческа, тебе уже тридцать. И хотя по современным понятиям это немного, пора все же подумать о замужестве.

— Ах, мама, оставь! Я сама отлично разберусь, — попробовала сопротивляться дочь.

— Ну, ладно-ладно! Как там Соня? — сеньора Лучия первой не выдержала возникшего напряжения.

— Соня верна себе. Приютила Сережу, — страстно проговорила Франческа.

— Так это тот русский? — попыталась уточнить мать.

— Тот не тот, какая разница! Приютила и забавляется. Она словно ожила.

— Завтра непременно прогуляемся до площади Синьории, — объявил во время ужина сеньор Доминик, — пусть все видят: моя блудная дочь вернулась.

— Без Юдифи площадь Синьории для меня осиротела. Можно подумать, в Палаццо Веккио Юдифи стало комфортнее, — язвительно заметила Франческа.

— Ну конечно, комфортнее. Там у нее появилась хотя бы крыша над головой... А хочешь, проедемся в Ареццо или Сан-Джиминьяно? — сеньор Доминик был рад предложить дочери любой вариант, лишь бы она снова почувствовала себя счастливой итальянкой.

— Ах, папа, ты словно забыл, как я бежала из ненавистного мне Ареццо! — продолжала упорствовать дочь.

— Ну что ты упрямишься, Франческа? В Ареццо прошло твое детство...

— Нет уж, уволь! После того, как вы оставили меня там умирать от тоски в монастыре, я туда ни ногой.

— Ну что ты такое говоришь? — рассердился сеньор Доминико. — Умирать! Какие-то глупости! Ты должна была там набраться мудрости.

— Не мучай ребенка воспоминаниями! — попыталась вмешаться в разговор сеньора Лучия.

— Ах, папа, оставь! Это было жестокое испытание, — даже сейчас, много лет спустя, Франческа не хотела мириться с суровыми методами воспитания, принятыми в итальянских семьях.

— Ну ладно-ладно, детка! Ты только не нервничай. Я знаю, ты любишь бывать на Данте Алигьери. Раньше ты всегда утверждала, что как будто воочию видишь там саму Беатриче. Ты была необыкновенным дитем.

— Папа, я уже давно не ребенок. И в Беатриче больше не верю.

Синьор Доминико был потрясен. Эти слова из уст Франчески, истинной флорентинки, прозвучали почти кощунственно.

— Папа, самое простое в жизни дело придумать любовь и воспеть ее. А вот полюбить реального человека с его слабостями и пороками куда более трудная задача! — с горечью произнесла Франческа.

Сеньор Доминико поднялся из-за стола. Нутром он почуял, что его дочь влюблена той мучительной, не знающей покоя любовью, которую всегда воспевали русские. Он со страхом и нежностью взглянул на свою взрослую дочь, поцеловал ее в горячий лоб, глотнул недопитого кьянти, опустился в кресло, стоящее рядом, уткнулся взглядом в раскрытую книгу. Это был Достоевский.

— А заодно бы прихватили новую коллекцию сеньора Никола, — снова принялся уговаривать Франческу отец, имея в виду по-прежнему поездку в Ареццо, впрочем, уговаривал без особого упорства. — На драгоценные металлы нынче у туристов хороший спрос. Я не успеваю обновлять витрину на Золотом мосту.

— Потом ты непременно потащишь меня на Пьяцца Гранде к епископскому дворцу, — начала потихоньку сдаваться Франческа, — чтобы еще раз полюбоваться на изображение герцога Фердинанда I де Медичи? — с нескрываемой иронией добавила дерзкая дочь.

И откуда взялась эта ее новая манера, столь неприятная интонация?

— Ну, не без того, — задетый за живое, ответил сеньор Доминико, — мы ведь из рода Медичи!

— Из его боковой ветви, — напомнила язвительно дочь. Знает ведь, что это уточнение всегда болезненно для отца. — Потом ты обязательно увлечешь меня к дому Петрарки, напомнишь, что в Ареццо родился сам Меценат, спонсор Вергилия и Горация. Ах, как же я забыла самое главное? Здесь родился Гвидо Монако, придумавший ноты. Это же просто невероятно! Ноты! Ну и конечно, Джорджо Вазари, придворный художник и архитектор семьи Медичи.

— Ты несносная девчонка! — сеньор Доминико схватился за сердце. — Не хочешь — я съезжу сам. Но больше твоих дерзких речей я слушать не стану, — и он обиженно замолчал. — Пожалуй, прополощу горло еще одним глотком кьянти. Что-то пересохло во рту.

День торжественно угасал. Тонкие блики солнца на полированной поверхности стола становились все тоньше, а потом и вовсе растворились в мягких сиреневых сумерках.

Франческа осталась одна в своей комнате. Ей вдруг стало невыносимо стыдно за свое поведение, за свои крамольные речи. Что-то накатило. Про-

сто она поняла, что после русского периода жизни она не может с прежней серьезностью выслушивать пространные рассуждения отца о роде Медичи. О Медичи, прибравшим к рукам Ареццо. Не может с упоением говорить о своей принадлежности к миру избранных. Там, в тесной питерской квартирке бабы Сони, томится Сержик, умный, талантливый и невероятно обаятельный русский мужик, которому нечем кичиться, но который для нее дороже Петрарки, Гвидо Монако и Джорджа Вазари вместе взятых.

Ночь тянулась бесконечно. Короткие интервалы сна сменялись долгими мучительными промежутками бессонницы. Она вспоминала свою несчастную жизнь в Ареццо, в монастыре святого Бернардо, как словно бы это происходило только вчера. В общем-то необычайно живописный городок из нежно-охристого камня с романскими колокольнями всплывал в памяти глухой, болезненной, бесконечно длящейся нотой, изредка прерывавшейся мощным басовитым аккордом колокольного звона. По воскресеньям их водили на мессу в церковь Сан-Джиминьяно. Из открытых окон старинных домов доносился гул человеческих голосов — обитатели жилищ пребывали в нетерпеливом ожидании долгожданного семейного обеда, празднично звенела посуда. Улицы резко взбирались вверх. Всюду витал запах домашних пирогов и оливкового масла. Нестерпимо хотелось домой, на набережную Арно. Дома все ближе теснились друг к другу, принадлежавшие им дворы ограждали себя все более глухими каменными стенами выше человеческого роста. Весь мир был враждебно настроен, он глядел на Франческу такими же глухими, каменными стенами.

За каждым новым поворотом пряталась еще одна башенка или дом. Подобно нотному листу, площади пересекались бесконечными рядами веревок с полощущимся на ветру бельем. Казалось бы, улица вела в тупик. Но нет, за углом открывался проход на соседнюю, такую же узкую улочку, лабиринт демонстрировал новый тупик и тут же подсказывал скрытое решение.

Внутри церкви было темно и прохладно. Эхом отдавались шаги. Мраморный алтарь был украшен крупным жемчугом, за алтарем просматривались мутноватые витражи. В глубине церковного пространства Франческа разглядела белокурые локоны похожего на ангела ребенка. Когда он неожиданно обернулся, она поняла, что это маленький Сержик с грустными глазами. Над ним струились молочные потоки света, обволакивали со всех сторон.

Франческа вскочила с кровати. Кровь пульсировала в висках. Было невыносимо жарко. Жутко разболелась голова. Господи, что с ней творится? Так и до клиники неврозов рукой подать. Сейчас она встанет, выпьет снотворное. Утром непременно извинится перед отцом и попросит его взять с собой в Ареццо. Ей нестерпимо захотелось посетить две церкви — Санта-Марии дельи Пьев и Сан-Джиминьяно. Пьяцца Гранде она оставит на десерт.

Когда Франческе исполнилось восемь, родители отправили ее в католический пансион закрытого типа, полагая, что тем самым совершают благочестивое дело, ибо, где еще, как не в закрытом католическом пансионе молодой итальянке привьют истинную веру в Бога и подскажут, в чем главное предназначение женщины. Маленькая Франческа пережила настоящее потрясение, когда ее мать, всеми уважаемая сеньора Лучия, поцеловав дочь в последний раз, так во всяком случае дочери казалось, мягко повернула ее в сторону вышедшей к ним монахини, уверенным движением подтолкнула ее навстречу новой жизни.

Все было чужим и враждебным: огромные холодные залы со сводчатыми окнами и куполообразными потолками, одинаковые ряды коек, крякающий

голос монахини-воспитательницы и бесконечная череда монотонных, унылых, так похожих друг на друга дней.

Франческа затосковала, как только переступила порог обители, у нее пропало желание пить, есть, двигаться, постепенно она превратилась в прозрачное существо с огромными глазами и темными тенями вокруг них. Монахини срочно вызвали сеньору Лучию, той не осталось ничего другого как забрать дочь. Через год она снова привезла девочку в пансион. Франческа поняла: на этот раз — надолго. Отныне единственной отрадой стало ждать рождественских каникул, которые казались чем-то далеким и абсолютно несбыточным.

Распорядок дня в пансионе был жесткий: день начинался молитвой, ею же и заканчивался, молитвой сопровождалось всякое дело. Воскресную мессу посещали исправно. После уроков читали религиозные книги, занимались рукоделием. В своих беседах монахини наставляли дерзких учениц, главным образом, в том, что самая большая опасность в их жизни исходит от мужчин, они для того и созданы Богом, чтобы искушать невинные девичьи души. В то же время из этих бесед следовало, что женщина должна служить своему единственному мужчине, данному ее Богом, нарожать ему кучу детишек, холить, лелеять своих домочадцев, служить им правдой и верой. Франческа всегда теряла основную нить нравоучений, не улавливала момент, когда мужчина из искусителя женщин превращался в повелителя. Наверно, слишком рано монахини начинали душеспасительные беседы со своими ученицами, слишком тонкой была обсуждаемая тема.

И все же Франческа любила воскресные мессы, они вносили некоторое разнообразие в дни, полные тоски и слез. Месса была маленьким праздником, можно было поглазеть на прихожан, полюбоваться шляпками молодых женщин, точеным профилем какой-нибудь красотки с соседней улицы, таких она видела в кино, куда ее водили когда-то давным-давно родители. Нет, не любят они ее вовсе, всеми уважаемые сеньора Лучия и сеньор Доминико, иначе ни за что на свете не отдали бы свою единственную дочь в такое унылое заведение, а позволили бы ей по-прежнему носиться с Джулией и Тони по узким улочкам Флоренции. А читать и вышивать она и так умела. И даже по-русски читала превосходно — бабка Луиза всегда гордилась способностями внучки к языкам.

Во время одной из воскресных месс Франческа и увидела его. Это был мальчик, словно спустившийся с небес. Таких красивых детей она никогда не встречала на улицах Флоренции. У него была мерцающая матовым блеском кожа, прямой нос. Извилистые, широкие дужки бровей придавали лицу завершенность. А губы... таких губ не было ни у одного знакомого мальчика. Обладателем таких губ мог быть только самый совершенный ребенок, у него, должно быть, красивая душа и красивые мысли. Кажется, ее окликнули несколько раз, прежде чем она поняла, что настало время покинуть храм.

Теперь Франческа не могла дождаться дня и часа, когда снова наступит момент для воскресной мессы. Все мысли отныне были об ангелоподобном мальчике, о новой встрече с ним. Если он по каким-то причинам пропускал службу, неделя для Франчески была напрасно прожитой. Она стала рассеянной, на уроках путалась в ответах, теряла иголку на рукоделии, переставала следить за текстом Библии, начинала читать не с того абзаца.

Первой неладное почуяла Моника. Она не то что бы дружила с Франческой, но милостиво позволяла той находиться рядом. Франческа была немного странной, чтобы вот так, до конца, как к примеру, это происходило у нее с другими девочками, Моника прониклась бы дружескими чувствами к этой непонятной девчонке. Иногда Моника с Софьей подшучивали над доверчивой

Франческой. Девочка вздыхала по ночам: почему ее по-настоящему никто не любит? Зато мыслям о мальчике с бледным ликом никто помешать не мог, и она все больше отдавалась своим мечтам о нем. А было ей в ту пору всего одиннадцать лет.

Мысленно она гладила ладонью его тонкие пальцы, еще больше утончая их нежную, почти прозрачную кожу, с тем чтобы никто больше не осмелился подойти к нему и повторить ее движение, не испугавшись при этом, что рука мальчика и вовсе растворится в их руке. Закрыв глаза, она все повторяла и повторяла движение, которым он резко поворачивал голову, и золотые локоны отлетали в сторону и еще какую-то долю секунды продолжали пружинисто дрожать над высоко поднятым воротником его синей курточки. Юный завоеватель без преднамеренья. Иногда она спохватывалась, вспоминала назидательные беседы монахинь, понимала, что это дьявол искушает ее, искушает красотой юного прихожанина, чувствовала себя великой грешницей и засыпала почти счастливой с мыслями о юном прекрасном итальянце.

Все возвращалось вместе со всеми оттенками испытанных когда-то чувств...

Между тем, во время памятной мессы Франческа так сверлила взглядом затылок бедного мальчишки, что тот оглянулся раз и два, а потом все чаще и, наконец, улыбнулся ей одними уголками губ. Разумеется, это не осталось не замеченным Моникой. Франческа сделала вид, что юный прихожанин улыбался вовсе не ей.

В тот день исповедь девочек затянулась, настоятель куда-то отлучился, а когда вернулся, у исповедальной одиноко ждала его возвращения одна лишь Франческа. Срывающимся тоненьким голосом она пролепетала:

— Я знаю, отец, я дрянная девчонка. Меня искушает дьявол. Я все время думаю о нем. Мне хочется, чтобы он взял меня за руку и чтобы мы гуляли где-нибудь у моря, а потом бы он... меня поцеловал.

За занавеской почувствовалось легкое движение, потом почудился выдох, похожий на смешок. Франческа могла бы поклясться, так смеется Моника.

Вечером Франческа закрыла глаза, лишь только дежурная монахиня погасила свет, она затихла, замкнулась, ушла в себя. Не хотелось шептаться ни с Моникой, ни с Софьей. Минут через десять она услышала тихий ерничающий голосок Моники:

— Ах, отец, я дрянная девчонка. Меня искушает дьявол!

— Я все время думаю о нем! — подхватила игру Софья.

— Мне хочется, чтобы он взял меня за руку и чтобы мы гуляли у моря! — насмешливый голос Моники восходил к небывалой высоте. — Ах, дурочка, она и не знает, что я целовалась с ним уже целых три раза.

В тот миг Франческа почувствовала себя уничтоженной. Никогда больше она не доверится ни одной живой душе, ни одной подруге, ни одному настоятелю церкви. И пусть ее тайну никто и никогда не узнал бы, если бы не глупая оплошность, все равно понятно, что дружбы между девчонками нет и быть не может и особенно, если между ними стоит мальчик. Пусть даже очень похожий на ангела.

Через месяц наступили каникулы, сеньор Доминико приехал за Франческой, она спокойно собрала свои вещи, холодно поцеловала Монику в щеку, к Софье же только слегка прильнула, пожелала всем веселых каникул. Больше она никогда не увидится с ними.

В пансион Франческа не вернулась. Сеньора Лучия повоевала какое-то время с любимой дочерью, а потом махнула рукой:

— Что с нее взять?! Русская кровь! Дурная кровь!

Это она говорила, очевидно, в какой-то мере и о себе. Больше к вопросу о пансионе в семье не возвращались. Мальчик с точеным профилем и мерцающей кожей навсегда ушел из жизни Франчески.

— Баба Соня, я, наверно, схожу с ума, — упавшим голосом вымолвил Сергей.

— Сержик, дорогой, что случилось? — старуха не на шутку испугалась.

Они сидели в гостиной, каждый был занят своим делом: баба Соня раскладывала пасьянс, Сергей читал газету.

— Проблема в том, что я теряю чувство юмора. Мне мерещится на каждом шагу, что меня жаждут разоблачить, унизить, вернуть в прежнюю жизнь. Я окончательно осознал, насколько этого не хочу. И все же — все, что не рвет мне сердце, подозревается в том, что существует только в моем воображении. И я со всей ответственностью утверждаю: порой я жажду быть растерзанным, растоптанным, разоблаченным. Тогда я буду точно знать, что я живу. Этого не объяснишь словами.

— Мальчик мой, период приобретений заканчивается в молодости. А дальше нам приходится обороняться по ходу житейских сражений, — философским, несколько отстраненным тоном произнесла старуха, как будто не очень вникая в сказанное Сергеем. У нее отлегло от сердца. Все оказалось не так уж страшно. — В наших страданиях, в мучительной памяти о них — залог бессмертия искусства. В конечном счете, ты и только ты вступаешь в схватку со своей жизнью. Но никогда не сможешь одолеть ее. Даже среднего ума человек к середине жизни опутан разочарованиями. И все же я тебе скажу: может быть, театр только затем и не умирает, что дает человеку возможность некоего выхода за пределы реальности. Гениально сказал Ницше: «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». А виза твоя, между прочим, уже готова.

— Пожалуй, соглашусь с тобой, что это будет лучший выход, — мрачно произнес Сергей.

— Знаешь, Сержик, я всю жизнь была не очень высокого мнения о мужчинах, и даже о тех, кто прошел через мою жизнь, хотя многих из них я страстно любила, — настолько, что была готова на многие вещи закрывать глаза. Но странное дело, стоит мне на минуту представить, что ты мой сын, как мир мне кажется сплошь матриархальным, ощетинившимся против мальчиков, юношей, мужчин. Женщины алчут их крови, алчут владеть их душами, телами, помыслами, жизнью. Но это так, лишь на минуту, когда я вижу тебя своим сыном. В другое время я вижу ситуацию зеркально отраженной.

— Баба Соня, что они все от меня хотят? Сначала меня предают, потом хоронят, потом начинают делить, — с отчаянием произнес Сергей.

— Вчера я прочитала забавную статью на французском — Франческа подбросила. Оказывается, среда, в которой мы живем, отравляется потихоньку избытком каких-то там веществ, искусственно производимых, из-за которых страшно страдают мужчины, их здоровье, физическое и особенно в постели.

— Ты хочешь привязать эту сомнительную теорию к моей незадавшейся жизни?

— Не знаю. Я вспомнила это к слову. Ты тут ни причем. Хотя все в жизни взаимопроницаемо. И если кто-то страдает от избытка женских гормонов, то по закону сохранения, не знаю там чего, — я слишком давно училась в гимназии, — кто-то будет страдать от избытка мужских. Знаешь, я иногда думаю, что когда провожу вас с Франческой в Италию, не смогу здесь больше

оставаться. С вами я пережила невиданный взлет, пусть и нелегкий, он отнял у меня много сил...

— Вот куда ты клонишь... Наверно, есть смысл поговорить с Франческой и отправиться в Италию всем вместе?

— Нет, я не хочу такого конца. И такой могилы. На которую некому будет прийти.

— Баба Соня, я сейчас разрыдаюсь, — с кривой усмешкой проговорил Сергей. — Я тоже не хожу на свою могилу.

— Ну, ладно-ладно. Все равно все когда-нибудь сдохнем... Глупо мы шутим с тобой, однако. Сержик, а у вас ведь могут еще родиться дети! — вдруг добавила она.

— Наверно, ты хочешь записаться к нам в няньки?

— Если бы только Любаша знала...

...Маша видела, как страдает Аленка, и ничего не могла поделать. Девочка ушла в себя, похудела, стала прозрачной и безучастной ко всему.

— Аленка, завтра у нас в театре детский спектакль. Дядя Илья будет играть Бармалея. Давай возьмем твою Дашку и все вместе нагрянем в театр.

— Не хочется, мамочка.

— Ты все время читаешь одну и ту же книжку. Тебе ведь нельзя много читать.

— Я знаю. Только я очень люблю сказки Андерсена.

— Аленка, Даша ходит на кружок бальных танцев. Хочешь, я поговорю с ее руководителем, ты тоже будешь учиться танцам. Это так замечательно, когда девочка умеет танцевать. Я в детстве мечтала учиться танцам, а мама меня никуда не водила.

— Нет, мамочка, я хочу к папе.

Этот время от времени повторявшийся разговор очень утомлял Марию. Она не видела выхода из ситуации, ей не хватало ни времени, ни терпения, чтобы перебороть упрямство дочери. В том, что это было именно упрямство, она не сомневалась. Конечно, Сергей много времени проводил с Аленкой, они были нежно привязаны друг к другу. Иногда это умиляло ее, а иногда вызывало ревность. Теперь ей казалось, что он намеренно создал ситуацию, при которой она бы помучалась сполна. Как будто он предвидел такой поворот событий. Мстительный, жестокий человек. Мария спохватилась, она думала о нем как о живом.

После того интервью, которое она дала французскому журналу, — между прочим, за приличный гонорар — и где ее, можно сказать, вынудили произнести нелицеприятные слова о Сергее — все за тот же гонорар, она стала думать о нем враждебно, хотя это и шло несколько вразрез с ее истинными чувствами...

— Маш, не спишь? — Илья нырнул под одеяло. От него пахнуло смешанным запахом алкоголя, женских духов и еще чего-то. — Понимаешь, Покровский запускает новый сериал. Я его весь вечер уговаривал и, похоже, уговорил взять тебя на одну из главных ролей.

— Надо полагать, себе главную роль ты выбил значительно раньше? — едко произнесла Мария.

— Что за сарказм? Ты не рада?

Маша решила смолчать. Не хотелось так сразу сдавать позиции.

— Кроме того, новость — Сан Саныч берется за новую постановку.

— И? — насторожилась Маша.

— Пока ничего определенного сказать не могу. Но за ролями уже очередь.

— Почему я об этом узнаю последней? Может, мне снова сходить к старухе.

— Не суетись! К тому же, ты, похоже, преувеличиваешь степень ее влияния.

— Илья, милый, ну надо же что-то делать. Жизнь проходит. А у меня так и не было ни одной роли, по которой меня будут вспоминать.

— Да не волнуйся ты так. Все равно тебя будут вспоминать не по твоим ролям, а как жену Сереги.

— Это невозможно! Хотя бы ты не должен думать так. Слушай, а может быть, нам устроить... Хотя нет, все это ерунда.

— Конечно, ерунда! — Илья не склонен был усложнять жизнь.

— Знаешь, я боюсь за Аленку. Она так страдает. Ну, поищи к ней подход, — в голосе у Маши зазвучали миролюбивые интонации. Кажется, она начала успокаиваться.

— Я пробую. Это непросто, — вяло отозвался Илья.

— Неужели голос крови не подсказывает тебе ничего?

Вот так всегда, чуть дай слабину — и оба уже на эмоциональной вершине. А потом, поди, спустись безболезненно с нее.

— Маша, не надо так грубо. Я все понимаю. Но и ты пойми меня.

Говорить больше ни о чем не хотелось.

...Настя не знала, что на нее накатило. Но именно накатило. Как стихия, как ураган. Вечерами она сидела на лекциях, рассеянно слушала теоретические выкладки о методах построения композиции в драматургическом материале, ничего не конспектировала. После одной из таких лекций, взбудораженная не вполне ясными даже самой себе намерениями, примчалась на такси домой. Присела на минутку за обеденный стол на кухне, хватанув для начала чашку крепкого кофе, все-таки дело происходило за полночь, и... начала писать пьесу о Сергее.

Выстраивалось творение из разряда сюрреалистических: переплелось прошлое и будущее, его реальная жизнь с жизнью вымышленной, с жизнью героев, которых он играл на сцене, все это как-то странно перекрутилось и вылилось в нечто трудно поддающееся пересказу, а тем более воплощению на сцене. Основная мысль была проста: истинный художник всегда над толпой, ею боготворимый и ею же терзаемый, он прорастает душой в тех, кем любим, но и в него перетекают токи дорогих ему людей. Словом, ничего нового: жизнь творца — это всегда взлет и смертельная воронка одновременно. Настя сама не ожидала от себя такой прыти. Пьеса получилась. Мысленно она увидела ее поставленной на сцене Сережиного театра. И, конечно, она была, прежде всего, о нем. Где-то не хватило мастерства, грешили многословием диалоги, но все затопили ее чувства. Она схватила папку, лишь только отпечатала последнюю страницу, благо была середина дня, и понеслась к Сан Санычу, которого часто встречала в театре, и имела однажды честь быть ему представленной Сережей. Но на память Сан Саныча она не очень-то рассчитывала.

Она дождалась его у служебного входа, хотя пришлось проторчать битых два часа, на нее как-то странно косились пробегавшие мимо актеры, служители всех рангов. Вот ведь невидаль: молодая девчонка у служебного входа театра! Настя казалась бледной, окоченевшей и с потребностью в ободрении. Горяев почувствовал смятение юного создания, но это нисколько не тронуло его.

— Александр Александрович, я не знаю, как правильно представлять рукопись на художественный совет, но надеюсь, вы не отошьете меня, не выслушав, — выпалила стремительно девушка опешившему от такой дерзости Горяеву.

— Что это? — с брезгливой гримасой спросил он.

— Это пьеса, — Настя начала сползать до просительной интонации.

— И? — раздраженно и коротко произнес Горяев: некогда ему было разбираться с донимавшими его графоманами.

— Это пьеса о Сергее.

— А вы, собственно, кто? — не церемонясь, спросил он.

Настя смутилась:

— Я его поклонница.

Она задумалась на мгновение, но так и не нашлась, что добавить.

— Это еще не повод писать пьесы, — едко заметил режиссер.

— К тому же я студентка филологического факультета.

— И что? На каком вы хоть курсе? — что-то все-таки его зацепило в этом бледном создании.

— На третьем.

— И вам не больше двадцати? — он взглянул на нее оценивающе.

— Да! — Настя опустила глаза.

— У вас, что, все там такие ранние и прыткие? — с усмешкой поинтересовался он.

— В каком смысле? — Настя вдруг надумала обидеться.

— Все выдают «на гора» шедевры прямо со студенческой скамьи?

Настя совсем растерялась.

— Ладно. Почитаю. Телефон указан? — неожиданно согласился он. Видно, понял, что не отделается так просто от назойливой девицы.

— Да! — сдержанно ликуя, воскликнула Настя.

— Позвоню, — и он, кивнув головой, стремительно растворился за служебной дверью.

Настя просто взмокла. Она не предполагала, что ее примут столь враждебно. Ей было невдомек, что к ней отнеслись весьма дружелюбно, что в этом жестком мире, где тесно даже гениям, чтобы показать Мастеру свою работу, пишущие люди идут порой на разные неблаговидные уловки, и даже детально разработанный план и тонко выстроенное действо не всегда приносят успех. Здесь никого не ждут! Театров слишком мало, а страждущих славы и успеха легионы. И не всегда им важно, что сказать, но важно так сказать, так выкрикнуть, чтобы быть услышанными миром. И не об истине они пекутся. Быть избранными хотят. Быть приобщенными к сонмищу великих.

Театр разваливался. Как только было задумано строительство второй сцены, сразу все пошло и поехало наперекосяк. Это как мечта о другой женщине или о новой семье. Мир вокруг теряет цельность, и человек не знает, где он подлинный. Сразу пошли разговоры о том, какая сцена будет главной. А раз одна из сцен предполагается основной, то и состав актерский, само собой, будет играть на ней основной. Но тогда у второй сцены будет свой состав и свой главреж, который никогда не смирится с тем, что не достоин лучшей участи. Вот вам и конфликт, не разрешимый и вечный.

Словом, мало-помалу труппа театра разбежалась на два лагеря, и с этого момента началось разрушение души театра. Каждый переживал разлад по-своему. Кто-то еще кичился тем, что включен в основной состав, но самые тонкие, самые нервные натуры сразу же почувствовали: прочная, казалось бы, ткань спектаклей вот-вот начнет расползаться: сначала по швам, а потом и вовсе в самых неожиданных местах.

Заговорили шепотом о диктате Горяева, о том, что он утратил чутье, что ему надо почаще бывать в театре, а не летать по всевозможным фестивалям

с кучкой выскочек и самозванцев. В этом была доля правды, но далеко не вся правда.

Не только театр Горяева переживал не лучшие свои времена, вся страна жила в состоянии ширящегося кризиса, неотвратимо надвигающегося коллапса. Благодаря ослабевшей цензуре народ вдруг увидел, что не боги горшки обжигают, что и в руководящей элите нет единства, а раз там, наверху, не могут договориться между собой, то, стало быть, близок конец света и да здравствуют смутные времена.

За стенами театра текла жизнь, далекая от его интересов и проблем. Казалось, люди потеряли вкус к жизни, ко всему, что не касалось их дома, их семьи, их холодильника. И все же в северной столице народ еще худо-бедно ходил на премьеры, обсуждал достоинства спектаклей, судачил об известных актерах. Чуть дальше, в глубинке, люди жили своей нелегкой жизнью. С уходом последнего истинного генсека, ставшего почти родным, народ нутром своим почуял: закончилась эра устоявшейся, привычной жизни, когда на трешку можно было продержаться неделю, а на очередь на квартиру надо было просто стать смолоду, и тогда, глядишь, к сорока годам, как раз к тому моменту, когда подрастут дети, можно будет съехать от ненавистной тещи. Чтобы совсем скоро окончательно повзрослевшие дети по тем же причинам точно так же возненавидели бы тебя. В общем, главное было вовремя обзавестись потомством, все остальное шло своим чередом.

Лена в очередной раз осознала: что-то неладное творится в датском королевстве. Это случилось утром, когда налегке, в джинсах и потертой курточке, она выбежала за хлебом и молоком в ближайший магазин. Из подворотни дома, на котором, между прочим, значилось, что в таком-то году в таком-то веке в этих стенах умер великий полководец Суворов, выкатилась парочка: мужик выглядел сносно, хотя определенного рода страсть уже отразилась на его лице, молодая женщина была чудовищно безобразной. Она вертко подкатила к Лене, прошамкала беззубым ртом в радостном предвкушении: «Давай рубль, третьей будешь!»

Кровь ударила Лене в виски. Она рванула от несчастной парочки прочь, руки ее дрожали, беспомощный гнев заливал душу. Господи, дожила! Шавка из подворотни средь бела дня предлагает ей выпить. Ей, актрисе одного из самых приличных питерских театров. Как такое вообще могло случиться?! Где и когда женщины научились пить, как мужики?! В стране творилось черт знает что.

А между тем Лена собиралась в этот день на капустник по случаю очередного юбилея Горяева. Идти не хотелось. Настроение теперь и вовсе упало до нуля.

Что делать в театре, где никогда больше не зазвучит голос Сергея, не вспыхнет его блистательная шутка, не найдется другого смельчака, способного интеллигентно погасить неоправданную ярость Горяева? Льстецы всех мастей и калибров несмолкаемым хором будут петь главрежу свое нескончаемое аллилуйя.

...Капустник не задался. Все сидели с унылыми лицами, искра веселья не высекалась. Хвалебные речи в адрес Горяева носили заискивающий характер, что ему явно сегодня было не по душе. В общем-то, главреж всегда любил тонкую лесть, которую и лестью не назовешь, так искусно она камуфлировалась. А тут все подавалось грубо, топорно, в лоб, словно актеры разучились быть актерами. Горяев все больше раздражался.

Молодежь взялась разыгрывать сценки из жизни театра, призванные внести ноту непринужденного веселья. Было не смешно и не весело. Ситуация немного выправилась, когда перешли к фуршету. Горячительные напитки

всегда благотворно действуют на слабые актерские головы. Языки развязались, лесть стала почти изысканной.

Только Горяев вознамерился расслабиться, по-отечески похлопать по плечу взявшего слово Илью, как к микрофону потянулась Смирнова. Наметанным глазом Горяев зафиксировал: сейчас будет скандал. Она была красивая, в гриме, как для софитов, кукла отчасти, к тому же в парике. Эта была красота, которая усиливалась на расстоянии. Вблизи лицо казалось несколько грубым. Она явно хватила лишку. Начала путано, рвано, но все равно бросила хлесткую фразу: «Это мы убили Сергея! Мы — армия тьмы!» А поскольку вечер был посвящен Горяеву, то он и воспринял эту фразу исключительно на свой счет. У него даже руки затряслись, так хотелось ему подскочить к Смирновой, оттащить эту дуру от микрофона, выставить за дверь. Слава богу, это догадался сделать Аверченко. Поднялся на сцену, сказал прочувствованно: «Мы все в какой-то мере виноваты перед Серегой!», — потом скорбно обнял Ленку, увел в дальний угол.

Горяев побледнел, прокашлялся, оставив в закрытых скобках свое истинное отношение к произошедшему.

Мария задыхалась от охватившей ее ярости. Все случившееся она восприняла как укор в свой адрес. И что эта Ленка себе позволяет? На каком основании? Уж не на том ли, что когда-то у нее с Сережей была интрижка, короткая и невыразительная. Это просто невыносимо. Всякая бездарь будет крутиться тут под ногами, давить на болевую точку и требовать к себе внимания. В то время как сама Мария боится лишний раз упоминать в этих стенах даже имя Сергея, чтобы, не дай бог, не навлечь на себя неправедный гнев Горяева.

— За что они меня так? — вцепившись в плечо Эдьки, скулила Ленка. Шаги в танце явно путала. Она была не очень трезва.

— Ну ты дуреха! Такое учудить! Не смей проявлять себя как иначе думающий контингент. Ищи теперь место в другом театре.

— Эдька, ты поможешь мне в этом? — продолжала жалобно скулить Ленка, в раз протрезвевшая после столь трезвой оценки случившегося. — Иначе эта шайка-лейка разнесет меня в клочья.

— Да кому ты нужна в другом театре? Там своих дур хватает. Вот *ролей* нет. Актеров всегда больше, чем ролей. За роли дерутся, подличают, а ты сама... Ладно, пошли, отвезу тебя домой. Завтра что-нибудь придумаем.

— Мария, иди сюда! — Горяев обратился к Маше через стол.

Людмила Георгиевна Пономарева, вся в перьях, бантах и рюшах, сверкнула ревнивым взором сначала на Горяева, потом на Машку. Завышенное до небес самомнение и больше ничего. Вот бесит она Людмилу Георгиевну и точка. Смесь гнева с бессилием прорвалась в нервный жест: она хватанула глоток шампанского, которое давно не пьет. Уберите из потока сознания слова. Останется только ненависть. Вот она, ненависть в ее чистом виде, так сказать, квинтэссенция ненависти.

— Да, Сан Саныч! — через минуту Маша стояла перед главным режиссером театра.

— Мария, я давно думаю: засиделась ты у нас без достойной роли. Руки все не доходили до такой замечательной актрисы, как ты.

Маша вспыхнула. Неужели случилось?!

— У меня на примете есть очень занятная пьеса. Никто не справится с главной женской ролью лучше тебя. В тебе чувствуется порода. Да и возраст у тебя, скажу откровенно, самый подходящий. Расцвет сил, расцвет таланта.

Маша слушала и не верила своим ушам. Еще вчера Горяев уверял, что она бездарна, безлика, неинтересна на сцене, таких пруд пруди по разным театрам.

— Сан Саныч, я справлюсь. Я буду внимать каждому вашему слову. Вы выдающийся мастер. Я счастлива работать рядом с вами, — и она опустила голову, чтобы скрыть от окружающих свою радость.

— Передавай привет Софье Николаевне. Славная старуха. Целая эпоха.

После глотка шампанского Маша коротко спросила для проверки:

— Сан Саныч, Софья Николаевна одобрила ваш выбор?

Франческа вернулась в Ленинград влюбленная, легкая, словно там, у себя на родине, окончательно поняла, как сильно привязана к этому человеку. К тому же и в Париже, и в Риме ей удалось заручиться согласием, пусть и не оформленным должным образом, но от людей достаточно надежных, на устройство будущности Сергея.

Отъезд запланировали на конец апреля. В Ленинграде оставались еще кое-какие дела, требовавшие завершения. Кроме того, выяснилось, что виза для Сергея все-таки еще не готова. Все оказалось намного сложнее. С помощью бабы Сони пришлось заручиться поддержкой сильных мира сего, коекого Франческа вынуждена была ввести в курс дела.

А в Ленинград пришла весна. Не та слякотная и серая, что хуже осени, а прозрачная, с высоким небом, с прояснившимися взглядами ленинградцев, с надеждой, что именно этой весной в их жизни случится все самое хорошее.

В театре за два месяца, рекордно короткий срок, поставили Настину пьесу под названием «Ангелы ночи». Можно было назвать иначе — «Демоны дня». И это было бы столь же верно. Впрочем, сгодилось бы и «Демоны дня и ангелы ночи» одной строкой.

— А пьеса недурна! И девица талантлива! — говорил Сан Саныч на репетициях. С этой фразы он начинал процесс. Может быть, заклинал актеров, а может быть, все еще удивлялся сам. В театре быстро привыкают к любым оттенкам чувств. Актеры знали, что пьеса написана молодой подругой Сергея, в таком русле она и исполнялась, немного наивно и трогательно. Но можно было играть и шире, девчонка заложила много смыслов. Это могло и угробить спектакль, но могло и вознести на недосягаемую высоту. В спектакле был задействован практически весь актерский состав, актеры много и часто перевоплощались в разные образы, навеянные Серегиным детством, юностью, зрелыми годами, его видениями, его ангелами и демонами. Собственно, всякий в душе полагал, что в действительности играет самого себя, странность заключалась лишь в том, что неповторимую индивидуальность каждого актера по странной прихоти судьбы смогла разгадать только эта дерзкая девчонка.

Уже был назначен день генеральной репетиции, которая по сути была премьерой и на которую распространили билеты между людьми, близкими к театру и любившими Сергея. Франческа принесла два пригласительных — для себя и для бабы Сони. Баба Соня разволновалась.

— Сержик, ну что они не отпускают тебя на свободу? Зачем мучают твою душу? Боюсь, расплачусь на спектакле. Снова вспомню Любашу и Лизу.

— Баба Соня, на черта тебе нужен этот спектакль? Эта комедия на крови! Но Настя! Какова! Если все мои бабы начнут писать обо мне пьесы и, хуже того, романы, от меня ничего не останется. Даже креста. Господи! За что мне все это! А ты, баба Соня, не ходи! Я тебе запрещаю! — вскипающим голосом выкрикнул Сергей.

— Сержик! Ты ничего мне запретить не можешь! — запальчиво протянула баба Соня. — Ты мне никто!

— Ну вот и отлично! Я тебе никто. И незачем тебе идти смотреть про никого.

— Серж, убавь свой пыл! — вмешалась Франческа.

Вот уж воистину сухой цветок эдельвейса. В чем магия этой маленькой женщины, одному Богу известно, с раздражением подумал Сергей, но все же слегка поостыл.

— Баба Соня пригрела тебя, обласкала, заново полюбила, как в детстве. Не будь неблагодарным.

— Франческа, ты слишком хорошо выучилась говорить по-русски. Боюсь, ты лишилась самого большого преимущества перед всеми моими подругами, — зло проронил Сергей.

— Серж, побойся Бога! Скоро, совсем скоро баба Соня расстанется с тобой. Возможно, навсегда.

— Ладно! — Сергею не хотелось продолжать неприятный для него разговор. — Тогда я пойду с вами.

— Ни в коем случае! — взорвалась Франческа. — Столько усилий потрачено на то, чтобы устроить тебе побег...

— Так ты называешь это побегом? — изумленно выдохнул Сергей. — Тогда я остаюсь! В России!

— Извини меня, ради Бога, я не совсем правильно выразилась. Не побег — отъезд. Но все может рухнуть в один миг из-за твоей неосторожности.

— Сержик, милый! Я тоже так думаю, — устало подхватила Соня.

— Хорошо! — сухо согласился Сергей.

Зал был полон. Настя сидела с Сан Санычем в пятом ряду. Она-то и заприметила Софью Николаевну. Старуха выловила ее однажды по телефону и устроила настоящий допрос. Потом неожиданно выяснилось, что она милейшая женщина, к тому же подруга ее бабки, что само по себе было невероятным, странным, таинственным совпадением. Старуха выглядела величественно. Седые редкие кудельки аккуратно обрамляли сморщенное лицо. Когда-то небось красоткой была. Да и сейчас что-то магическое исходило от ее фигуры. В ушах сверкали бриллианты, слишком крупные для старухи. На ней была видавшая виды меховая накидка, впрочем, все это ей удивительно шло. Ее сопровождала маленькая пепельноволосая зеленоглазая женщина-девочка. Было в ней нечто завораживающее: сдержанное, неброское, некрикливое. Настя поймала себя на том, что ей хотелось долго смотреть на эту женщину с тонкой девичьей фигурой. Она заботливо поддерживала старуху, когда та опускалась на свободное место в первом ряду.

Воздух в театре был словно наэлектризован, казалось, еще немного — и грозовые разряды начнут прошивать сгустившееся пространство. Наконец свет погас, занавес поднялся. О, какое это блаженство смотреть спектакль по собственной пьесе, слушать сочиненные самой диалоги, озвученные талантливо и страстно. Но и какая мука одновременно!

Сергей в своем неизменном обличье — с усами, в очках и шарфе — пробирался в зал при погасшем свете, однако вскоре замер в проходе, с трудом ориентируясь в происходящем. Шла сцена между ним и бабой Соней, когда Лиза, а потом и Любаша оставили непослушного своего малыша на целый месяц с чужой теткой. Комок застрял в горле. Стало больно дышать. Он рассказал эту историю Насте в тот редкий момент, когда хотелось понимания и сочувствия. Как же Настя могла позволить себе воспользоваться теми крохами расположенности, что питал он к ней?! О, эти женщины! Ранят и добивают!

Его, молодого, играл внук Тер-Огасян. Настя, конечно, чертовски талантлива. Она тонко передала его подлинные чувства: одиночество, заброшен-

ность, детскую жажду любви. Машка играла бабу Соню в относительной молодости, не первой, конечно, а той, за которой приходит зрелость, и тоже точно соблюдала рисунок роли — слишком хорошо она знала старуху. Даже отсюда было слышно, как Франческа, склонившись к уху бабы Сони, повторяла за Машкой каждую фразу вслух, и это было почти так же громко, как говорила на сцене сама Машка. Так они и проговорили всю сцену вдвоем. На поворотах Машкиной речи, усиленной громким повтором, правда, уже без драматического оттенка, она согласно кивала головой.

Ему всегда бывало чрезвычайно интересно знать, что думают о нем друзья, когда он оставляет их. Трудно предположить, что и после его ухода они продолжают говорить так, как если бы он вовсе не уходил. Сегодня представился единственный, быть может, шанс узнать наконец все то, что друзья, похоже, долго от него скрывали. Теперь он слушал чужие мысли, читал по лицам глубокое презрение к его образу жизни, с трудом подавляемую зависть, их прорывающуюся в смущение любовь. Чужой грех всегда притягателен, а чужая добродетель пресна. И над всем чувствовалась властная рука Сан Саныча. Он готов восхищаться всяким, чтобы, не дай бог, не прослыть завистливым, но будет завидовать всему, что у него уже было. Наконец они уравнялись — оба лишь тени прошлого. И уже не стоит беспокоиться, чье видение в той или иной сцене возьмет верх. «Редкая, прямо скажем, удача, — со злой иронией думал Сергей, — наконец я выяснил: в сущности то, что говорят о тебе за спиной, не стоит того, чтобы это знать!»

Дальше по тексту он взрослел, играл свои первые робкие роли, пришел успех в виде толпы поклонниц, преследующих его, — этакая икебана его жизни. Легкое презрение к женщине делало его зависимым. Когда жизнь преподносила ему урок, он уходил к другой. В ту пору редко встречалась женщина, до разговора с которой он снисходил, если она его хоть в какой-то мере не волновала как женщина. Чуть позже в нем обозначился надлом, обусловленный, как ему казалось, совсем иными причинами, а именно, мучительным несовпадением собственных устремлений с жизненными реалиями, и ангел в белом начал борьбу с демоном в черном за его душу.

Это было так правдоподобно, так тонко подмечено несносной девчонкой, так больно, так невыносимо больно было смотреть на то, как препарировали его душу, забирались в такие ее глубины, такие тайники и незакрытые полости, о которых он и маме родной никогда не рассказывал. В общем, он почувствовал, как ноги сами понесли его к сцене. Он пробирался сквозь тела, на него шикали, он рвался вперед, пока не очутился у самой сцены. Он уже готов был взобраться на помост и закричать: что же вы творите со мною? В какое гнусное крошево, в какую кустистую мерзость вы превратили мою жизнь? Что ж ты, Сан Саныч, подлец этакий, пошел на поводу у глупой девчонки: не остановил ее бесчувственный бег, не ограничил эстетские радости? Или она, попав в плен твоего дьявольского обаяния, потеряла всякое представление о добре и зле? Уж не затащил ли ты, грязное животное, в постель это нежное создание и не посулил ли ей все радости жизни за ее душу, за глоток эфемерной славы? С тебя станется. Ты умеешь искушать даже ангелов.

И вдруг Сергей наткнулся на взгляд Франчески. Она пыталась пробуравить его насквозь, в глазах была боль и мольба, страх и тоска, все те чувства, которыми были полны души любивших его женщин и которые не вызывали в нем прежде ни малейшего отклика. Он ощутил болезненный укол стыда, раскаяние затопило душу. Он развернулся и побрел к выходу. Его пинали со злостью, приговаривали: ходят тут всякие придурки и сумасшедшие!

Несколько дней он не ел, не пил. Франческа хлопотала с отъездом.

Ночью неожиданно случился приступ. Баба Соня проснулась, как это часто случалось с ней последнее время, от давящего чувства беспокойства — оно не покидало ее даже во сне. Хотелось пить. Придется все-таки провериться на сахар, — с тоской подумала она. Она долго лежала с закрытыми глазами, потом все же поднялась, злясь на себя и постанывая от боли в спине и ногах. Она направилась на кухню, но не дошла: ее встревожил свет в Сержиковой комнате (теперь она любовно называла кабинет исключительно комнатой дорогого Сержика), она заторопилась своей тяжелой старческой поступью к нему. Собственно, Сержик частенько зачитывался до полуночи, и она заходила к нему погасить свет или поправить одеяло. При этом долго крестила его и вздыхала с тоской и обидой: ну почему счастье обретения сына случилось так поздно. Страх удушливой волной обдал ее, когда она склонилась над ним. Он дышал часто и поверхностно, губы даже в свете ночника показались белыми, как простыня. Руки бабы Сони стали мелко дрожать.

— Сержик, дорогой! — прошептала она.

— Соня, — слабо отозвался он, — голова... раскалывается... наверно, так выглядит конец...

— Сержик, ну что ты, миленький! Это мигрень. Я вызову врача.

— Ни в коем случае! — он добавил голосу силы. — Ты же знаешь, я давно умер.

— Сержик, у меня тут валяется паспорт Антона. Вы так похожи.

— Какого еще Антона? — спросил он, словно издалека.

— Как какого? Ты, что, забыл Антона? Вы играли в детстве часами, забившись под письменный стол.

— Это тот, рыжий, с веснушками и торчащими ушами?

— Неправда! — обиделась баба Соня. — Он замечательный был ребенок. И всегда с восторгом вспоминал о тебе. То есть все еще вспоминает, — исправилась старуха.

— Ладно, баба Соня, сдаюсь. Вызывай «скорую», иначе мне каюк.

«Скорая» равнодушно увезла в ночь человека по имени Антон и по фамилии Полонский. И, в общем-то, если бы по пути выкинула его бренное больное тело куда-нибудь в грязную глубокую канаву, никто, кроме бабы Сони, не всплакнул бы о нем, да и она не в счет, что возьмешь с выжившей из ума старухи. Есть еще, конечно, где-то Франческа, сухой цветок эдельвейса, которым старуха, подобно тибетским шаманам, решила его подлечить, да только напрасные оказались хлопоты.

После тягостного осмотра дежурным врачом и его почти мгновенного диагноза: гипертонический криз, а возможно, и инсульт, требуется дополнительное обследование, ему вкололи стандартный набор лекарств из убогого арсенала средств далеко не самой оснащенной больницы. Его бросили прямо на каталке в темном коридоре терапевтического крыла дожидаться утреннего обхода врачей. Сонная медсестра, равнодушно проделав серию манипуляций, удалилась в дежурную комнату, оставив подыхать в темноте и одиночестве этот человеческий обломок, некогда гордо именуемый секс-символом советского кино.

Кое-где свет ночных ламп выхватывал из темноты куски коридора, сгущал по углам, очерняя, больничный кошмар, лишал последней надежды на скорый приход утра. Так, по-видимому, выглядит дорога в чистилище: в виде больничного коридора с тусклыми лампами у потолка, с неистребимым запахом хлорки, с ощущением скорого конца. Как в этом кошмаре работают люди? Ладно, больные... им некуда деться. Но врачи и медсестры?! Ежедневно и еженощно добровольно примерять на себя ад, пусть и в роли свидетеля?

Он пролежал с открытыми глазами до первых проблесков рассвета, в очередной раз пытаясь осмыслить свою жизнь. Итак, продолжение следует... он снова болен и снова цепляется за свою жалкую жизнь. Голова болела так, словно сотня барабанных палочек отбивала чечетку на затылке. И все-таки мысль продолжала пульсировать. Сколько еще должно быть послано ему сигналов, чтобы он понял наконец, чего же хочет от него Всевышний? Мера изжитости все еще колебалась.

Утром его повели на осмотр. Голова по-прежнему болела, но передвигаться он все-таки мог, хотя и достаточно тяжело. Его раздевали, слушали, мяли, обкладывали голову датчиками, удрученно качали головой. И не единая душа не усомнилась, что перед ней не Антон Полонский. Вот вам и два десятка фильмов, вереница театральных образов, слава, успех, поклонение. Все оказалось химерой, жалким вымыслом. Несколько месяцев затворнической жизни, многодневная щетина, выражение затравленности, — и не надо вживаться в чужой образ, — ты уже сам себе чужой.

Его никто не навещал. Неделю назад Франческа снова улетела в Рим. Баба Соня сама нуждалась в уходе. Сергея перевели в переполненную палату, смрадную и грязную. Неистребимо пахло дешевой колбасой, кислой капустой, туалетом, — словом, дно жизни было уже совсем близко. Народ его не замечал, видно, он стал лишь декорацией. К слову сказать, и между собой больные мало общались, словно надеялись пережить свою болезнь как эпизод, малорадостный, но преодолимый. А в эпизодах, как известно, характеры прорабатываются слабо.

Молодая врачиха водила стетоскопом по грудной клетке, равнодушно расспрашивала его о возрасте, о роде занятий, вредных привычках.

— Я строитель, — зачем-то соврал он. — Строю мосты, — добавил.

— Вам, пожалуй, придется расстаться с вашей работой, — заученно ответила она, словно каждый день повторяла эту фразу. — Вам следует придерживаться более спокойного образа жизни.

Она даже не взглянула на него. Это было, по меньшей мере, оскорбительно. Он был некой частью ее конвейера, скучной подробностью ее жизни. Он потерял лицо... Она помогла ему подняться, словно перед ней находился глубокий старик. Как только его ноги проскользнули в тапочки, она произнесла громко:

— Следующий! А вы подождите в коридоре свой эпикриз.

Франческа вернулась из Рима оживленная и очень деятельная. Сергей был все еще слаб после перенесенного инсульта, и Франческа начала потихоньку его тормошить, готовить к отъезду.

— Сержик, может, у тебя остались какие-то неосуществленные желания, мечты, которые еще не поздно реализовать.

— О да, остались. Набить морду Горяеву! Вытрясти подлую душонку из Ильи. Аленку отдать замуж.

— Ну, ладно-ладно! Если не хочешь, поговорим об этом в другой раз.

— Ну почему в другой? Можно и сейчас. А если серьезно, очень хочу встретиться с отцом.

— И что ты ему собираешься сообщить? — растерявшись, спросила Франческа.

— Что жив, здоров. Что не стоит печалиться, — ответил без улыбки Сергей.

— Ну так давай рванем в Минск! Я возьму у друзей автомобиль.

— Отличная мысль? Кто за рулем?

— Нет, пожалуй, ты устанешь в машине. Поехали поездом.

— Нет, только не поездом. Я хотел бы не спеша прошвырнуться с тобой по родным и любимым местам.

Через неделю к поездке были готовы оба. Планировали отчалить с утра, но пока съездили за подарком для отца, потом перекусили, заправили машину, в общем, стартовали только к обеду. Дорога была черная, мокрая от накрапывающего дождя, вокруг лежали унылые горизонты, народ попадался все больше безрадостный. Где-то к середине пути, когда стали сгущаться сумерки, забарахлил мотор. Первым занервничал Серега. Женщина за рулем — всегда испытание для мужчины.

— Франческа, милая, пока не совсем заглох мотор, давай остановимся у первой деревни.

— Боюсь, мы уже не дотянем.

Ночь надвигалась стремительно. Они съехали с шоссе на проселочную дорогу, впереди обозначилось размытое пятно какой-то развалюхи. Когда подъехали ближе, стало ясно, что не ошиблись. Дом с выбитыми стеклами сиротливо притаился в ночи, ржаво поскрипывала дверь на одной петле. Было жутковато.

— Сержик, уносим ноги! — прошептала Франческа. — Он всегда удивлялся правильности ее оборотов.

Она выжала сцепление, нажала на газ, машина дернулась раз, другой и заглохла. Ночевка в доме, больше похожем на сарай, была обеспечена.

— Подожди меня в машине, — буркнул Сергей. — Я посмотрю, что там внутри.

Минут через пять он вернулся.

— Знаешь, переночевать здесь можно. На отель Хилтон пять звездочек, конечно, не тянет, но есть широкая лавка и даже печка. Я уже присмотрел пару чурок.

— Хорошо, что я запаслась едой, — невесело отозвалась Франческа. Она говорила исключительно шепотом, хотя на километр вокруг не светилось ни единого огонька. Где-то далеко брехали собаки.

Через полчаса они сидели за столом, сварганенным из шершавых досок, два великолепных одеяла были постелены на лавке. Огонь из открытой печки едва освещал их лица.

— Ты как себя чувствуешь? — Франческа волновалась.

— Слушай, ну зачем тебе нужен такой неудачник, как я, да еще после инсульта?

— Не было у тебя никакого инсульта и точка. Диагноз поставлен неверно. В крайнем случае, микроинсульт, — сказала уверенно молодая женщина. — Дома я тебя быстро поставлю на ноги. Подниму всю нашу медицину, но здоровье тебе верну. Я даже не знаю, как назвать чувства, которые испытываю к тебе. Мне кажется, это даже не привязанность и не любовь. Судьба, быть может. Или обреченность. Я обречена быть с тобой.

— В этом слове заключен роковой смысл.

— Так ты и есть мой рок... Сережа, что ты собираешься сообщить отцу? Как будешь оправдываться?

— Наверно, попрошу прощения. За то, что мало любил, мало интересовался его жизнью.

— Утром проснемся и придем в ужас: где спали, за каким столом ели, — глухо хохотнула Франческа.

— Франческа, а ты могла бы жить в таком вот доме, среди поросших бурьяном полей, вдали от благ цивилизации?

— С тобою да. Я писала бы книги, — на секунду забывшись, ответила итальянка.

— Франческа, я ведь по сути тебя совсем не знаю. Какой ты была в детстве, в школьные годы? Когда влюбилась впервые? Насколько сильным было твое первое чувство? Мне интересно.

— Я была правильной и скучной, вечно страдала по самым различным поводам. Мама всегда говорила, что я неправильная итальянка, а с испорченной русскими генами кровью.

— Забавно! Я никогда не думал, что с бабой, которая вырвана из другой жизни, из чужой культуры, можно вот так спокойно сидеть и о чем-то болтать, — чуть грубовато заметил Сергей.

— И что ты думаешь по этому поводу теперь?

— А все то же. Что с бабами надо меньше разговаривать, — и он нежно коснулся маленькой теплой руки Франчески.

Утром, едва проснувшись, Сергей бросил исполненный нежности взгляд на Франческу. Она, натянув на лицо одеяло, спала счастливым сном младенца. Потом он долго всматривался в серое низкое небо и наконец обратил испытующий взор в свою настрадавшуюся душу.

Вот так бы и жить. Вставать затемно, топить печь, не спеша выпивать чашку утреннего кофе. Пахать землю, выращивать хлеб, заниматься простым мужицким делом. Забыв себя, любить зеленоглазую хрупкую женщину с пепельными волосами, пытаться построить с ней что-то важное. Из этого бывает соткан свет. И воздух тогда полон звуков поскрипывающего на цепи ведра, стремительно уносящегося в ледяную темень колодца, чьих-то торопливых шагов за околицей, далекого бреха деревенских собак. Глоток колодезной воды взбодрит, и закружится голова от запахов пробуждающейся земли. А в доме будет слышно, как потрескивают в печи березовые поленья, как поскрипывают половицы под летящим женским шагом, и запахнет свежеиспеченным хлебом, душистыми травами, чем-то еще, волнующим и терпким. А потом все поглотит звенящая тишина подступившей ночи. Будто протяжный звук виолончели на грани небытия... И больше не надо прятаться за шелуху слов.

Он поднялся, вышел во двор, попытался завести машину. Стало ясно, что без посторонней помощи не обойтись. Пришлось тащиться в сторону шоссе, ловить машину, ехать на ближайшую станцию техобслуживания, уламывать горе-мастера, а попросту вымогателя, все сделать как можно быстрее. Через час он вернулся со специалистом, и Франческа по обыкновению немедленно взяла все в свои руки. Она сорила деньгами, как всегда, и это глухо раздражало Сергея. Снова заболела голова.

...К вечеру они были готовы продолжить свой путь.

В четыре утра прибыли в Минск. До семи покемарили в машине у подъезда отцовского дома. Сергей вдруг почувствовал, что к встрече не готов. Это было самое настоящее ребячество, но он не мог ничего с собой поделать. Его начала бить сильнейшая дрожь.

В восемь он услышал, как хлопнула дверь, кто-то вышел на улицу. Он узнал знакомый силуэт. Отец все еще был с прямой спиной, но тело, эта предательская оболочка, было уже другим, оно потеряло упругость, былую легкость, оно утратило красоту. Казалось, отец сейчас вернется за забытой тростью. И такой волной жалости и сострадания обдало Сергея, что впору было разрыдаться...

О матери — а теперь Сергей начал думать и о ней — он тоже не мог вспоминать иначе, как с комком в горле. И она не стала счастливой, несмотря на все усилия Любаши. Бабка, как могла, скрашивала жизнь двум бродяжкам, какими виделись ей дочь и внук, но и она не была волшебницей. Вероятно,

и мать, и отец изначально пришли в этот мир для одиночества. И даже будучи в браке, не смогли преодолеть программу, заложенную кем-то извне. Но вот ведь что интересно, все могло сложиться иначе, стоило лишь Лизе отступить от проклятого ремесла...

Франческа потянулась, зевнула. Даже это у нее получилось изящно.

— Отца нет дома... Он уехал к брату в Вильнюс... Я был у соседей, назвался одноклассником сына. То есть самого себя.

— Послушай, это же смешно и не очень умно, — растерянно проговорила Франческа.

— Представь, меня не узнали. Придется возвращаться ни с чем, — делано расстроенным голосом сообщил Сергей.

— Давай хотя бы один день проведем в Минске! — взмолилась Франческа.

— Ладно. Я тут знаю одну недорогую гостиницу.

Сергей даже себе не смог бы ответить, почему принял столь неожиданное решение не встречаться с отцом. Такой болью полоснуло душу, такой жалостью к родному человеку, что понял: он и слова без слез не сможет промолвить.

Конечно, глупо все как-то вышло. Приехал к отцу, а встретиться не смог или не захотел. Тотчас возвращаться домой не было сил. Да и в этом городе он когда-то прожил два года. Это было очень давно, так давно, что он забыл, по каким улицам бегал, с кем дружбу водил, любил ли бабку, мать отца. Он прожил тут вынужденно, вдали от Лизы и Любаши, своих самых родных женщин, по которым тосковал так, как можно тосковать только в детстве, зачеркивая дни в календаре до предстоящей встречи, испытывая тайный страх перед любым событием, способным встрече помешать.

Он не знает и, возможно, так и не узнает никогда, разве что Соня прольет свет на события той давней поры, что же заставило Лизу с Любашей отдать дорогое чадушко отцу на воспитание на долгих два года. Что-то припоминалось про тяжелую болезнь матери, то ли туберкулез, то ли еще что-то. Да-да, помнится, все искали пути-подходы к пульмонологу, ленинградскому светилу той поры. В общем, решили не рисковать, отправить дитя подальше от греха. Бабка с отцом жили на окраине Минска, в бывшей деревне Курасовщине, в ту пору это уже был микрорайон с таким же сельским названием. И как теперь он помнит, ходил из Курасовщины автобус номер один до самого центра — площади Победы.

Хорошо бы Франческу провезти по маршруту своего детства. Сергей уткнулся в карту, увлекшись, стал разрабатывать маршрут.

Бабка Стефания приняла его с открытым сердцем. Если бы не Лизина болезнь, она бы никогда не встретилась со своим единственным внучком. Жила она с сыном в те годы бедно, в длинном деревянном бараке в ряду таких же убогих деревянных строений. Правда, год спустя Илья получил квартирку в трехэтажном кирпичном доме, там же в Курасовщине. Стефания работала младшим научным сотрудником в институте почвоведения, что находился в десяти минутах ходьбы от дома.

Детский сад, куда определили Сережу, располагался и то дальше, на расстоянии целой остановки от Стефаниного института. Иногда Стефания, не успевая на работу, отправляла его, шестилетнего, одного в детский сад. Так продолжалось довольного долго, до тех пор, пока мальчонку, совсем не торопившегося на свою «работу», с любопытством рассматривавшего каждую травинку, каждого кузнечика, не засекла злющая Тамариванна, заведующая детским учреждением.

Да! Этот детский сад стоял на самой высокой точке горы и представлял собой дворянскую усадьбу — добротное строение в два этажа, с высокой крышей, со множеством комнат, с балконами и балкончиками. А вокруг шумели кронами столетние дубы. Внизу, под горой, текла речушка, заболотившая все окрестности. Зимой они катались на санках, с горы — и вниз, до извилистого бережка той знаменитой речушки. Все это происходило под небывалый выброс адреналина. Тамариванна постоянно тряслась от ужаса при мысли, не приведи Господи, дети провалятся под лед. Потом доказывай всем в суде, что не виновата, просто для детского сада в Курасовщине не нашлось более подходящего места...

— Давай руку! — крикнул Сергей Франческе.

Ноги то и дело соскальзывали с мокрой дорожки, ведущей вверх от шоссе к усадьбе.

— Боже мой! Как все изменилось! Все как будто бы сплющилось и ужалось! Как кусок шагреневой кожи! — причитал по-стариковски Сергей. — Так и вся наша жалкая жизнь! А дом?! Что они сделали с домом? Нет, это непостижимо!

Казалось, Сергей сейчас разрыдается. Франческа боялась поднять на него глаза.

— Ты только посмотри на этот дом из стекла и бетона! Он совсем из другой реальности. В нем нет ничего подлинного. Даром что табличку прибили. А ведь в нем водились привидения.

Они подошли к доске, прочитали: «Памятник архитектуры XVIII века. Охраняется законом».

— Нет, это непостижимо! — все повторял и повторял он. — Здесь было столько, — он очертил руками круг, — столько, — повторил он беспомощно, мучительно подыскивая подходящее слово, — воздуха, простора, непознанной Вселенной.

— Сержик! А что окружало усадьбу? — Франческа, казалось, прониклась чувствами Сергея.

— Здесь был яблоневый сад, и, честное слово, никогда больше я не ел таких вкусных яблок. А дубы, какие дубы тут росли! Мы собирали желуди, хвастались, у кого больше. Поехали отсюда, — упавшим голосом проговорил он вдруг.

— Почему ты молчишь? — осторожно спросила итальянка, когда они снова оказались в машине.

— Просто я не знаю достаточно выразительных итальянских ругательств! — с грустью отозвался Сергей.

Франческа взглянула на Сергея в зеркальце, улыбнулась уголками глаз. Автомобиль миновал птицефабрику, мясокомбинат, затем старый аэропорт, проехал от начала и до конца всю улицу Московскую. Они огибали площадь Победы, когда Сергей, наконец, снова подал голос:

— Немцы пленные строили!

— Что? — переспросила Франческа.

— Немцы после войны строили. Чуть дальше по правой стороне за больницей будет высокое полукруглое здание с колоннадой, там остановишься.

Они вышли из машины, подались в сторону Академии наук. Сумерки сгустились.

— Отсюда отец отправлял меня в мой первый пионерский лагерь! — чуть повеселевшим голосом сообщил он. — Мне было семь. Той же осенью я пошел в школу уже в Ленинграде. Мать забрала меня. Знаешь что? Поехали в Троицкое предместье, там и пообедаем. Хочу взглянуть на старую Немигу, что они с ней сотворили.

...Официант принялся бойко обслуживать парочку, бросая любопытные взоры на Франческу. Видно, сразу почуял в ней иноземное существо.

— Я никогда не думал, что так хорошо помню Минск, — проникновенно начал Сергей. — Я понял сегодня: несмотря ни на что, я люблю этот город. В нем нет, — он задумался на секунду, — в нем нет музейной патины, толстый слой которой лежит на самом неприметном питерском льве. Здесь не задумываешься всякую минуту, имеешь ли ты право в этом городе быть, здесь ты всегда свой.

— Сержик, ты разлюбил Ленинград? — спросила удрученно Франческа.

— Не в этом дело! У меня, по-видимому, обыкновенная душа простого обывателя, и она любит существовать среди обыкновенных вещей.

— Сержик, но в Риме или во Флоренции, жизнь еще больше уходит корнями в толщу веков, — с недоумением проговорила Франческа.

— Нам, что, обязательно жить на пьяццо да Винчи? У тебя нет домика в деревне со скромным виноградником за околицей? Я буду работать там день и ночь, — подмигнул он молодой женщине.

— Сержик! — улыбнулась Франческа. — Надеюсь, ты говоришь об этом не всерьез. Тебе не придется трудиться физически, разве что для удовольствия. Я нашла тебе работу в Париже, а нет — так в Риме. Учи языки, и ты окунешься в родную для себя стихию.

— У меня одна стихия. Это ты! Театр мне осточертел!

Илья Николаевич от природы был человеком застенчивым. В молодые годы он чуть ли не заикаться начинал, когда с ним заговаривали красивые девушки. Красивые девушки его замечали, неуверенность принимали за равнодушие и тут же атаковали его сердце с удвоенным напором. Он терялся совсем. И только Лиза не внушала страха. Она как будто сама нуждалась в защите и покровительстве. Казалось странным, что эта тоненькая девушка с большими серыми глазами, в которых затаилась непонятная боль, собирается стать актрисой. И он не смог разгадать так сразу, что за робкой внешностью прячется неистовая одержимость во всем, что зовется миром театра и кино. Эта одержимость стала досадной помехой, которая, он надеялся, уйдет, как уходит детская любовь к сказкам или девичьи мечты о принце. Но он ошибся.

А начиналось все симпатично: он физик-аспирант, она учится в театральном. Ему льстило, что на него обратила внимание столь незаурядная особа. Очень скоро он увлекся театром, забросил диссертацию, стал ходить на все студенческие спектакли, лишь бы там снова увидеть Лизино лицо. Смотрел на нее с болью и восхищением, иногда подсказывал что-то. Лиза диву давалась, как тонко он чувствовал нерв спектакля. Любаша же, вскоре ставшая законной тещей Ильи Николаевича, только головой недоверчиво качала. Видно, боялась поверить, что все это надолго. Мудрая была женщина.

Родился Сережа, все завертелось, закрутилось вокруг маленького писклявого пакета. Институт Лиза не бросила, по-прежнему бегала на репетиции и спектакли и вдруг была приглашена на роль Офелии в один из самых заметных ленинградских театров. Она стала раздражительной и злой, мальчишка отнимал много времени и сил. Благо, Любаша помогала. Собственно, и сам Илья поначалу принимал посильное участие в судьбе малыша.

Когда ребенку исполнился год, Илья вдруг вспомнил о своей науке, затосковал по ясному и живому миру научного эксперимента, вспомнил состояние азарта, когда зарождается новая научная мысль, а потом и вовсе приходит уверенность в скором открытии.

И уже фальшью повеяло от театральных подмостков, и все стало казаться искусственным и порочным. Ему почудилось, что и Лиза вот-вот придет к пониманию очевидных истин, и тогда что-то непременно изменится в их жизни к лучшему. Он решил затаиться, дождаться момента, когда она сама объявит ему об этом.

Но не тут-то было. Она уходила все дальше от него. Глаза ее стали чужими. Илья Николаевич собрал чемодан, застенчиво произнес прощальную речь, которую, впрочем, никто не услышал, сел в поезд «Ленинград-Минск» и устремился к родному дому.

...Илья Николаевич спустился в метро. Минскому метро было от роду несколько лет, можно сказать, оно не вышло из младенческого возраста, и Илья Николаевич все еще привыкал к нему. Всякий раз, спустившись в подземку, успев хватануть толику особенного, ни с чем не сравнимого запаха, ассоциируемого с близостью и господством большого города, по чудной прихоти своей отяжелевшей памяти, он снова ощущал себя ленинградцем. Минское метро казалось проще и безыскусней, но в то же время оно было такое чистое, аккуратное, будто чуть-чуть игрушечное. Его старая приятельница Тамара Жученко любила повторять во времена строительства первой линии: «Не понимаю, почему так близко станции строят! Ведь если первый вагон состава достигнет Академии наук, последний как раз останется стоять на площади Якуба Коласа. Не понимаю!» А вот ведь построили! И все прекрасно функционирует.

Илья Николаевич спустился на станцию «Московскую», собрался ехать до «Академии наук». Один электропоезд проследовал без остановки. Вот уже десять минут Илья Николаевич лицезрел панно из серого мрамора с контуром Московского Кремля. Пожалуй, это одна из наиболее удачно оформленных станций. Илья Николаевич бросил раздраженный взгляд на часы, затем на пустынную платформу. В это время суток станция всегда безлюдна. К нему приближалась молодая женщина с ребенком. Господи! Это была точь-в-точь Лиза лет тридцатилетней давности. И даже мальчик своим смышленым, живым взглядом до боли напомнил ему маленького Сережу. Илье Николаевичу стало тяжело дышать. Прижав руку к сердцу, он опустился на ближайшую скамью. Электропоезд он пропустил. Долгим взглядом проводил в вагон молодую женщину с мальчонкой, пока они не скрылись за захлопнувшейся дверью. Он посидел еще минут десять, пропустил следующий состав тоже, тяжело вздохнул и поплелся наверх, на свежий воздух. Он передумал ехать в Академию наук. Как-нибудь без него проведут Ученый совет. Пусть привыкают. Не хотелось сейчас вливаться в привычный круг людей, выслушивать туманные речи о вселенских масштабах очередного научного открытия. Хотелось забуриться куда-нибудь в дальний угол, задержаться хоть на мгновение в том пограничном состоянии между реальностью и полузабытьем, когда по ощущениям не определить, то ли ты испытываешь не вполне осознанную боль, то ли зыбкое чувство счастья.

Лена самым решительным образом начала докапываться до истины. Она взяла в театре отпуск на три дня, собрала сумку, выяснила по телефону, когда ближайший рейс на Минск и отправилась на такси в Пулково. Таксист попался назойливый, долго рассматривал ее в зеркальце, наконец изрек:

— А я вас знаю!

Лена продолжала хранить молчание.

— Вы снимаетесь в кино! — и он назвал имя известной актрисы одного из московских театров.

Лена давно привыкла к тому, что люди без приглашения вламываются в ее жизнь, требуют какой-то особенной реакции на факт узнавания ими твоей особы, требуют дружбы, любви, еще чего-то, что трудно поддается определению. Они-то и со своей жизнью до конца разобраться не могут, не могут научиться любить тех, кто с ними рядом, но вот от тебя готовы потребовать самых искренних чувств и заверений в дружбе лишь на том основании, что однажды увидели на экране твое лицо.

Поначалу это забавляло. После нашумевших премьер по Эдькиным пьесам она раздавала автографы налево и направо. Эдька при этом тихо посмеивался в стороне, видно, всегда, гад, знал истинную цену своим вымороченным творениям.

Однако последнее время она едва справлялась с раздражением, когда какая-нибудь молодая дурочка требовала поделиться секретом успеха. Какой там успех?! Десять лет играть один и тот же спектакль! Чувств нет, есть только до автоматизма доведенные реакции, когда уже не думаешь, ни как стать, ни как повернуться, и если, не дай бог, забудешь реплику, всегда найдешь выход. Или успех в том, что ты ничего не можешь себе позволить — даже ребенка, ибо за очередным поворотом судьбы всегда чудится главная твоя роль? И вот уже год, и два, и десять ты в театре, а лучшие роли играют другие актрисы, ничуть не талантливее тебя, просто звезды им светят иначе.

...Лена вышла из здания аэропорта «Минск-2», оглянулась. До города — вот несчастье! — сорок километров. Слава богу, почти мгновенно подкатил «Икарус». Всю дорогу она раздумывала о том, какими словами начнет разговор с Ильей Николаевичем, как объяснит, зачем приехала.

Но объяснять ничего не пришлось. Старик сразу ее узнал, пригласил в дом, начал суетиться.

— Знаете, Леночка, я иногда не верю, что Сергей покинул нас. Он ведь был полон сил, идей, строил планы, мечтал писать добротные сценарии и, самое интересное, действительно писал. У меня где-то тут один, забытый им, покоится.

И он стал рыться в книжном шкафу.

— Вот! — бережно раскрыл тетрадь перед Леной.

— Дайте-ка сюда! — Лена взволнованно перелистнула несколько страниц. — Илья Николаевич, дорогой, пожалуйста, дайте мне тетрадь на время.

— Хорошо-хорошо! Леночка, не волнуйтесь так, ради бога. Вот все полагают, что Сергей — этакий баловень судьбы, — Илья Николаевич стал говорить о сыне в настоящем времени. — А ведь у него было непростое детство. Лиза, его мать, болела туберкулезом. Он прожил у меня здесь два года, ходил в детский садик. Он был замкнутым, сосредоточенным, очень напряженным ребенком.

— Илья Николаевич, а почему вы ушли от его матери? Простите за бестактный вопрос.

— Леночка, я не доверчив, не открыт и чрезвычайно подозрителен. Я оказался не способен и на угрюмую любовь. Эту муку, я имею в виду театр, могут вынести только те семейные пары, которые в одинаковой степени помешаны на самом иллюзорном из искусств. Если же кто-то обладает более трезвым и прагматичным умом, а я полагаю, что я именно таков, он никогда не принесет свою жизнь в жертву иллюзии. Театр — это, прежде всего, страстный монолог, произнесенный с определенной интонацией. И вчерашняя интонация мало соотносится с днем сегодняшним. А уж завтра, поверьте, ее вообще никто не воспримет. Театр сиюминутен. И даже гениальные тексты ничего не меняют. Они лишь бледно пересказывают жизнь. Нельзя бесконечно обряжать действительность в театральные одежды.

— Вы очень умны и проницательны, Илья Николаевич. — Я теперь знаю, в кого пошел Сергей. Если бы вы были чуть моложе, честное слово, я бы вышла за вас замуж.

— Леночка, вы мне льстите так тонко, будь я помоложе, я бы непременно влюбился в вас... А давайте-ка погуляем с вами по городу. Минск так изменился за последнее время. Вам как истинной ленинградке трудно понять очарование моего города. После Минска мне было трудно привыкнуть к северной столице. Здесь другие пространства, другие ритмы, другие ценности. Да и жизнь здесь совсем иная. Для начала предлагаю бросить непредвзятый взгляд на Красный костел.

У костела Илья Николаевич почему-то занервничал. Казалось, некая застарелая обида прорывалась сквозь наслоения чувств.

— Только взгляните, Леночка, какая гармония линий. К сожалению, сейчас это Дом кино.

— Почему к сожалению?

— Негоже храм превращать в балаган.

— Илья Николаевич, — осторожно начала Лена, — как вы думаете, если бы Сережа был жив, где бы он сейчас обитал?

— Не знаю, — растерянно ответил он. — Может быть, у Сони. Если, конечно, не забыл совсем старуху. Она ведь крестила его когда-то.

— Его там нет! — резко ответила Лена.

— Знаете что, Леночка, а давайте я вас приглашу на ужин в Троицкое предместье. У нас теперь это самый модный ресторанный комплекс. Там и подумаем о том, что мучает вас и меня все эти долгие месяцы.

Они спустились к площади Победы, вышли на набережную Свислочи в том самом месте, где река приобретала не свойственную ей ширь. Илья Николаевич взбодрился, приосанился. У Театра оперы и балета приготовились перейти улицу. В затормозившем на перекрестке автомобиле произошло какое-то движение, да мало ли что происходит вокруг. Боковым скользящим взглядом Лена зафиксировала пепельноволосую женщину за рулем, ее лицо отдаленно показалось знакомым, пассажир на переднем сидении явно нервничал, все оборачивался назад, словно опасался погони. Лица его рассмотреть не удалось. «Хорошо бы заиметь машину», — подумала вдруг Лена.

...У Сергея бешено колотилось сердце. Он побледнел и стал хватать ртом воздух. Франческа остановилась у ближайшего здания, оказалось — больница.

— Сержик, что с тобой? — испуганно спросила она.

Через минуту к нему вернулась способность анализировать. Франческа никак не могла узнать отца — она его никогда не видела. Да и с Ленкой тоже знакома не была.

— Мне уже легче, — слабым голосом проговорил он.

— Сержик, давай зайдем в приемный покой, там тебе сделают укол.

— Поехали в гостиницу. Мне, и правда, полегчало.

Франческа со страхом взглянула на Сергея, лицо его, однако, уже не выглядело столь устрашающе бледным.

...В Ленинград вернулись невеселые. Франческа чувствовала себя слегка одураченной. Впрочем, похоже, Сержик на самом деле что-то перемудрил и заморочил голову не только Франческе, но заодно и самому себе.

Времени оставалось мало, совсем мало — всего какая-то неделя. Визы, слава богу, открыты, билеты заказаны. Франческа похудела, превратилась совсем в девочку, она бегала по своим ленинградским друзьям, прощалась.

Все это мало интересовало Сергея. Он ушел в себя, впал в состояние исключительно внутреннего созерцания. Все внешнее как будто перестало его волновать, и только мысль — что же творит он со своей жизнью — время от времени остро пронзала душу. Баба Соня перестала донимать его своими досужими разговорами, стала все чаще куда-то исчезать, вела странные зашифрованные беседы по телефону, время от времени бросала страдальческие взгляды в его сторону, резко замолкала, когда он начинал прислушиваться.

С этим надо было что-то делать. Надо было пережить эту мучительную неделю и отбросить ее, как старую изношенную одежду, как и всю свою прежнюю жизнь. Надо было начинать вживаться в новый образ, в новую страну, новый дом и в свою новую роль, надо было познавать тысячу новых мелочей, из которых, собственно, и состоит жизнь. Мысль об этом была невыносима.

Когда появлялась Франческа, боль отступала. Приходила некоторая ясность, а с ней и уверенность в том, что он пережил большое приключение, воспоминание о котором будет веселить его долгие годы. Жизнь испытывала его на прочность и, может быть, будет испытывать дальше. Он выдюжит все. Рядом с Франческой.

В общем, эта неделя была лишней. Он не знал, чем заполнить ее. Не хотелось думать, двигаться, говорить. Прощаться было не с кем, завещать нечего. И только мысли об Аленке не покидали его. Хотелось снова увидеть ее, обнять, сказать нечто такое, что поможет ей выстоять в этой нелегкой жизни, хотелось уверить ее в безмерности своей любви, в том, что он будет всегда мысленно с нею. Он уже было собрался к ней в детский сад, налепил усы, но в последний момент передумал, он не мог больше так страдать.

В аэропорт приехали за два часа до отлета. Баба Соня с утра куда-то пропала, но обещала явиться в аэропорт. Старуха вела себя странно. Она предприняла столько усилий, чтобы этот отъезд состоялся, и в то же время всем своим поведением демонстрировала, что есть вещи поважнее, чем окончательно вызревшее бегство дорогого Сержика.

Сергей был внешне спокоен, но Франческа чувствовала, как он не может унять внутреннюю дрожь. Сама она была счастлива: этот день все же настал. Она видела себя и Сержика милой стареющей парой в ее богатом доме, где в мрачноватых комнатах с высокими потолками царят прохладная тишина и идеальный порядок. Сергей напишет книгу — роман о сложной русской душе, она же продолжит заниматься театром, так, как она делала это всегда, чуть отстраненно, чуть бесстрастно и потому особенно верно. По вечерам они будут ходить в оперу, в основном на премьеры, иногда станут бывать на светских приемах ровно до той минуты, пока действо не начнет утомлять Сержика, а потом они поедут домой, где она приготовит ему чудесный кофе. Их любимый мальчик будет уже спать, и они по очереди станут целовать его в прохладный лобик. Сын, их наследный принц, вырастет талантливым и счастливым.

В этот момент они увидели Соню. С прытью, давно уже ей не присущей, она неслась по залу ожидания, ритмично выстукивая своей палкой. Франческа напряглась, было в старухе некое неестественное оживление. У Сержика глухо забилось сердце. Они рванули к ней навстречу вниз по лестнице, Франческа впереди.

— Уф! Успела! Франческа, милая, — она огляделась, как будто прикидывая, что сказать, — мне нужен срочно нитроглицерин, все лекарства дома забыла. — И когда Франческа бросилась искать аптечный киоск, крикнула вдогонку:

— И еще воды.

Все произошло так стремительно, что Франческа не успела подумать, а зачем, собственно, нужен нитроглицерин, кто тут болен, кого спасать надо. Лишь только она оказалась на приличном расстоянии, Соня заговорщицки произнесла:

— Слушай, Сержик, у нас совсем мало времени. Я тут пригласила твоих... — она все еще задыхалась.

— Моих? — с оторопевшим лицом переспросил Сергей.

— Все-таки они все любили тебя! — страстно проговорила старуха.

В этот момент из-за угла показались Машка и Ленка, сзади брела Настя, все были перепуганные. Они то и дело оглядывались по сторонам.

— Ты сумасшедшая старуха! Несчастная греховодница! — сорвалось с Серегиных губ. — Да что же ты себе позволяешь? Ты кромсаешь мою жизнь по своему усмотрению, не считаясь с моими чувствами, — он побледнел, и Соня не на шутку перепугалась.

— Сержик, милый, они тебя все любили и продолжают любить. Они имеют право на это прощание, — растерянно твердила Соня.

— Что ты им наплела? Как объяснила мое воскресение?

— Да никак! Они не знают, зачем я сюда их позвала, — печально доложила старуха.

И тут он увидел Аленку. Она почему-то бежала с другого конца зала, с куклой в руке, когда-то подаренной им, и вдруг резко остановилась. Сергею стало тяжело дышать.

— Прости меня, Сержик, прости старую дуру. Я не учла, что...

— Па-а-а-па!

Этот крик проник в самое сердце, взорвал его изнутри.

И вот уже руки Аленки обнимают его за колени, и он чувствует на ладонях ее слезы, и уже клонится вниз, чтобы прижать любимое чадо к сердцу, потереться щекой о ее теплую щечку, как вдруг ощущает горячую волну, внезапно ударившую в затылок, и следом ослепительную вспышку света, после которой сразу ничего не стало. И лишь на обочине сознания звучат крики женщин, склонившихся над ним: Франческин мелодичный голос с ее неповторимой интонацией: «Сержик, не уходи!», и Машкино грубоватое: «Ты ведь вернулся не для того, чтобы покинуть нас навсегда?!», и Ленкино обвинительное: «Это вы, вы убили его! Все! Своей неразумной любовью!», и Настино жалобное поскуливание: «Ну сделайте что-нибудь!» И сквозь весь этот шум высокой чистой нотой прорвался Аленкин тоненький голосок: «Папа! Папа! Папочка!»

Он снова почувствовал в руках ее нежную ладонь. И в тот же миг увидел перед собой бесконечный крутящийся тоннель и в нем себя с Аленкой, бредущими к свету, к солнцу, в сверкающее бриллиантами утро. И он уже точно знал, что пришел наконец день, в котором все будут по-настоящему счастливы.

г. Минск
2008—2011 гг.





НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

Подари мне весну...

* * *

Без веры жить — всего существовать.
Хоть пить, гулять и пировать без меры,
Но все ж тревожно на душе без веры —
И страха за расплату не унять.

Жить без Отчизны — хоть начни с нуля,
Приобретай дворцы, копи деньжищи, —
Но без Отчизны ты безродный нищий,
Как дерево, где высохла земля.

Неумолимо время вдаль бежит,
В день завтрашний приотворяя двери...
Не дай же, Боже, мне без веры жить,
Не дай же, Боже, мне уйти без веры.

* * *

Одинокий фонарь горит
Над аллеей пустой, печальной...
Что? Не хочется говорить?
Ничего, постоим в молчании.

Ибо, если безмолвья печать,
Словно туча, насунется разом,
Очень хочется помолчать.
Помолчим. Просто будем рядом.

У молчащих своя слеза,
Своя музыка с песней новой...
И так нужно после сказать,
Чтоб и сердце тронуло слово.

Чтоб светились все фонари,
Чтобы чувства кружили души.
Говори же скорей, говори,
Чтоб одну тебя только слушать.

* * *

Так бережно, как воду родника,
Я вновь и вновь твою ладонь целую.
За что мне Бог послал тебя такую,
Хоть седина застыла у виска?

Ты словно кубок крепкого вина,
В нем с горечью перемешалась сладость,
Желанный берег, где покой и радость,
Где мы с тобой... И что мне седина!..

* * *

Хоть не монашка, но святая
Ты в этой круговерти дней.
Ты — книга. Я ее читаю,
Но как мне разобраться в ней?

Я, словно снеговик, растаю
В лучах весеннего тепла.
Но книгу эту дочитаю.
Вот только б ты со мной была.

* * *

И вновь ты вернешься из странствий своих,
И скажешь привычное: «Милый...»
И поздняя осень, одна на двоих,
Укроет нас сумраком стылым.

Мы выпьем вина, ты отставишь бокал
И спросишь: «Ну, как тут столица?»
И будем сидеть до утра мы, пока
Не высохнут слезы на лицах.

* * *

Что нам доля и недоля,
Что нам вечность и покой?..
Птичьи трели по-над полем,
Колокольчик под дугой.

И мотают километры
Спицы сквозь туман и тишь...
Заслонив тебя от ветра,
Я спрошу: «Ты что, не спишь?»

Пусть уляжется тревога,
Боль и страх исчезнут пусть!
Видишь, вновь ведет дорога
На счастливый светлый путь.

Там и солнце, там и воля,
Там и ивы над рекой...
Слышишь, как звенит над полем
Колокольчик под дугой?!

* * *

Осознанье надежды, любви и вины,
Осознанье себя в этом бешеном свете...
Сквозь усмешки и сплетни, сквозь бури и ветер
Я иду, а за мною — тревожные сны.

Как хочу доброты, как хочу тишины,
Как хочу утешений и искренних взглядов!..
И летят мои птицы сквозь ночи и дни
В дальний край, где не знают поры листопада.

Там им будет тепло. Зимний холод души
Там исчезнет, внезапно поверю я в чудо.
«Здравствуй, — я прошепчу, — можно с вами побуду?»
А потом помолчу. И захочется жить.

* * *

Листок кленовый обожжет ладонь,
Его в руках растерянно сжимаю, —
Я вечности подарок принимаю,
Как бы храню в душе своей огонь.

Откуда он? Извечный календарь
Листает кто-то и рукою нежной
Сорвал листок и бросил в мир безбрежный,
Чтоб принял я от неба этот дар.

Доверчиво он на ладонь прилег,
Как знак того, что я на белом свете
Не одинок: есть небо, солнце, ветер
И кроны мудрых кленов вдоль дорог.

Что есть начало и святой исток,
Что есть в природе смысл первоначальный,
И на ладони пойманный листок —
Почтовый лист от осени печальной.

* * *

Скоро утро настанет, а все не усну,
И шепчу в наболевшей тиши то и дело:
Подари мне весну, подари мне весну,
Подари светлый май в этой осени спелой.

И тогда в листопад соловьи зазвенят,
И сирень расцветет среди замяти снежной...
Подари мне меня, подари мне меня,
Своей тихой улыбкой, счастливой и нежной.

* * *

В апрельский долгожданный день
Весны загадочный мотив
Вскружит и головы людей,
И кроны золотистых ив.

И тихо зазвенит струна —
Лишь пальцами дотронься ты —
И сразу отзовется в нас
Свет чистоты и доброты.

* * *

Когда не услышат люди,
Когда друзья не ответят,
Куда же податься мне?

К могилам отцовским старым,
К речушке далекого детства,
К церквушке на склоне горы?

К печали в глазах зеленых,
Что встретились мне однажды,
К пожатью любимых рук?

А может, к улицам шумным,
К вагонных колес перестуку,
И к рокоту волн морских?

Иль все же к листам бумажным,
Чей манит простор морозный,
К усладе творческих мук?

А свечка пока не сгорела,
А ночь за окном притаилась,
И тикают тихо часы.

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.



ГЕННАДИЙ АВЛАСЕНКО

День, когда не хватает дождя

Рассказы

Случай на болоте

Сначала Максим даже не испугался, страх пришел после. А сразу, прыгнув с кочки на кочку и провалившись вдруг почти по колено в вязкую болотную жижу, он ощутил одно лишь раздражение на собственную свою неуклюжесть. Да еще досаду, что все так нескладно получилось. Холодная грязная вода сразу же протекла в сапоги... и теперь придется целых пять километров тащиться до поселка с мокрыми ногами. А с утра вновь заложит горло, это уж как пить дать!

Но когда он, дернувшись, так и не смог высвободить ног из болотного плена, когда он почувствовал вдруг, как непросто будет это сделать, пришло первое беспокойство. Не страх еще... но что-то очень на него похожее. Тем более, что от отчаянного этого рывка, ноги завязли еще глубже, да так, что даже колени очутились в холодной воде...

«Ничего себе приключеньице! — невольно подумалось Максиму. — И это на нашем маленьком болотце, исхоженным мною, как говорится, вдоль и поперек!»

Он взглянул на ведерко с клюквой, которое держал в левой руке. Ведерко мешало, но куда ж его в таком случае девать? Бросить вперед, на пригорок? Рискованно, ягоды могут рассыпаться...

И вдруг Максим понял, что болото продолжает засасывать его! Вот уже и низ штормовки коснулся воды...

Вот тут-то и охватил его первый страх. Не заботясь больше о ягодах — пропади они пропадом! — он швырнул ведерко по направлению пригорка и оно, конечно же, завалилось набок. Но Максиму было уже не до клюквы, напрягая все силы, он рванулся, было, из холодной ловушки... но болото и не подумало его отпускать...

— Вот черт! — пробормотал Максим сквозь крепко сжатые зубы и, наклонившись вперед, попробовал дотянуться руками до невысоких зарослей ивняка, росшего неподалеку. Не дотянулся, лишь загряз в трясине почти по пояс.

В полном отчаянии Максим взглянул сначала в одну сторону, потом в противоположную. Обычно на болотце в это время были ягодники, хоть пару человек да присутствовало, и Максима это всегда здорово раздражало: конкуренты, что ни говори! А вот сейчас, когда нужно, никого вокруг не было ни видно, ни слышно...

Или все же попробовать, позвать?

— Эй! — как можно громче крикнул Максим. — Кто-нибудь! Помогите!

Он замолчал, прислушиваясь, но вокруг по-прежнему было тихо.

Меж тем туманное утро постепенно уступало место новому сентябрьскому дню. Солнце уже почти показалось над лесом, и Максим вспомнил вдруг, что сегодня после обеда они с женой собирались в райцентр. Вернее, в райцентр нужно было жене, а Максим обещал отвезти ее туда на мотоцикле...

И вот такая неудача!

— Эй! — повторно закричал Максим. — Люди! Сюда!

Он уже загряз, считай что, по самую грудь и все продолжал и продолжал медленно опускаться вниз.

Поднимавшееся солнце довольно быстро рассеяло по кустам остатки ночного тумана, и воздух над болотцем теплел с каждым мгновением. Но болотная топь снизу оставалась холодной как лед, и у Максима сильно замерзли ноги. Он попытался пошевелить ими хоть чуточку, но не смог этого сделать.

«Вот и смерть пришла! — мелькнула в голове Максима паническая мысль. — И так нелепо!»

— Ты считаешь, нелепо?

— Что? — мгновенно вскинув голову, Максим вдруг увидел прямо перед собой какого-то мужчину в черной одежде. Сердце радостно застучало в груди, всхлипнув, он протянул в сторону незнакомца руку, всю перемазанную бурой болотной жижей. — Спасибо тебе, браток! А я уж думал: кранты мне!

Но незнакомец почему-то с помощью не торопился. Вместо этого он лишь зевнул равнодушно, так же равнодушно осмотрелся по сторонам и, вновь повернув голову в сторону Максима, проговорил неприятным, скрипучим голосом.

— Ты так и не ответил на мой вопрос!

— Какой вопрос? — не понял Максим, продолжая ощущать, как болотная топь утягивает его вниз. — Я помощи прошу, а ты...

— А я спросил: ты что, и в самом деле считаешь свою смерть такой уж нелепой?

— Смерть?! — Максима вдруг охватила злость, да такая, что мгновенно вытеснила из его души последние остатки страха. — Я пока еще жив! Жив, слышишь ты, шутник хренов! Жив пока еще...

— Пока еще... — задумчиво повторил незнакомец, и Максим умолк, невольно ощущая, как на него с новой силой наваливается страх. Даже не страх, слепой панический ужас!

Только теперь он смог более внимательно рассмотреть незнакомца... странного какого-то незнакомца.

Во-первых, его одежда, весьма неподходящая для хождения по болоту. Безукоризненно скроенный черный фрак с узкими брюками, такого же угольно-черного цвета блестящие ботинки без единой даже капельки болотной грязи. Ослепительно-белые перчатки на руках и ослепительно-черный цилиндр на голове...

Во-вторых, глаза. Они были огромными, пунцово-красными с узкими поперечными щелями вместо зрачков...

А еще, в том месте, где неподвижно стоял незнакомец, прямо из-под ног его вырывались вверх тонкие струйки пара...

«Это не человек! — лихорадочно подумалось Максиму. — Люди не бывают такими... кто же это тогда?»

Впрочем, в данный конкретный момент Максиму было глубоко наплевать, кто сейчас перед ним. Он просто не хотел умирать...

— Помоги! — еле слышно прохрипел Максим, протягивая в сторону незнакомца перемазанную грязью руку. — Вытащи!

Присев на корточки, незнакомец внимательно посмотрел на Максима жуткими своими глазами.

— И все же я жду ответа на свой вопрос, — медленно проговорил он... и в скрипучем голосе незнакомца Максим почувствовал вдруг скрытую для себя угрозу. — Ты по-прежнему продолжаешь считать свою смерть нелепой?

— Да! Да! Да! — прохрипел Максим, ощущая, как ледяная вода начинает обжигать шею. — Я так считаю!

— А смерть мальчика, сбитого твоим грузовиком три года назад, она тоже относится к разряду нелепых?

— Какого мальчика? — Максим попробовал шевельнуться, но болото держало крепко. — Я никого не сбивал!

Незнакомец вдруг скорчил некую то ли усмешку, то ли гримасу, а Максима даже передернуло от одного лишь вида его мелких и, видимо, острых зубов.

— Он остался жив, тот мальчик! — закричал Максим, крепко зажмуриваясь... только б не видеть этой пасти возле своего лица, не ощущать нестерпимого жара и смрада, что от нее исходили! — Я видел в зеркальце, как он вскочил на ноги и даже поднял свой велосипед! Я сам это наблюдал!

— Он умер через несколько минут после того, как поднял велосипед, — услышал Максим у самого своего уха скрипучий голос незнакомца. — Если бы ты остановился тогда, ты бы и это увидел. Но ты не остановился?

Вода дошла Максиму почти до самого рта. Чтобы не захлебнуться, пришлось как можно выше задрать голову.

— И ты обвиняешь меня за то, что я не остановился тогда?! — прохрипел он, отплевывая болотную грязь и тину. — Ведь это единственное, в чем я виноват, во всем остальном мальчик виноват сам! Если ты знаешь все, ты должен знать и это!

Правую его руку сжали, словно раскаленными клещами, и Максим, вскрикнув от боли, понял вдруг, что незнакомец его держит. Не вытаскивает, а именно держит...

— Я ни в чем тебя не обвиняю! — лениво и безразлично проскрипел незнакомец. — Я вообще никого и никогда ни в чем не обвиняю! Вот и сейчас я лишь пытаюсь выяснить, чья же смерть была более нелепой: твоя или этого мальчика?

«Была! — лихорадочно подумалось Максиму. — Он сказал: «была»! Он и не думает вытаскивать меня из трясины!»

— Кто ты такой и что тебе от меня нужно?! — что есть силы закричал Максим, по-прежнему не открывая глаз... правая рука его горела так, словно ее жгли открытым пламенем. — Тебе ведь от меня что-то нужно, так?! Что?! Мою душу?!

Незнакомец тихо и тоже как-то скрипуче рассмеялся.

— Я возьму у тебя то, о чем ты и сам еще не догадываешься!

Звонкий собачий лай послышался где-то неподалеку. И женские голоса. А потом Максим вдруг ощутил, как незнакомец рванул его за руку, одним мощным рывком вырывая из трясины... в следующее мгновение он потерял сознание...

Очнувшись через какое-то время и открыв глаза, Максим был почти уверен, что лежит он теперь возле ивняка, весь с головы до ног перемазанный болотной грязью. Но вдруг оказалось, что он не лежит, а стоит с полным ведерком ягод возле этого самого ивняка, и одежда его сухая и совершенно чистая, как и сапоги. А неподалеку собирают клюкву незнакомые женщины, не обращая при этом на конкурента ни малейшего внимания. Лишь черный

лохматый песик, вертевшийся подле них, немного заинтересовался Максимом и даже лениво на него тявкнул несколько раз.

И никакого болотного «окна», никаких даже признаков того, что совсем недавно тут, завязнув в трясине, хрипел и захлебывался человек. Земля вокруг Максима хоть и была вязкой, но все же довольно надежной, как и везде на небольшом этом болотце...

«Что же это было тогда? — растерянно подумалось Максиму. — Или все это мне только почудилось?»

Вскинув голову, он взглянул на солнце. Если судить по его расположению, было уже часов одиннадцать, никак не меньше. И до поселка около часа ходьбы... а он же обещал жене отвезти ее после обеда в больницу, в женскую консультацию...

Стоп! А зачем ей понадобилась в эту самую консультацию?! Вчера он не стал расспрашивать, и сама она тоже ничего такого не сказала. Неужели она...

Неужели она, наконец, забеременела?! После десяти лет совместной жизни... десяти лет, полных надежд и самых горьких разочарований... неужели, наконец, это случилось?!

Он станет отцом!

И вдруг Максиму вспомнились последние слова незнакомца в черном. Как он там сказал? Возьму то, о чем ты и сам еще не догадываешься...

Но ведь его не было, этого незнакомца! И не было ледяной болотной топи, ее просто не могло быть на маленьком этом болотце! Все это лишь почудилось Максиму... такое вполне возможно...

Или нет, невозможно? Ибо слишком реально, до боли, до ужаса реально все это происходило! И трясинная топь, зимним холодом обжигавшая тело, и сам незнакомец в черном, с такими жуткими глазами и руками, обжигающими уже по-настоящему...

И эти самые последние его слова: «...возьму то, о чем ты и сам еще не догадываешься!»

И тот мальчик на шоссе... он что, и в самом деле умер тогда?

Глупости! Глупости! Глупости!

Опустив ведерко с ягодами на мох, Максим прижал ладони к вискам, сильно, как мог. Не надо об этом думать... три года он не думал об этом, просто заставлял себя не думать! Он утешал себя надеждой, что все тогда обошлось, ведь его не объявили в розыск, не нашли, не арестовали, в конце концов, а значит...

Значит, что? Что у нас стопроцентная раскрываемость преступлений? Но ведь это не так, ни в одной стране мира не достигли еще такого уровня!

Мальчик на шоссе выглядел лет на десять-двенадцать, не больше. Сейчас ему было бы... сколько же ему было бы сейчас? Тринадцать? Четырнадцать?

А может его жена и не беременная вовсе? Может, в консультацию ей нужно... да мало ли по какому делу ей туда нужно! Существует столько женских болезней, самых разных...

А тот пацан, он сам во всем виноват! Зачем было лезть под колеса, нельзя, вообще, таким малявкам ездить по шоссе... куда только родители смотрят!

И он просто не мог погибнуть, тот мальчик! Самое страшное, что могло случиться с ним — два-три синяка. Ну, в крайнем случае, вывих или перелом. И это было так давно...

Тут блуждающий взгляд Максима остановился на ярко-зеленой кочке неподалеку. Эта была та самая кочка, что так подвела его... сорвавшись именно оттуда, он и погряз то ли наяву, то ли в болезненных своих грезах...

Сейчас же она выглядела вполне безобидно, эта кочка...

И Максим прыгнул прямо на нее. И упал, потеряв равновесие, и рассыпал при этом добрую половину ягод...

Странно, но его почему-то это совсем не расстроило. Наоборот, вскочив на ноги и пригоршнями подбирая с травы рассыпанные ягоды, Максим ощутил вдруг небывалый прилив сил. Кочка оказалась самой обычной кочкой, и ничем больше, а значит...

И тут Максим заметил следы возле ивняка. Странные следы, будто выжженные чем-то раскаленным, ибо трава в том месте пожухла, пожелтела и даже немного обуглилась по краям...

И они быстро исчезали, эти следы! Желтая жухлая трава на глазах у Максима распрямлялась, вновь обретая сочный, ярко-зеленый цвет... и вот она уже ничем не отличается от соседней травы, совершенно ничем не отличается...

Что это, новый глюк? А рука, правая его рука, что с ней?

Максим быстренько закатал рукав и долго смотрел на свое запястье, смотрел, но ничего особенного там так и не увидел. Рука как рука, немножко саднит, правда...

Как после ожога...

Переведя взгляд на кочку, Максим медленно к ней приблизился.

— Возьми меня! — еле слышно прошептал он, обращаясь неизвестно к кому. — Не сына, меня! Ведь это я во всем виноват — за что же ему отвечать?!

Потом он замолчал, тревожно ожидая чего-то, но ничего ровным счетом не произошло.

— Возьми! — почти умоляюще повторил Максим. — Я больше не буду просить о помощи... правда, не буду!

И снова ничего не произошло.

— Ну и черт с тобой!

Не думая больше ни о чем, страшась хоть о чем-то думать, Максим подхватил ведерко и быстро зашагал по направлению к дому. Он шел напрямик через болото, шел, словно нарочно выбирая на своем пути самые вязкие и самые подозрительные места. Он ступал так, словно желал вновь провалиться куда-то вниз, провалиться, загрязнуть, ощутить, как ледяная вода крутым кипятком станет обжигать тело...

Но напрасно. Не было таких мест на маленьком болотце, тут их просто не могло быть.

И кому, как не Максиму, было знать об этом...

День, когда не хватает дождя

Где-то слева вновь послышался азартный и заливистый собачий лай. Собаки кого-то гнали. Зайца, скорее всего... а, может, и лисицу...

Лай быстро приближался, и Николай начал уже настороженно осматриваться по сторонам в надежде увидеть, наконец, ушастого этого бедолагу, который мчится сейчас сломя голову прямо сюда. Но время шло, зайца все не было, а лай приближался и приближался... и вдруг, в той же стороне, совсем неподалеку от Николая, гулко и отрывисто громыхнул выстрел, за ним сразу — второй. И тотчас же собаки перестали лаять.

«Браконьеры, — невольно подумалось Николаю. — И не опасаются, черти!»

И он решил, что, скорее всего, это был не заяц. Летом на зайца не охотятся. Никто, даже браконьеры. На лося — другое дело. Или, скажем, на кабана.

В это время собаки вновь залаяли. Правда, теперь лай их был каким-то неуверенным, что ли. Видимо, потеряв след, собаки изо всех сил старались снова его отыскать.

Не горя желанием встречаться ни с собаками, ни тем более с их хозяевами, Николай взял круто вправо и направился к знакомому болотцу, почти на окраине леса.

«Посмотрю еще там, и все! — твердо решил он. — И надо домой поворачивать! Нет грибов — незачем ноги зря бить!»

В корзине, которую Николай держал в левой руке, стыдливо перекатывались несколько небольших подосиновиков, скромно желтели горсти две лисичек. Единственный боровик выглядел среди этой грибной мелочи самым настоящим гигантом.

Собачий лай давно остался позади, новых выстрелов тоже не было слышно. И лес вновь зажил обычной своей повседневной жизнью. Капли росы еще там-сям посверкивали на широких листах папоротника, но лучи восходящего солнца быстро находили и сразу же стирали эти последние приметы туманного утра. День вновь обещал быть солнечным, безоблачным и по-вчерашнему жарким...

— Дождика бы! — вздохнул Николай, с досадой швыряя на землю очередной червивый боровик. — Вторую неделю такая жара!

Впереди уже угадывалось болото, и Николай медленно зашагал еле приметной тропинкой вдоль самого его края, с напрасной надеждой поглядывая себе под ноги. Время от времени он делал короткие вылазки то влево, то вправо от тропинки, но всегда на нее возвращался.

Перемещаясь таким вот причудливым манером, он довольно быстро подошел к хорошо знакомому ему шалашу, мастерски сделанному из сухих веток орешника, березняка и тонких ивовых прутиков.

Шалаш был довольно старым. Построил его, наверное, какой-то заядлый охотник, для весенней охоты на тетеревов (рядом как раз и находилось большое их токовище). Но это было давно, несколько последних лет шалашом никто не пользовался, да и тетеревов почти не осталось. А вот шалаш сохранился. И стоял упрямо на прежнем месте, возвышаясь среди зеленой травы нелепым памятником неизвестно чему...

Сам по себе шалаш не очень интересовал Николая, но рядом с ним всегда попадались лисички. Хоть несколько, но находилось, и Николай надеялся, что и на этот раз шалаш его не обманет. По правде говоря, сегодня эта надежда была едва ли не самой последней.

Возле шалаша Николай и в самом деле набрел на целую россыпь лисичек. Обрадованный неожиданной находкой, он быстренько срезал грибы и сразу же, не глядя, бросал их в лукошко. Потом лисички как-то разом закончились.

Вздохнув, Николай выпрямился и уже собирался, было, продолжить свой путь, как вдруг в шалаше кто-то слабо пошевелился.

От неожиданности Николай мгновенно отпрянул назад и, остановившись в отдалении, застыл, не сводя настороженных глаз с шалаша.

Там, внутри, кто-то был!

— Кто тут?! — крикнул Николай и смолк, прислушиваясь.

И, словно в ответ на его испуганный выкрик, в шалаше вновь послышалось движение, потом до ушей Николая донесся чей-то тихий то ли вздох, то ли всхлип...

Николай ощутил не то чтобы страх, но что-то очень похожее на неприятное это чувство. Ему вдруг захотелось просто повернуться и пойти прочь.

Пойти, не оборачиваясь. А лучше — побежать! И не рассказывать потом никому, о том, что он испытал...

Но Николай никуда не пошел. Тем более, не побежал. Правда, подойти поближе и заглянуть в шалаш — на это его пока тоже не хватило. Он просто стоял неподвижно и глаз не сводил с шалаша. И продолжалось все это довольно-таки долго...

А потом ему стало стыдно.

Да что же это на самом деле, мужик он или не мужик?!

И Николай, медленно расправив плечи, двинулся к шалашу, на всякий случай крепко сжимая в правой руке свой небольшой перочинный ножик.

В шалаше и в самом деле кто-то находился. Этот «кто-то» лежал неподвижно, и был это, несомненно, человек. Странно только, что человек этот был совсем не одет... а когда Николай присмотрелся повнимательнее, вдруг понял, что перед ним женщина.

«Так! — невольно подумалось ему. — Этого мне только не хватало!»

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что здесь произошло и как она оказалась голой в шалаше, эта женщина. Пошла в лес одна, дура... ну и наткнулась, наверное, на пьяных отморозков. И вот результат.

Женщина между тем снова пошевелилась и, открыв глаза, посмотрела в его сторону. И столько было в ее взгляде боли, ужаса, отчаянья, что Николай вздрогнул невольно. А женщина хрипло и с каким-то всхлипом вздохнув, устало отвела взгляд.

«Так! — вновь подумалось Николаю. — И что же мне теперь с ней делать?»

Женщина была молодая и красивая. Впрочем, возможно, красота ее невольно сглаживала истинный возраст...

И еще Николай успел заметить, что правая рука у женщины в крови. Больше он ничего так и не смог рассмотреть, потому что почти сразу стыдливо потупился.

— Перевяжи мне руку! — неожиданно проговорила женщина.

Голос у нее был слегка охрипший, но, тем не менее, довольно приятный.

— Сейчас! — засуетился Николай. — Я сейчас!

Он торопливо сбросил с себя штормовку, потом рубаху и, немного поколебавшись, стащил через голову майку.

— Сейчас!

Помогая себе зубами, Николай принялся отрывать от майки ровные длинные полоски. Потом, когда полосок набралось предостаточно, стал, по-прежнему стараясь не смотреть на обнаженное женское тело, делать перевязку. При этом ему все же случилось несколько раз коснуться пальцами горячего тела женщины, и случайные эти прикосновения будили в сердце какое-то особенно тревожное чувство. И он почти жалел, когда все закончилось и ему пришлось вновь отвернуться...

— Почему ты не смотришь на меня? — неожиданно спросила женщина. — Я тебе не нравлюсь?

Николай был готов ко всему: к благодарности, упрекам непонятно за что, к сбивчивой исповеди о том, что же с ней все-таки произошло. Он был готов даже к потоку бесконечных истерических слез незнакомки... ко всему, короче, он был готов, но только не к такому вот откровенному вопросу.

«Она не похожа на изнасилованную! — невольно подумалось Николаю. — Совсем даже не похожа!»

Но кто же она, в таком случае, как попала сюда? И почему без одежды?

— Иди ко мне! — нежно прошептала женщина. — Иди... ну!

Николай вдруг ощутил, как нежные женские ладони осторожно скользнули по его обнаженной спине.

— Иди ко мне! — вновь прошептала женщина. — Иди, не бойся! Ты же хочешь этого, хочешь, правда?

Но вместо желания, Николай вдруг ощутил новый страх. Он боялся, боялся странной этой женщины, неизвестно как и зачем оказавшейся здесь, на самом краю болота. Кто она? Как попала сюда? И где, в конце концов, ее одежда?

— Посмотри на меня! — прозвучал у самого его уха нежный завораживающий голос. — Я красивая! Посмотри!

И Николай, совсем не желая этого и одновременно не в силах более противостоять искушению, сначала осторожно, а потом уже куда смелее взглянул в лицо незнакомке.

И словно окаменел, потрясенный необыкновенной ее красотой.

Остановилось время. Времени вообще не существовало больше. И ничего не существовало во всей огромной Вселенной. И ничего больше не имело значения, кроме таинственных и нежных глаз необыкновенной этой женщины. И Николай тонул в бездонной глубине ее глаз... он погибал, и сам понимал, что погибает... но погибель эта была не только не страшной, но и, наоборот, необыкновенно сладостной и желанной...

— Поцелуй меня!

И словно во сне, губы его соприкоснулись с горячими ее губами. И в это самое время где-то совсем рядом и совсем неожиданно вновь послышался гулкий собачий лай.

И очарование схлынуло...

Ошеломленный Николай, отброшенный в сторону неожиданно сильным толчком в грудь, увидел вдруг перед собой самую обыкновенную и до полусмерти перепуганную женщину.

Сжавшись в комочек, она отползла в самый далекий угол шалаша и смотрела оттуда на Николая отчаянным затравленным взглядом.

— Не отдавай меня им! — быстро и тревожно шептали дрожащие ее губы. — Я прошу тебя... я тебя очень прошу! Не отдавай меня им!

Ничего еще не понимая, Николай, тем не менее, мгновенно выскочил из шалаша. И сразу же увидел собак. Они были совсем рядом, два больших черно-белых гончака.

Увидев человека, собаки сразу же приостановили свой бег, но лаять не перестали.

— А ну, цыц! — прикрикнул на них Николай и подхватил с земли увесистую суковатую палку. — Пошли отсюда!

Собаки отскочили в сторону, на мгновение умолкли, но почти сразу же вновь залились гулким азартным лаем.

— Пошли отсюда! — повторно заорал Николай, испуганно размахивая импровизированной дубинкой. — Кому сказал!

И тут он понял, наконец-то дошло до Николая, что собаки облаивали совсем даже не его. Их целью был... шалаш! Вот один из гончаков сделал широкий полукруг и попробовал пробиться к шалашу с противоположной стороны, но Николай был начеку.

— Пошел ты! — изловчившись, он так перетянул пса палкой по спине, что тот сразу же отскочил, обиженно взвизгнув. Но его напарник в это же самое время рванулся вперед, и Николай едва успел преградить ему дорогу.

«Так долго не выдержу! — тяжело дыша, подумал Николай. — Взбесились они, что ли?»

— Валдай! Гром! Фу! — послышался откуда-то сбоку громкий уверенный голос. — Ко мне!

Николай обернулся. Из леса медленно выходили двое мужчин. В руках у них были охотничьи ружья. Увидев Николая, мужчины остановились.

«Браконьеры! — испуганно подумалось Николаю. — А, может, и похуже...»

Мужчины тем временем подошли поближе. Потом один из них, бородатый, ухватил обеих собак за загривки и быстро, с помощью товарища, нацепил на них ошейники разом с поводками. Передав оба поводка товарищу, бородач подошел к Николаю вплотную.

— Вы уж простите нас, бога ради! — пророкотал он сочным басом и, одновременно, улыбнулся Николаю широкой открытой улыбкой. — Не знаю, что на них такое нашло? Никогда еще не было, чтобы на человека бросались. Курите?

Бородач вытащил из кармана портсигар, раскрыв, протянул Николаю.

— Не курю! — ответил тот, все еще сжимая в руке палку и ощущая себя довольно неловко, в первую очередь из-за того, что был наполовину раздет.

— И правильно делаете! — одобрил бородач, закуривая. — Я вот тоже все собираюсь бросить. И никак не соберусь. А вы что, в грибы ходили?

И он бросил быстрый взгляд на корзину.

— Нет грибов, — Николай по-прежнему ощущал себя довольно неловко. Он отбросил в сторону палку и добавил: — Вот решил немного отдохнуть... Жарко.

— Жарко, — согласился бородач. — И сухо. Дождик нужен!

Он перехватил настороженный взгляд Николая, направленный на его ружье, и вновь улыбнулся.

— Удивляетесь, почему с оружием? Вы не думайте, мы не охотимся. Тут другое...

— Волк! — хмуро пояснил товарищ бородача. Он по-прежнему с трудом удерживал бешено рвущихся вперед собак. — Да что это с ними такое?!

— Волк? — переспросил Николай недоверчиво. — Какой волк?

— Обыкновенный! — бородач пожал плечами. — А скорее всего бешеный. Напал утром на доярок, они на ферму шли. Потом пастуха здорово потрепал. Нам позвонили в район... к сожалению только мы, вдвоем, и смогли вырваться. Было бы больше народу — никуда б он от нас не ушел!

— Он и так никуда от нас не уйдет! — все так же хмуро буркнул товарищ бородатого. Он был значительно моложе, без бороды, зато с тоненькими франтоватыми усиками. — Я все же подранил гада!

— Подранил! — насмешливо хмыкнул бородач. — Показалось тебе!

— Не показалось! — упрямо стоял на своем охотник с усиками. — Я ему переднюю лапу перебил! Сам видел, как подпрыгнул!

— Ну, перебил, так перебил! — бородач тщательно загасил окурок о подошву сапога. — Пошли, что ли!

Они зашагали прочь, таща за собой на поводках огрызающихся и пытающихся вырваться собак. Уже исчезая среди деревьев, бородач оглянулся.

— Вы все же тут особо не задерживайтесь! — озабочено проговорил он. — Мало ли что... Лучше домой идите! А то, может с нами?

Николай отрицательно мотнул головой.

— Ну, смотрите!

И оба охотника скрылись между деревьев.

Некоторое время Николай по-прежнему стоял неподвижно и смотрел им вслед. Какое-то странное ощущение вдруг охватило его, какое-то чувство, не то, чтобы нереальности всего того, что с ним сейчас происходило, но все же...

Это было, скорее, чувство чего-то необыкновенного, незнакомого, так непохожего на повседневные серые будни обыденной его жизни... и это странное чувство сладким волнением жгло и наполняло душу.

— Ты мой! — звучал в ушах Николая странный, чарующий голос. — Теперь ты мой! Навсегда мой! Иди же ко мне, иди, я жду!

«Беги отсюда! — одновременно шептал Николаю другой голос, тихий, едва различимый. — Беги со всех ног и не оборачивайся даже! Или позови тех охотников, они еще услышат!»

А солнце уже поднялось почти над самой его головой, и в лесу вновь становилось жарко и даже душновато.

И очень не хватало в этом лесу дождя...

Проснувшись утром

Проснувшись утром и открыв глаза, Диана вдруг с удивлением обнаружила, что находится она в чужой, совершенно незнакомой ей квартире, а в кровати, рядом с ней, сладко посапывает какой-то бородатый мужчина, тоже совершенно ей незнакомый.

«Так! — невольно подумала Диана, вновь закрывая глаза и обессилено откидываясь на подушку. — Допилась! Бросать надо эти субботние посиделки к чертям собачьим!»

Она попыталась вспомнить хоть что-нибудь со вчерашнего развеселого вечера, но вспомнила лишь, как выходили они с Павлом из Любкиной квартиры, а потом ехали к ней на каком-то частном такси. Что было дальше, Диана так и не вспомнила.

Вздохнув и проснувшись уже окончательно, она вновь открыла глаза и принялась внимательно и настороженно осматриваться вокруг.

Часы на стене напротив показывали всего лишь половину пятого, в комнате еще царил робкий предутренний полумрак, но спать Диане уже не хотелось, да и не смогла бы она заснуть сейчас! Как получилось, что вместо своей квартиры она очутилась черт знает где и черт знает с кем? С каким-то козлом бородатым!

Осторожно повернув голову, Диана вновь посмотрела в сторону спящего, безуспешно пытаясь вспомнить, кто же это такой. Лицо мужчины вдруг показалось ей странно знакомым... возможно, она даже встречала его раньше, может только без бороды этой несуразной. Но то, что на вчерашних посиделках у Любки бородача этого не было, Диана помнила точно.

Но тогда... как же тогда она очутилась в его квартире и даже в его кровати?

Отбросив одеяло, Диана села и с удивлением обнаружила на себе какую-то длинную, широкую и почти прозрачную ночную сорочку. А под сорочкой — ужас какой! — совсем ничего...

Более того: ни возле кровати, ни под ней, ни вообще нигде в комнате не было даже малейшего намека на ее собственную одежду.

Час от часу не легче! И где же тогда она разоблачалась вчера? И чего ради напялила на себя дурацкую эту распашонку? И чья она, кстати?

Диана вздохнула, поднялась с кровати и, осторожно ступая босыми ногами по прохладному паркетному полу, вышла в прихожую.

Планировка комнат и коридора здесь в точности соответствовала планировке ее собственной квартиры, поэтому Диане было легко ориентироваться. На вешалке, рядом с входной дверью, висело превеликое множество самой

разнообразной одежды, в том числе и женской, но ничего из собственных своих шмоток Диана так и не смогла обнаружить.

«Вот же козел! — с неожиданным раздражением и даже злостью подумала она о своем бородатом кавалере. — И куда он все подевал? И чье, кстати, все это женское барахло на вешалке? Его жены, что ли? И где она сейчас, эта самая жена? И где гарантия, что не заявится она сюда через полчаса, а то и раньше?»

Диана решила, что самым приемлемым для нее выходом из пикантной сей ситуации — быстренько и по возможности незаметно смыться. Но сделать это неодетой, к великому сожалению, не представлялось возможным... Будить же бородатого козла, дабы осведомиться насчет своих шмоток, Диане почему-то очень и очень не хотелось.

Дверь в соседнюю со спальней комнату была чуть приоткрыта, и Диана решила поискать одежду там. Она распахнула пошире дверь, вошла в комнату и... остолбенела от неожиданности.

Около стены, рядом с дверью, стояла небольшая деревянная кроватка, и в ней, тихо посапывая, спала девочка лет четырех-пяти. Рядом, возле другой стены, на разложенном диване спал мальчик годика на два старше...

Выскользнув из комнаты и осторожно прикрыв за собой дверь, Диана вновь возвратилась в спальню и в полной растерянности опустилась на край кровати.

«И ребятишек не постеснялся! — с какой-то новой злостью подумала она, бросив неприязненный взгляд в сторону бородача. — Или, может, они уже спали, когда я... когда мы с ним...»

Ей было очень неприятно думать, что эти малыши видели ее вчера в таком состоянии. Тем более надо как можно скорее сматываться отсюда, пока они не проснулись.

Диана вздохнула и осторожно дотронулась кончиками пальцев до волосатого плеча мужчины.

— Эй! — тихо сказала она. — Проснись!

Мужчина лениво пошевелился и, приоткрыв глаза, сонно посмотрел на Диану.

— Ты чего так рано подхватилась? — пробормотал он. — Спи, давай!

И мужчина вновь закрыл глаза.

— Где моя одежда? — шепотом спросила Диана. — Куда ты ее дел?

— Одежда? — вновь пробормотал мужчина, так и не раскрывая глаз. — Какая одежда?

— Моя одежда! — повторила Диана. — Где она?

— А я почем знаю! Спи, потом найдешь!

И, повернувшись на бок, мужчина тотчас же вновь задремал.

Минуту или две Диана внимательно рассматривала рыжеватый, начинающий лысеть, затылок мужчины, мучительно борясь с желанием врезать чем-нибудь тяжелым по этому наглому затылку... потом она в очередной раз вздохнула и молча поднялась с кровати. Оставалась еще третья комната, одежда могла быть там. Еще она могла быть в ванной, или даже на кухне... хоть на кухню Диана не особенно и надеялась...

Войдя в третью комнату, Диана удивленно остановилась. Если бы она не знала, что находится в чужой квартире, то, наверное, решила бы, что попала в... свою собственную комнату. Аккурат такая же мебель... секция, два кресла и даже журнальный столик рядом с креслами. Вот только телевизор был раза в два больше, плоский с огромным экраном... и почему-то именно в этой комнате на столике стоял телефон.

И ни малейших следов ее злосчастной одежды. Разве что...

Диана подошла к секции, слегка приотворила дверцу крайнего шкафа. Ну, правильно, полным-полно самого разнообразного женского тряпья... чужого, к сожалению. Или, может, махнуть рукой на условности... среди сего барахла, вероятно, найдется пара-другая шмоток на ее вкус...

Диана взглянула на телефон и в голову ее вдруг пришла спасительная мысль. Павел! Должен же он хоть что-либо знать о вчерашних событиях! О том, хотя бы, как они разошлись вчера, так и не попав к ней домой. И почему, кстати, они туда не попали?

Набрав знакомый номер, Диана прижала трубку к уху, поуютней устроилась в кресле и принялась ждать. Ждать пришлось долго, и Диана решила уже, что Павла нет дома, когда трубку все же сняли.

— Павел? — тихо спросила Диана. — Ты?

— Он спит! — послышался в трубке женский голос, встревоженный и недовольный одновременно. — А кто это?

— Никто! — сказала Диана и быстренько положила трубку.

Теперь понятно! Сам же, наверное, и подстроил все это! Но за что? Что она ему такого сделала?

Она вновь схватила трубку, принялась лихорадочно набирать такие знакомые цифры, потом долго и терпеливо ожидала. Наконец, трубку сняли, и Диана услышала хрипловатый спросонья и такой знакомый голос Павла.

— Алло! — буркнул тот в трубку. — Кто это?

— Это я! — Диана судорожно вздохнула. — Ты что, не узнал меня?

— Не узнал, — сказал Павел. — А кто это?

— Это Диана! — она помолчала немного и добавила язвительно: — А вот кто там у тебя, было бы интересно знать?

Она затаила дыхание в ожидании ответа.

— Ничего не понимаю! — снова послышался в трубке голос Павла. — Не знаю я никакой Дианы! Вы, наверное, не туда попали, девушка!

В трубке послышались пронзительные короткие гудки.

Диана решительно нажала рычаг, в третий раз набрала номер.

— Не бросай трубку! — торопливо проговорила она, вновь услышав знакомый голос. — Выслушай меня сначала! Возможно, при той женщине, что у тебя в постели, ты не хочешь признаться, что мы... что у нас с тобой... но ты просто выслушай меня, хорошо? Скажи, как могло случиться, что после вчерашней вечеринки мы с тобой разошлись, и я попала черт знает куда? Ты только скажи, как такое могло случиться, больше мне от тебя ничего не надо!

Какое-то время в трубке молчали.

— Ты только скажи, как так получилось! — повторила Диана. — Только это!

— Послушайте, девушка! — произнес Павел с раздражением. — Вы или пьяная или снова попали не туда! Я не знаю вас, правда, не знаю!

И он вновь положил трубку.

А Диана некоторое время молча и неподвижно сидела в кресле, глядя перед собой остановившимся взглядом. Вот же гад! Вот же гад ползучий! Мало того, что сам приволок к себе какую-то потаскушку, так еще и... Мог бы просто сказать ей вчера, что она ему надоела! А может... может, это жена его возвратилась из загранки раньше, чем планировала? Ну что ж, тогда все понятно...

Диана вздохнула, осторожно провела ладонью по влажной от слез щеке и решила заглянуть в ванную. Одежда могла быть там...

И, кстати, неплохо было бы немного привести себя в порядок. Душ принять...

Одежды в ванной тоже не оказалось. Диана, правда, не очень и рассчитывала найти ее там, а по сему, не особенно и огорчилась. Она быстренько сполоснула лицо холодной водой и, взяв полотенце, повернулась к зеркалу.

И даже вскрикнула от неожиданности.

Что это с ее волосами?!

Этого не могло быть, никак не могло, и, тем не менее... Волосы, ярко-рыжие еще вчера, сегодня были какого-то неопределенного, темно-каштанового цвета, и притом значительно короче вчерашних.

— Если это шутка, — медленно проговорила Диана, внимательно рассматривая свое, почти незнакомое отражение в зеркале, — если все это чья-то неуместная шутка...

По улице прогрохотал первый утренний трамвай, и грохот этот вывел, наконец, Диану из оцепенения. Она вновь бросилась в комнату с телефоном, подбежала к окну, резким рывком отдернула занавеску и... увидела там, внизу, такую знакомую ей улицу, и хлебный магазинчик напротив, и киоск рядом с магазинчиком...

— О, Боже! — прошептала Диана, медленно отходя от окна. — Да что же это такое?!

Она была в своей собственной квартире!

Да, это была ее квартира, хоть и измененная до неузнаваемости. Вернее, почти до неузнаваемости, ибо, взглянув вокруг себя другими глазами, Диана узнала вдруг и шкафы вдоль стены, и кресла с диваном, и этот старый журнальный столик. В других комнатах изменения были куда более значительными.

Но кто и зачем все это сделал? С какой целью?

А дети в соседней комнате? Откуда они взялись, эти дети? И тот бородатый хмырь в спальне...

«Любка! — неожиданно подумалось Диане. — Может, она что знает?»

Дрожащими пальцами она принялась набирать номер... сбилась, стала набирать снова. Потом застыла в ожидании, считая гудки.

Как же долго никто не поднимает трубку... целую вечность, кажется.

— Ну?! — услышала, наконец, Диана сонный и, как всегда, недовольный с утра голос подруги. — У аппарата!

— Любка! — радостно выкрикнула Диана. — Это я!

— Кто, я? — осторожно проговорила Любка, и у Дианы вдруг защемило сердце от недоброго предчувствия. Неужели и Любка откажется признать ее, близкое их знакомство! Тогда... тогда...

— Это я, Диана! — упавшим голосом проговорила она. — Ты что, не узнаешь меня?

— Дианка! — радостно воскликнула Любка, и у Дианы немного отлегло от сердца. — Вот так сюрприз! Столько не виделись!

Диане вдруг показалось, будто паркетный пол сам по себе пошатнулся под ногами. Она невольно схватилась рукой за край столика, сильнее сжала трубку...

— Исчезла... и ни слуху, ни духу! — тараторила между тем Любка. — Ты б хоть изредка позванивала, коли забежать лень!

— Подожди! — выкрикнула Диана. — Мы что, не виделись с тобой вчера?! Я у тебя вчера разве не была?! Что ты молчишь, Любка?! Я была у тебя вчера?

Слышно было, как Любка вполголоса хмыкнула.

— Шутить изволите, мадам? Но шутки шутками, а могла б и в самом деле заскочить. С мужем приходи, ежели одну не отпускает.

Диане показалось, что она ослышалась.

— С мужем? — переспросила она. — С каким мужем?

— Со своим законным! — Любка вдруг хихикнула. — Или ты еще кого себе завела, тихоня? Кстати, как у него с ногой?

— У кого? — снова не поняла Диана.

— У Сергея твоего. Слушай, знаешь, кого я недавно встретила! Ни за что не догадаешься!

Любка еще говорила что-то, о чем-то оживленно рассказывала, но Диана ее уже не слушала.

«Это сон! — подумала она, осторожно положив трубку. — Все это — лишь какой-то глупый и несуразный сон! Я сплю, а все это мне просто снится!»

Но это не было сном, и Диана прекрасно понимала это.

Впрочем, больше она ничего не понимала...

Почти на ватных ногах Диана подошла к среднему шкафу, открыла дверцу и даже не удивилась, увидев на средней полке свой паспорт. Она всегда держала паспорт именно там.

И это, в самом деле, был ее паспорт, вот только фотография была какая-то другая, незнакомая. Диана и не знала, что у нее есть такая фотография. И фамилия...

— Зайцева Диана Михайловна, — не веря глазам своим, прочитала она, потом перевернула несколько страниц. — Муж, Зайцев Сергей Витальевич, дети...

О, боже! Так это, выходит, ее собственные дети!

И муж! Тот бородатый тип в спальне — ее муж?! Какой-то Зайцев Сергей Витальевич. Знакомая такая фамилия, вот только где и когда она могла ее слышать? Зайцев Сергей Витальевич... Зайцев Сергей...

Диана ощутила, как странный озноб холодной волной пробежал по телу. До этого она была просто в растерянности и недоумении, сейчас же ей стало страшно. По-настоящему страшно!

Сергей Зайцев никак не мог быть ее мужем, ибо семь лет назад, перед самым окончанием университета, он покончил жизнь самоубийством. Диана тогда сама вытаскивала его из петли, долго и тщетно пыталась вернуть к жизни и, рыдая в голос, звала на помощь соседей по общежитию. А потом шла вслед за гробом, провожая Сергея в последний путь, и плакала на кладбище во время похорон. Все их девчата плакали тогда, и никто не знал причины, никто не понимал, что же заставило, что толкнуло молодого парня, отличника, на такой страшный поступок, да еще перед получением столь долгожданного диплома...

Диана одна знала ее, эту причину...

И вот теперь получается, что все тогда произошло совсем по-другому, и она не отказала ему тогда. И ничего страшного не произошло с Сергеем в самом начале июня, и они поженились, и все эти годы прожили вместе, здесь, в ее квартире. И тот бородач в постели и есть Сергей Зайцев, бывший ее однокурсник. И эти дети — ее... их дети...

— Этого не может быть! — вновь прошептала Диана дрожащими губами. — Я не хочу... я не желаю этого, я просто не смогу сейчас! Ведь я же бросала землю на его гроб и приходила потом на кладбище. И как мне теперь смотреть на него, разговаривать с ним? И эти дети... они не мои, чужие... я даже имен их не знаю... не знаю даже их имен! Все это сон, кошмарный, нелепый сон... я хочу, чтобы все это оказалось именно сном, и чтобы я про-

снулась сейчас рядом с Павлом, и рассказала ему обо всем, и мы от души посмеялись бы вместе...

А время шло, и скоро проснется муж Сергей, потом проснутся дети, ее... их дети. И вдруг новая мысль мелькнула в голове Дианы. Ей подумалось, что должна же быть та, другая Диана, которая родила этих детей, и прожила тут, с ними, все эти годы. И где она сейчас... не проснулась ли она, такая же растерянная и ничего не понимающая, в той, другой квартире, рядом с Павлом. И как она чувствует себя теперь, и что будет чувствовать потом, когда все-все поймет, когда поймет, что никогда уже не увидит своих детей, что навсегда потеряла и их, и себя...

Мысль эта была такой невыносимо жуткой, что Диана сразу же поспешила отогнать ее от себя... только бы не думать, совершенно ни о чем не думать... Она просто сидела в кресле... просто сидела и все смотрела и смотрела остановившимся взглядом на старинные часы на стене напротив, знакомые такие часы...

А время шло, и все приближалось и приближалось к ней такое неизбежное утро...





МИХАИЛ ПЕГАСИН

Ночь. Бессонница. Слушаю ветер...

Прогулка одинокого человека

Там, где свет электрический сходит на нет,
И, кончаясь на крайнем в ряду фонаре,
Исчезает во мраке стремительный снег —
Переулок теряется в дальнем дворе.

А вверху небосвод — беспросветен и слеп.
Я скольжу и сутулюсь навстречу зиме,
И в конце переулка, за снегом вослед,
Исчезаю из вида, теряюсь во тьме...

Где-то там — двухэтажный заснеженный дом
Потерял из-за вьюг свой ухоженный вид.
Он стоит, и единственным светлым окном
В палисадник, засыпанный снегом, глядит.

И окно — как маяк у меня на пути!
Там, я знаю, — жилище счастливых людей.
И иду я к нему — чтобы мимо пройти
Колеями замерзшей дороги своей.

Но замедлю шаги, проходя под окном...
И в моих повлажневших от ветра глазах
Отразится семья за накрытым столом...
И улыбки на лицах... и елка в огнях...

Я не стану спешить, я чуть-чуть погляжу —
Мир им, счастье нашедшим на этой земле! —
И по зимней дороге опять заскольжу,
Исчезая из вида, теряясь во мгле...

* * *

Ночь. Бессонница. Слушаю ветер,
Завывающий где-то в окне.
И тоска в завываниях этих
Все отчетливей слышится мне.

О свободе как будто бы молят...
Ветер, ты ли прибегнул к мольбе?
Если ты не свободен на воле,
Чем же люди помогут тебе?

Люди сами беспомощны в этом —
Разве кто-то свободен из них?
И ко мне не стучись за советом:
Я — еще несвободней иных.

И со всеми пришел к пониманью,
Что свобода — всего лишь мечта...
Только ты не бери во вниманье
Эти *общие* наши *места*.

Завывай — послышней, да повыше —
Чтоб душа задремать не могла,
Чтобы в ней, к несвободе привыкшей,
Хоть тоска по свободе жила.

Пожар в лесу

Спасали лес. Сосновый, тонкий —
Он разгорелся только-только,
И мы — тушили как могли.
Большими комьями земли,
Ударами зеленых веток...
Но убегал огонь по ветру
Так быстро, что, глотая дым,
Не успевали мы за ним...

Когда ж надежды не осталось,
Мы — в спинах чувствуя усталость,
И с дымным ветром в волосах —
Смотрели с жалостью в глазах,
Как лес горел, не защищаясь;
Как в горький пепел превращались
Его цветы — и все цвета,
Дымясь, сменяла чернота...

Мы провожали лес горевший;
И нам не думалось, конечно,
Что — вечна эта круговерть;
Что там, где жизнь, — там рядом смерть.
Что это сбудется и с нами,
И жизнь безжалостней, чем пламя,
Нам души болью опалит,
И все мечты испепелит.

Нет, мы не думали об этом
Тем знойным юношеским летом.

Мы рассуждали на ходу,
Что время быстро обернется,
И жизнь в тот лес еще вернется,
Сочась травой сквозь черноту...

Осеннее сентиментальное

Дворняга с лапой перебитой
Скулит у парковой скамьи.
Оставь! Кого на этом свете
Волнуют горести твои?

Здесь что ни взгляд — такая стужа.
Ведь каждому второму тут
Судьбою перебило душу.
А видишь — все-таки живут.

И ты, под лавкой боль заплакав,
Сумей понять и оценить:
В тебе и с перебитой лапой
Довольно силы, чтобы жить.

* * *

Сколько раз эта улица
Наблюдала спросонок,
Как куда-то торопится
Дама за сорок.

Макияж и прическа —
За спиной у природы
Обманули старательно
Ненавистные годы,

Скрыли боль и усталость —
Все не так уж ужасно.
Надо только держаться.
Надо только держаться...

Но — шарахнулся ветер,
Вдруг утративший разум! —
И в лице, от морщин
Изменившемся сразу,

И в прическе, внезапно
Взлетевшей на воздух, —
Стали слишком заметны
И усталость, и возраст...

Взвился плащ непослушный,
Словно серое знамя...

Время — ветер бездушный, —
Что ты делаешь с нами...



НАТАЛЬЯ ШЕМЕТКОВА

Влюбленная в лето

Рассказы

Легенда о синих птицах

Часть 1. Сказка

Давным-давно, так давно, что почти никто и не помнит об этом, далеко-далеко, за горами и морями, расстилалась прекрасная страна. Там зеленели леса и золотились поля, текли прозрачные ручьи и блестели озера, поднимались села и города. Женщины рожали детей, смотрели за домом и работали по мере сил, мужчины трудились до седьмого пота. Все было как и в любом другом месте в нашем огромном мире под голубым небом, до тех пор, пока в одном из городов не появилась странная птица. Величиной она была чуть больше голубя, а крылья отливали синевой. На заходе дня ее оперение становилось ярко-синим, а на заре, встречая новый день, птица пела, да так прекрасно, как никто прежде не слышал.

В этом городе жила девушка. Она была умной и красивой, и женихи захаживали просить ее руки с завидным постоянством. Но она всем отказывала, потому что любила. Только шансов на взаимность у нее, увы, не было. И вот однажды, проснувшись раным-рано, она увидела за окном птицу и подумала: «Пусть о моей любви узнает тот, кому я предана всем сердцем и всей душой. Пусть он полюбит меня, если это возможно». Так получилось, что девушка словно загадала желание, обращаясь к неведомой птице.

И птица запела.

Вскоре в городе сыграли свадьбу: долго еще шли пересуды о том, что бедная девушка вышла замуж за сына одного из самый богатых и влиятельных людей города. И что парень, ветреный и охочий до женского пола, стал чудесным мужем.

А в гнезде, свитом за резным наличником окна дома, где поселились молодые, обосновалась и странная птица. Птенцы вывелись синие-синие.

С тех пор в городе таких птиц становилось все больше и больше. Они уже не меняли цвет оперения: оставались синими всегда и расселились по городу. Жители и не заметили, как стали счастливее. А вот приезжие отмечали, тут все как везде, с одной небольшой разницей: люди здесь улыбаются чаще, и под крышей почти каждого дома гнездятся удивительные синие птицы. Да-да, синие птицы встречались там так же часто, как у нас — простые воробьи.

Это было счастливое время. Люди и птицы жили в мире. Даже самые отчаянные сорванцы не обижали пернатых, не разоряли гнезда, даже коты не охотились на птиц. Синие птицы исполняли любые желания, самые невероятные, самые сокровенные, но только если эти желания были добрые. Жизнь становилась все лучше, а место получило название «Добрый Город».

Годы летели. Слава о птицах облетела мир, и чужестранцы прибывали, чтобы посмотреть на синих красавиц, выменять на диковинные товары хотя бы одно перо. Даже оно, говорили, приносит удачу в делах и успех.

Синих птиц просили продать, подарить, и добрые люди с радостью делились подросшими птенцами. Ведь счастьем надо делиться, тогда его будет еще больше...

Но птицы не приживались на чужбине.

И тогда один правитель собрал огромную армию и пошел войной на Добрый Город. Жители не готовы были сражаться, они были слишком миролюбивы.

Город пал.

Завоеватели не знали жалости. Почти все местные жители были перебиты. Дома разграбили и сровняли с землей, а на развалинах некогда цветущего города было суждено зародиться новому, где правил злой, жестокий человек, где мальчики рождались, чтобы воевать, и женщины были им под стать. Только счастья там не было, оно ушло вместе с дымом, что поднимался над пожарищем Доброго Города.

Большинство синих птиц тоже перебили, хотя и был отдан приказ не трогать чудесных пернатых. Некоторые из них, словно разумные существа, бросались грудью на копья завоевателей, и те, роняя оружие, кричали от ужаса, потому что повинного в гибели синей птицы ждала мучительная смерть. Некоторые птицы налетали на воинов, стараясь оттеснить их в сторону от женщин и детей, и завоеватели, опасаясь за глаза, вынуждены были защищаться, уничтожая птиц.

...Всех, кто хотя бы косвенно был повинен в гибели синих птиц, казнили на рассвете, после того, как в Добром Городе был объявлен новый властитель.

В это же время синие птицы исчезли.

Сколько не пытались захватчики найти хоть одну их них, все было тщетно. Сколько не обыскивали они гнезда за резными наличниками — ничего. Ни одной птицы. Ни одного живого птенца. Ни одного целого яйца. И тогда правитель велел забыть о самом существовании дивных пернатых, чтоб никто и никогда не вспоминал о том, что когда-то здесь жили синие птицы.

Но жива до сих пор в памяти людской легенда о птицах, которые исполняют любые желания, о птицах-удаче, птицах-счастье, хотя их больше никто и не видел. Правда, старые люди говорят, что изредка в разных местах появляются птицы, оперение у которых на закате дня отливает синевой, а на заре они дивно поют, почти как соловьи.

Говорят, что после этого на Земле прекращаются войны, рождаются люди, которым суждено стать великими учеными, композиторами, поэтами...

Но никто этому, конечно, не верит.

Такова сказка.

Часть 2. Быль

...— Ты, дура! Кому говорю — подавай на стол!

На продавленном диване развалился обрюзгший мужчина лет сорока. На нем были старые спортивные штаны, «треники» с отвисшими коленками, от него плохо пахло: по́том, дешевыми сигаретами и винным перегаром.

Его жена, худая усталая женщина, состарившаяся раньше срока, тенью скользила по дому. За столом, у окна, натужно кашлял ребенок лет десяти.

Ветхая простынь — жалкое подобие штор — слабо колыхалась от ветра, проникавшего в это убогое жилище через приоткрытую форточку.

— Погоди, сейчас дам лекарство, и будешь обедать, — не глядя в сторону мужа, произнесла женщина.

— Потом будешь за выродком смотреть! — рявкнул мужчина. — Мужа накорми! Или совсем страх потеряла?! Так я тебе напомню, кто есть кто!

Подавив вздох, жена побрела на кухню.

— Обед на столе, — послышался тусклый голос женщины. С ложкой и микстурой в руках она пошла к ребенку, а мужчина вразвалку двинулся на кухню, на ходу подтягивая сползающие с живота штаны.

Вскоре послышался звук бьющейся посуды и отборный мат.

— А ложка! Я что, как собака хлебать буду? Из миски прямо?

— Сейчас...

За окном, на карнизе, сидела довольно большая птица, ростом с хорошего голубя. Ее оперение отливало синевой. Птица, словно разумное существо, заглядывала в щелочку между занавеской и стеной, и время от времени стучала клювом в стекло.

Но ее никто не видел.

...Когда пал Добрый Город, не все птицы погибли. Несколько из них выжило и укрылось в лесной глуши, там, куда никогда не добирались люди. Настал день, и двадцать семь птиц покинули свои гнезда. Остались лишь старые и несколько птенцов.

Двадцать семь птиц разлетелись по миру, ведомые только им понятным инстинктом, надеждой найти человека, нуждающегося в помощи, который готов поверить в чудо, в сказку, в мечту. Птицами двигала древняя магия, неукротимое стремление, не подвластное ни времени, ни расстояниям — желание творить добро, и это желание было сильнее всего на свете. Сильнее самой смерти. Десять птиц погибли сразу, даже не долетев до ближайших людских поселений — были слишком слабы. Только семнадцать птиц добрались до городов. Чувствуя то тут, то там, посылы доброты, исходящие от людей, волшебные пернатые ощущали прилив энергии и искали, искали, искали человека, способного бескорыстно желать, любить, верить, способного творить добро несмотря ни на что. Человека, способного вдохнуть в них жизненные силы, тогда они исполнят его самое заветное желание. И, вернувшись в гнездо, продлят род птиц, приносящих счастье.

Дома быстро ветшают, когда их покидают хозяева. Не успеешь оглянуться, как уже краска облупилась, калитка сорвалась с петель, да так и висит наперекосяк, шифер частями обвалился с крыши, ставни покосились и жалобно хлопают на ветру, стекла разбиты в окнах. Страшно!

В тупике одной из улиц стоял такой заброшенный дом. Его уже давно облюбовали бродяги. Оборванные, утратившие человеческий облик, они были изгоями, и люди старались не обращать на них внимания. Обходили дом стороной.

— А-а-ать, поймал! — хриплый голос бомжа был похож на воронье карканье. В грязных руках он сжимал бьющуюся птицу. Она неистово хлопала крыльями, но вырваться не могла. Одним движением руки бомж свернул хрупкую шейку. Его не волновало необычное оперение, и уж, конечно, он не собирался загадывать желания — человеческое существо, опустившееся на самое дно, жило, подчиняясь только инстинкту, требующему пищи. Для пищи вполне годилась небольшая курица, будь она хоть десять раз синей.

Птица была наспех ощипана. Перья унес бродяга-ветер, и они еще долго то тут, то там, грустно кружа, опускались на раскаленный летним солнцем асфальт.

...Василий Петрович сидел, словно громом пораженный. Он не мог пошевелиться, не мог произнести ни слова. Да разве это возможно? Как же так, столько лет, столько десятков лет... уважение коллег... безупречная характеристика... поощрения, премии, грамоты... и вдруг — уволили. Уволили сейчас, именно сейчас, когда ему так нужна работа! Он этого никак не ожидал. Рассчитывал работать еще долгие годы, пока хватит сил. Пенсионер, ну и что? Да разве он один работает на пенсии! Он много знает, может поделиться опытом, ему всегда говорили, что незаменим, что он — история этого учреждения, почетный работник. Этот кабинет, стол, стул — не просто рабочее место, где бесцельно протирают штаны бездельники. Это — его любимое дело, его жизнь — да и деньги очень нужны, что греха таить! Дети разъехались, кто куда, ищи ветра в поле. Женя болеет постоянно, а лекарства сейчас такие дорогие, такие дорогие... Василий Петрович, словно в тумане, слушал, как коллега воодушевленно увещевал, мол, смотри, начнешь новую жизнь, займешься, чем мечтал. Будет много свободного времени на себя. На себя... Зачем ему время на себя?

Петрович не стал слушать дальше. В голове шумело, словно там развернулась стройка и работали невыносимо огромные, бьющие прямо в виски отбойные молотки. Он полез в стол за таблетками от давления.

Таблетки не помогали. Василий Петрович, с трудом двигаясь, начал собирать вещи. Много накопилось, сразу не унесешь. Но лучше сейчас начать, не оставлять на потом. Не минуты лишней тут не останется.

Птицу за окном он не заметил.

А волшебные птицы все летали по миру, стараясь привлечь к себе внимание. Но люди, поглощенные своими заботами, придавленные к земле грузом проблем, не смотрели в небо. Те, кто были чуть-чуть счастливее, тоже не смотрели в небо, они были заняты своим счастьем и смотрели друг на друга. Так было на шумных свадьбах или на развеселых вечеринках, в квартирах и на пляжах, в конторах и школах. Молодые и постарше не загадывали желаний. Люди разучились мечтать! Они жили одним днем, работая, размышляя, веселясь. В аэропортах, на вокзалах, в больницах, в офисах, на деловых совещаниях, и просто на улицах люди смотрели исключительно себе под ноги, и мало кто смотрел даже по сторонам. Дети — дети мечтали, но все больше попадалось: «Хочу планшет», «Хочу компьютер», «Хочу айфон». Что такое айфон или планшет, птицам было не известно. А простых понятий, как доброта, взаимовыручка, желание помочь друг другу, любовь, радость просто от того, что жив, встречалось так мало, что только-только давало птицам возможность поддерживать свои силы.

Всю зиму одна из синих птиц перебивалась в кормушке с воробьями и синицами. А когда людям надоело наблюдать за птичками за окном, и, по свойственной им забывчивости, они перестали подбрасывать крошки, птица, едва собравшись с силами, перелетела к мусорке. Некоторое время она жила, питаясь тем, что находила съедобного среди отходов. Однажды у мусорных баков появилась старушка. Она посмотрела на птиц подслеповатыми глазами, все они были ей одинаковы. Достала из кармана кусок булки, раскрошила узловатыми пальцами, подзывая: «Гули-гули-гули». Голуби, отталкивая друг друга, слетелись на зов. Они толпились возле старой женщины, словно куры, и заглатывали куски булки. Прилетела и синяя птица.

Старушка немного посмотрела на суетящихся пернатых и пошла. И вдруг она услышала, как захлопали крылья — так стая поднимается в воздух. Она обернулась на шум и увидела, как взлетели ввысь голуби, а там, где она их кормила, застыл тощий дворовый кот с добычей в зубах. Пойманная им птица в лучах солнца на мгновенье блеснула синевой.

— Ах ты, паразит! — закричала женщина, потрясая палкой. Но удачливый охотник в два прыжка скрылся за забором.

Где-то наступила весна, город цвел и благоухал. Терпкая зелень наполняла воздух дурманом, но человеку в апартаментах на самом верхнем этаже элитного дома, не было дела до чудес матушки-природы. Из окна открывался шикарный вид, вот только хозяева редко любовались им. Пожалуй, всего пару раз, когда смотрели квартиру и когда въехали в нее.

На огромном столе были свалены в кучу бумаги. Полный пожилой мужчина сидел, держась руками за голову. Периодически он собирал волосы в кулак и дергал, что есть силы, вырывая темные с сильной проседью клочья. Лицо его наливалось краснотой прямо на глазах. Ему не было дела ни до весны, ни до цветущих каштанов за окном, — он попросту не видел их с такой высоты, а по городу давно передвигался исключительно на машине.

— Марго, меня сейчас хватит удар, — простонал он. — Денег нет.

— Хватит! — отрубила сильно молодящаяся женщина лет пятидесяти. На ней был дорогой костюм, а украшения стоили целое состояние. — Не все потеряно!

Она нервно ходила по комнате, курила и то и дело звонила по телефону.

Так называемые «друзья» внезапно оказались, кто в отъезде, а кто попросту был недоступен. Те, кто отвечали, в большинстве своем говорили, что вложили все свободные деньги в дело.

— Нет, ну не может быть, ну как же нет, одолжи, сколько есть, мы отдадим с процентами...

Денег никто не давал. Ни мужчина, ни женщина не вспомнили о том, что сами отказывали в подобных случаях, как высокомерно относились к тем, кто не имел такого высокого положения, как действовали напролом, как шли по головам, лишь бы добиться успеха в бизнесе.

Добились. Дети уехали жить за границу, сами они ездят по лучшим мировым курортам... и вдруг раз — все кончилось. Молодые и ушлые конкуренты ловко их обошли, раздобыли компромат, который, казалось, был уничтожен, и еще недавно процветающий бизнес дал трещину, которую было уже не заделать. Она очень быстро превратилась в пролом, откуда, словно нечисть, лезли и лезли грехи, дурные дела и неприглядные поступки. Все рухнуло в одночасье, все...

Женщина налила два бокала и протянула один мужчине. Он зло оттолкнул ее руку, дорогой виски выплеснулся, заляпав костюм женщины.

— Ты идиот! — выругалась Марго.

Им не было дела до кружащих вокруг дома синих птиц.

Силы у птиц иссякали. Они гибли одна за другой, кто от несчастного случая, кто от того, что не выдерживало маленькое сердце, которое просто не могло биться без подпитки добротой. А ее было катастрофически мало. И все же птицы продолжали поиски: они не могли вернуться, не выполнив своего предназначения.

Синих птиц оставалось только две.

— К-а-атя! Брось! Брось эту гадость!

Девочка лет шести замерла, как вкопанная. Молодая женщина бежала к дочери, на ходу доставая из сумки упаковку салфеток. Дочка стояла у фонтана, в руках она держала птицу величиной с голубя.

— Мама, мама, п-посмотри, у п-птицы подбито крыло, м-можно мы возьмем ее д-домой?

— Нет! Может, она больная, может, у нее птичий грипп, брось немедленно! Иди скорее сюда, я руки тебе вытру!

— М-мама, она синяя! М-может, она желания и-и-исполняет!

— Какая она синяя, глупости! Брось!

«Хочу, чтобы мама больше не плакала, — мысленно прошептала девочка, — и чтоб папа вернулся. Пожалуйста». Она на секунду прижала к груди птицу, а потом подбросила вверх:

— Л-лети, п-птичка!

И птица, ощутив внезапный прилив сил, взмыла в небо и, несмотря на раненое крыло, полетела.

— Ну что ты всякую дрянь в руки берешь, а? — чуть не плакала мать, вытирая девочке руки влажной салфеткой. — Ну что мне с тобой делать? Ну что мне делать, а?

Девочка, насупившись, молчала.

— Что ты опять молчишь? Что молчишь?! — не выдержав, мать сорвалась на крик.

Женщина знала, что не должна кричать, никогда не должна кричать в присутствии дочери — хватило одного раза. Знала, что сама виновата в болезни дочери, виновата и в том, что произошло, ведь если изменяет любимый, мы всегда виним в этом сначала его, а потом — себя. И, если бы она сдержалась тогда, сохранила лицо, может, все бы обошлось... и Катя бы не заикалась. Но тот случай и та истерика что-то сломали в ней, теперь она постоянно срывалась на крик, а потом раскаивалась. Нервы не в порядке, что делать! И вот сейчас опять не сдержалась.

— Ну скажи хоть что-нибудь, не молчи!

— М-ма, н-не н-на-д-до... — заикаясь, с трудом выговорила девочка, и с перепугу расплакалась.

— Скажи: «Мама, мама, мама»! — настаивала женщина, и с отчаянием добавила, словно про себя: — Опять так сильно заикаться стала, что ж за горе такое...

Детский плач быстро перешел в рев, девочка захлебывалась слезами, икала и не могла толком произнести ни слова.

— Что ж за горе, — плача, причитала мать. — Ни слова сказать не можешь... завтра придется опять к доктору ехать. Горе мое... счастье мое...

— М-ма, н-н-не п-плачь...

Прогулка в парке была безнадежно испорчена. Кое-как успокоив дочь, еле-еле успокоившись сама, мать повела ее из парка. Они шли, обнявшись, и вдвоем всхлипывали.

Ранним утром, когда они уже были готовы ехать к врачу, раздался звонок в дверь.

— Ты?.. — открывая, выдохнула женщина.

— Да. Надо поговорить.

— Па-а-па, — завизжала девочка и повисла на шее у отца. — Папа, па, папочка!

Девочка снова плакала, на этот раз, от радости, и, против обыкновения, совсем не заикалась.

— Проходи, — произнесла женщина, уже зная заранее, что если муж захочет вернуться — простит и примет обратно, потому что любит, и дочка так счастлива, и — о, чудо! — так ровно говорит. И потом, каждый может ошибаться — на то мы и люди, чтобы уметь прощать.

— Вы куда-то собрались? Я помешал?

— Да, хотела свозить Катю к доктору показать, она стала заикаться... — женщина запнулась, — после... сразу после того, как ты ушел.

— М-мамочка, не н-надо, — умоляюще зашептала дочь. — Давай не п-поедем никуда, пожалуйста, п-пожалуйста.

Мужчина внимательно посмотрел на жену, потом на дочь:

— Ты хочешь к доктору?

— Нет, — четко сказала Катя, с обожанием глядя на отца.

— Значит, не поедешь. Всегда успеется, можно и завтра. Только не сегодня. Да?

— Да-а-а! — закричала девочка и снова вцепилась в отца.

«Спасибо, птичка!» — пронеслось в голове у ребенка.

Женщина уже не пыталась скрыть улыбку. Все хорошо. «Все хорошо, что хорошо кончается», — подумала она.

Невысоко над домом в ослепительном небе парила ярко-синяя птица. Она запела, и люди, которые спешили по своим делам, забывали обо всем и останавливались. Они вглядывались ввысь, прикрывая глаза от солнца и спрашивали друг друга:

— Что это за птица, как она называется, не знаете?

И улыбались прохожим просто так, без причины. А песня все лилась и лилась, и ее не мог заглушить городской шум. Находя отклик в людских сердцах, песня становилась все громче, все красивее, и звучала уже на два голоса.

— Смотрите-ка, их две! — воскликнул кто-то.

И правда, в небе птиц было уже две. Еще одна синяя птица, последняя из уцелевших, прилетела на зов. Чувствуя разливающуюся в мире доброту, впитывая ее, поглощая и возвращая обратно в мир, птицы снова обрели свои силы и кружились в голубом безоблачном небе в брачном танце.

Две синие птицы вернулись в гнезда, полные сил, жизни и любви. Скоро у них вывелись ярко-синие птенцы. Там, в недоступных лесах, в глухом месте, вдалеке от цивилизации, продолжился род синих птиц, готовых в любой момент по велению своего сердца вылететь из гнезда на помощь людям исполнять желания, творить добро и нести в мир счастье.

Говорят, в это же время объявили, что, вопреки ожиданиям, в одной горячей точке нашей планеты закончилась война. Стороны заключили перемирие, и, похоже, впервые за долгие годы были готовы выслушать и, главное, услышать друг друга. Но это, конечно, не имеет никакого отношения к синим птицам. Их не существует.

Не так ли?

Влюбленная в лето

Эту женщину я повстречала в середине самого старшего летнего месяца. На ней был яркий сарафан, который выгодно оттенял ее бледность. Мне подумалось, как же она умудрилась не загореть к концу лета? Как смогла сохранить белоснежную кожу, если носит платья с открытой спиной и большим вырезом?

Ей было, наверное, лет сорок, но с таким же успехом ей можно было дать и тридцать. Знаете, бывают такие женщины, которые в сорок выглядят лучше, чем иные в двадцать — настолько красивы, настолько в них чувствуется некая внутренняя сила, что ни одна молоденькая не сравнится с ними. И эта была такая.

Роста чуть выше среднего, она казалась очень высокой, на ней были босоножки на десятисантиметровых каблуках. У нее была очень тонкая, девичья талия и красивые плечи. Длинные волосы цвета темного золота сверкали и переливались на августовском солнце. Женщина была очень красива. Мужчины, как один, оборачивались ей вслед.

На ее лице только-только читались первые морщинки; глаза были огромные, томные, карие с поволокой. Слегка неправильной формы нос не портил лицо, рот был чуточку побольше, чем требовалось по классическим меркам. Пухлые губы едва тронуты шоколадной помадой с золотистым оттенком.

На мне тоже было летнее платье, правда я, в отличие от нее, была загорелой. Все смотрела на нее и думала, интересно, ей тоже холодно по утрам? А ветер уже гнал по асфальту съежившиеся листья каштана. Словно маленькие шустрые зверюшки, с шуршанием они проносились мимо.

Прошло несколько дней, и я снова встретила ее. На этот раз она шла под руку с импозантным мужчиной. Он был высок, строен и тоже очень красив, только, в отличие от женщины, которая излучала тепло, от него веяло холодом.

В конце августа я увидела ее у фонтана. Она заговорила по мобильнику: называла собеседника странным именем Лето, и уговаривала его не грустить и не расстраиваться.

— Все будет хорошо, мой дорогой, — говорила она. — Все вернется. Все снова будет, ты же знаешь! Я тоже тебя люблю. Целую. Да, я уже тоже по тебе скучаю, правда...

В облегающих голубых джинсах, в черной водолазке, она сидела на бордюре, подставляя бледное лицо солнечным лучам, которые уже не обжигали. Красивая женщина сидела на краю фонтана, и теплый ветер трепал копну ее волос, отливавших янтарными бликами, окутывая облачком невесомых водяных брызг. Я тоже была в черной водолазке и голубых джинсах. Стиль нашей одежды совпадал удивительным образом! И да, мне ведь тоже около сорока.

К ней подошел тот же мужчина и улыбнулся. Когда он улыбался, его глаза теплели, и веяло теплым, еще совсем летним ветром.

В сентябре я встречала эту женщину постоянно, то на школьной линейке с букетом гордых неприступных гербер, то в строгом костюме у крыльца театра. Ее постоянный спутник преподнес ей букет гладиолусов. В полупустом троллейбусе я видела ее в длинном плаще, а в руках — огромная охапка разноцветных астр.

Тогда я поняла, кто это. Это была Осень, и она снова пришла в город. А ее спутником был Осенний Ветер.

Весь октябрь они гуляли в парке, собирая букеты из разноцветных кленовых листьев. Осень плела из них венки, украшала ими голову своего спутника, и взгляд его теплел. Люди снимали куртки и несли их в руках, видя, как разгоняются тучи и выглядывает осеннее солнышко. В желтом парке Осень, смеясь, набирала полные ладошки каштанов, а в лесу — полные лукошки грибов.

Я тоже собирала каштаны. Их так приятно держать в руках! Особенно мне нравились приплюснутые, похожие на миниатюрные буханочки хлеба, каштанчики.

В ноябре я видела Осень все реже и реже. Наверное, потому, что сама мало бывала на улице.

Пошли дожди. Осень под руку с Ветром прятались под большим черным зонтом, шикарные волосы она схватывала заколкой, чтоб не путались. Порой Ветер внезапно стягивал заколку с ее волос. Благородная медь рассыпалась по плечам, и снова теплела улыбка Ветра. И, несмотря на сырость, казалось, что зима придет еще не скоро.

Я наблюдала, чаще из окна, как Осень и Ветер смело гуляют по лужам. Правда, они кутались в шарфы, и на обоих были наглухо застегнутые куртки.

Сопровождающий Осень мужчина становился все более неулыбчивым и холодным. А в моем доме поселилась Грусть. Это была молчаливая квартирантка — сидит себе в уголке при мягком свете торшера и вяжет шаль из золотых солнечных нитей, — осенних, не горячих.

А однажды, заглянув в зеркало, я увидела, что моя кожа побледнела. В зеркальной глади отражалась красивая женщина лет сорока с неправильными чертами лица, так похожая на гуляющую за окном Осень.

Конец ноября выдался холодным, с заморозками. Несколько раз по дороге на работу я видела мужчину, который разговаривал с Осенью. Она называла его вежливо и с уважением: господин Зима.

Прощаясь с Осенью, я вдруг поняла, что в течение долгой зимы буду лелеять в сердце одну-единственную мечту. Я хочу выйти на улицу и встретить шаловливую девчонку, у которой смешные косички и зеленое платье цвета едкой первой травы и глаза цвета апрельского неба. Девчонку, которая прыгает через резинку, носится на роликах, а порой пугает тебя, обгоняя на летящем, как птица, велосипеде. Хочу встретить девчонку по имени Весна. Ведь мы все еще с ней подруги! А еще, мне стыдно признаться, я, как и прежде, жду того, кто молод, ветрен и суетлив, кто приходит так ненадолго, но вносит сумятицу в сердца и головы. Тот, кто мне так дорог — немного наглый, горячий, загорелый до черноты парень, который лучше всех плавает, быстрее всех бегает и любит сидеть в кафе и задирать красивых девушек, а вечером запускать на пустынном берегу моря воздушного змея. Жаль только, что нам никогда не быть вместе.

Ведь в какой-то степени осень — это я.

Я, как и она, благоговею перед Зимой и дружу с девочкой по имени Весна.

И я, как и она, Осень, безнадежно и безответно влюблена в знойного мальчика по имени Лето...





ФЕДОР ВАСЬКО

И отзовется вдруг душа

* * *

Я не устану удивляться,
Когда стихи приходят вдруг.
Когда они ночами снятся,
И птицами слетают с рук.

Когда душа желает боли,
И получив ее сполна
Вдруг вырывается на волю,
Где нет ни берегов, ни дна.

Чтобы блеснуть лучом тревожным,
О сокровенном рассказать,
Чтобы казалось невозможным,
Как мир печален не узнать.

* * *

Отпусти меня Господи,
От себя отпусти,
Все долги мои розданы,
Я в начале пути.

Если сердце отважится
Пить без меры эфир,
Пусть хотя бы покажется,
Что меняется мир.

Хочешь — будь одуванчиком
На зеленом лугу,
Хочешь — маленьким мальчиком
По колено в снегу.

Заболело — не спрячешься,
Ветер так терпелив,
Снежным комом покатишься
Прямо с кручи в обрыв.

Разорвется от ярости
Белый купол огня,
Разнесет ветер радостный
Эту весть про меня.

И на многие тысячи
Не увиденных снов
Твое Имя возвысится
В каждом сердце без слов...

Отпусти меня Господи,
От себя отпусти.
Вот такими мы созданы,
Вот таких и прости.

* * *

Стихи нарочно не напишешь,
Что это будут за стихи?
Случайно музыку услышишь,
И ноты будут так легки...

А кто мелодию придумал?
Никто, она всегда была.
Плыла на облаке угрюмом,
Издалека сюда плыла,

Случайно в небе отразилась,
Упала капелькой дождя,
И в ней как будто уместилось,
Все, что тревожило меня.

И в эту бездну вечер канет,
В полнеба вырастет луна,
И ночь, наверное, настанет,
И затаится тишина.

А нота дальше будет длиться,
И отзовется вдруг душа,
Потом попробует смириться,
И будет слушать не дыша,

Как этот мир раскрыл ладони,
И ждет, пока я упаду
В многообразие гармоний
И ярких красок череду...

* * *

Среди печали осени
Тебя одну люблю,
Деревья листья бросили
В подарок октябрю.

Травы зеленой горсточка
Забылась и растет,
А вместо неба — форточка
На целый горизонт...

* * *

Замело сегодня вдруг,
замело,
Неба нет, и нет Земли,
все бело.
Светят блекло фонари
в никуда
И покажется зима —
навсегда.

Словно нет на целом свете
тепла,
Словно ты меня вчера
не ждала,
И остывшая звезда
в этот снег
Будет падать в тишине
целый век.





ВАСИЛЬ ГОДУЛЬКО

Судьбой прикованный к земле

20 лет назад не стало замечательного белорусского поэта Василя Годулько (1946—1993). При жизни этот самородок из деревни Федьковичи, что под Брестом, не издал ни одной книги, более того, его стихи редко выходили в печати, а следовательно, его имя не было известно широкому кругу читателей. Первую книгу Василя Годулько, которая, к сожалению, так и не вышла, собрал и подготовил к печати его земляк, поэт и журналист Жабинковской районной газеты Василь Сахарчук (1953—2003), который, надо сказать, в свое время чуть ли не за руку привел своего тезку в «районку». В ней впервые и были опубликованы стихи Василя Годулько, когда тому уже было под 40, а вскоре его и вовсе не стало. Не вышла и книга, собранная и подготовленная к печати Василем Сахарчуком. Я хорошо помню, как он переживал по этому поводу.

Первую и пока единственную книгу стихов Василя Годулько «Голас» подготовил и издал не без помощи известного белорусского поэта и писателя, а теперь еще и делового человека Леонида Дайнеко поэт Леонид Голубович, неустанный подвижник, собиратель и популяризатор отечественной поэзии.

Читая книгу поэзии «Голас», все время, от стихотворения к стихотворению, ловишь себя на том, что невольно проводишь параллель между судьбой и творчеством автора и его русских предшественников Николая Рубцова и Алексея Прасолова: они также умерли молодыми, жили неприкаянными отшельниками, часто бедствовали, не находя себе места в обществе и вообще среди людей, а тем более — в кругу поэтов.

Правда, последнее Годулько не касалось: в отличие от российских знаменитостей, он был очень скромен, застенчив и, что немаловажно, совсем не тщеславен и никогда не стремился в круг поэтов. Это, надо заметить, во многом и сыграло роковую роль в его литературной судьбе — и, к сожалению, не только литературной. Тщеславие, что бы там ни говорили, стимулятор творчества, и если ты талантлив, тебя ничто уже не остановит на пути к успеху. Ну а круг поэтов (общение) пишущему необходимы, как живому организму кислород. Василю Годулько, опять же в отличие от Рубцова и Прасолова, тщеславия как раз-таки и недоставало. Недоставало и общения, того самого «круга». И Рубцову, и Прасолову, что бы там после их смерти о них ни говорили и ни писали, уже при жизни хватило и славы, и успеха. Пусть даже и в узком — литературном — кругу. Это-то, надо сказать, в первую очередь их и держало, и вело, правда, до поры до времени, и, увы, совсем не долго. И это — прижизненные признание и слава, пусть порой и скандальные, сыграли свою роль и в посмертной, весьма шумной, особенно в случае с Рубцовым, славе. Книги его вот уже пятый десяток лет выходят с завидным постоянством и огромными, и это в наше-то, совершенно «не поэтическое» время, тиражами.

А вот Василь пока все еще остается автором единственной книги «Голас». И та шла к нам с небывалыми трудностями и мытарствами. Такой же, к слову,

была и жизнь поэта. Интеллигентный, талантливый, владеющий несколькими языками, он вдруг на последнем курсе (!) оставляет столичный институт иностранных языков и уезжает в родную деревню Федьковичи Жабинковского района.

В Федьковичах Василь Годулько работает учителем в сельской школе. Но вскоре порывает и с учительством, притом окончательно и бесповоротно. Ухаживает за больной матерью, а хлеб насущный добывает, работая... скотником на ферме. И это — в совершенстве владея немецким языком, зная английский, французский, польский... В свободное время пишет стихи, переводит любимых европейских поэтов на белорусский язык.

Тем она и дорога ценителям истинной поэзии, книга стихов Василя Годулько «Голас». Ее составили лучшие стихи, написанные поэтом-самородком в разные годы жизни. Стихи, удивительные по своей простоте, искренности, чистоте, какою и бывает настоящая поэзия. Хотя ненастоящей поэзии и не бывает. Ненастоящими бывают стихи, их-то в последние времена в нашей, как белорусской, так и русской литературе, наплодилось с лихвою...

Но тут, в книге «Голас», — стихи, настоящие стихи — Поэзия:

...А я
Маю свой куток і ў кутку тым
Мушу, сын шматпакутнай зямлі,
Зноў і зноў заставацца — прыкуты
Лёсам продкау да чорнай раллі.

Судьбой прикованный к земле, тем не менее, Василь Годулько стал Поэтом. Да что там стал — он всегда был им!

Василь Годулько — поэт. И этим все сказано. Не зря же, читая его стихи, все время ловишь себя на том, что невольно вспоминаешь таких знаменитостей, как Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Николай Анциферов... Да и в белорусской поэзии есть (и их немало!) яркие имена, чья жизнь была короткой и малоотрадной, а творческое наследие стало неотъемлемой частью национальной литературы, культуры вообще. Уверен, поэзия Василя Годулько займет (на мой взгляд, уже заняла) достойное место в этом славном ряду.

Валерий ГРИШКОВЕЦ

Река

Прости, что не в твоей моя рука:
Между тобой и мной течет река,
И нам ее не перейти вовеки, —
На гору так порой глядят калеки.
Напрасно пробовали я и ты
Над нею снова навести мосты.
Река два сердца без мостов сроднила,
Плечо в плечо идти нас научила.

Что возраст, что судьба и что года? —
Течет, чиста, былой любви вода.
Течет она, в лучах зари дымится,
Над ней любовь летает вольной птицей...

Она все больше разделяет нас, —
Вот-вот исчезнет берег твой из глаз.
Река в бескрайнее вольется море.
И пропадет она в морском просторе.

И разлучат навеки даль и годы
Два берега одной реки — две доли.
И канут в бездну наших жизней воды.
И никогда не встретимся мы более.

* * *

Из-за тучи выплыл месяц,
А в глазах и в сердце — мрак.
Не слепой, но все ж на месте
Топчешься — за шагом шаг.

Кто во мрак — пускай плетется,
Не о них сегодня речь, —

Тем, кто век не видел солнца,
Трудно зрение сберечь.

Проще так — не знать о небе, —
Обойдется и без нас.
В темени, как будто в склепе
Лучше вовсе быть без глаз...

Дом плывет лодчонкой утлой,
Темень — черный сплав свинца.
Только бы дождаться утра —
Не ослепнуть до конца.

На могиле мамы

Ты слышишь, мама? Тяжко говорить мне.
По волнам дней я наугад плыву.
Устал в потемках жить, но вот — живу:
И дарит мир не только беды мне.

Когда душа бродить во тьме устанет,
Приду и упаду лицом в траву.
Ты слышишь, это я тебя зову...
И отзовется эхо — как в тумане.

О, если б ты могла в минуту эту
Послать мне утешенье с того света!..
Но, знаю, не случится чудо вдруг:

У жизни и у смерти — Вышний суд.
Но как постигнуть мне, живому, тут
Великий смысл земных страданий, мук?..

Сонет I

Как челн, из леса солнце выплывало,
Окутанное утреннею мглой,
Срывало снов тревожных покрывало,
В глазах стирало тень тоски ночной.

День кончился — погасло за горой,
Пошло туда, где прежде ночевало.
Ночь поползла — черно и мрачно стало,
Но неба край горит еще зарей.

Мне было солнечно с тобой весь день,
А без тебя на сердце лег, как тень,
Страх пустоты и ткет в нем паутину.

Но нет, осталось в нем — на самом дне —
Воспоминанье светлое — о дне,
И свет его всю ночь я не покину.

* * *

...пускай сны юности
Уж больше не приснятся —
Я благодарен им: они мне помогли
Хотя б немного над самим собой подняться,
Не отрываясь от земли...

* * *

Отвел себе делянку и кошу.
Остановлюсь, когда до края выкошу,
Когда и скорбь, и боль, что век ношу,
Кому-то близкому и миру выскажу.
А не смогу — зайдусь от горьких слез,
Давясь мечтами и бедой, что сужены,
И, обессилев, упаду на свой прокос,
И отдохну на нем душой натруженной.

* * *

Не лги, что для тебя я не умру,
Что в твоем сердце я — во тьме оконце:
Живому — жить; проснешься поутру
И взгляд невольно устремишь ты к солнцу,

А не туда, где бездна тьмы и где
Лежать я буду в тесной домовине.
Но в горечи, в печали и в беде,
Когда последний друг тебя покинет,
Когда отчаянье возьмет в кольцо огня,
Покажется, что все уже пропало, —
Подумаешь, да вспомнишь ты меня,
Того, кого живым не замечала...

* * *

Осенний лист не ведает того,
Что с ветром шуточки — не для него.
Ты слышишь, как мое трепещет сердце
Под стылым ветром взгляда твоего?..

Пригожий стих

Стих красивый вспыхнул, и на шаг
В сторону метнулся липкий мрак,
Побежали солнечные тени.
Но всего-то — только на мгновенье:
Стих красивый вспыхнул и сгорел,
Словно пересверк далеких молний, —
Никому он сердца не согрел,
И никто ни слова не запомнил.

Прощание

Зарю задули в облаках ветра.
Густеет мрак. Туман плывет по следу.
Настал наш час — прощаться нам пора.
Натешимся ж минутою последней!..

Вся наша жизнь — кружение в кольце,
Где сон и тот на грани запредельной.
Идем все время рядом, а в конце
У каждого свой путь, и он отдельный.

Проснемся — разошлись уже пути.
И горьким будет время пробужденья.
Прости меня, грехи мои прости,
А я скажу: «Не надо извинений».

Иди. Ищи утех. За сладость их плати
Мученьями, пока не смежишь веки.

Мы встретимся — на том, на том пути,
Где нас уже не разлучат вовеки...

* * *

Память сердца — источник страданий бездонный,
Где-то там бродит счастье мое бездомное.

Там звезда, догорая, песню осени спела
И ослепшее сердце вдруг кануло в пекло.

Душу рвет на куски боли острое жало —
Жаль звезды, что во мраке навечно пропала...

Вертер, Ева и Дон Жуан

Он сердце в ней искал —
Нашел холодный камень.
И зря пытаясь души их соединить,
Он каждый день
Держал пред ней экзамен —
На верность, на любовь, — ну как тут жить...

В аду хохочет, радуется дьявол:
Вновь Дон Жуан наставил Вертеру рога.
Библейский сад уже давно без яблок,
Но меньше ль искушенья и греха?..

* * *

По-над хатами, по-над гумнами
Ветер тучи опять распростер.
Что с порывами в сердце хмурыми
На пустынный глядишь простор?

Вновь куда ни кинь — и на выгоне,
И в полях — снег седой лежит.
Подожди: еще солнце выглянет.
Солнце выглянет — будем жить.

Сердцу дай своему успокоиться,
Отойти от нуды-пустоты.
Пусть и в страшных снах не припомнится
Темной ночью призрак беды.

Неоднажды, брат, тучи застили
Черной тенью наш долгий шлях.
Пусть сто раз были мы несчастливы,
Пусть чернобыльский в сердце страх,

Пусть рассчитано, что в недоле нам
Жить от века за годом год —
От рожденья простором вскормленный,
Невозможно сломить народ.

* * *

Не грусти, что отзвенело лето
И что снова осень сердце студит.
В нем светло, пока оно согрето
Теплотой твоей — пусть знают люди.

Вот иду я — в первый раз счастливый.
Ветер кружит листья на бульваре.
Есть любовь — желанна и красива, —
Никогда нас время не состарит.

Есть любовь, и ты живешь на свете —
Вся из света, как твои одежды.
На холодной — без Христа — планете
Есть в душе и храм свой, и надежда.

Перевод с белорусского Валерия ГРИШКОВЦА.





ЖАН Д'ОРМЕССОН

Бал на похоронах[*]

Роман

...Вот погребальный фургон поравнялся с Марго ван Гулип, словно превратившейся в статую, она протянула руку и дотронулась до него напряженными пальцами...

...Молодая женщина танцевала. На следующий же день по прибытии в Америку два молодчика с черными прилизанными волосами, которые начали ухаживать за ней еще на пакеботе, затащили ее в какой-то кабачок на Манхеттене (названия сейчас на кладбище я не мог вспомнить), и там она пробыла с ними почти всю ночь. Это место не отличалось утонченной элегантностью, как позднее «El Morocco» или «The Stork Club». Скорее что-то вроде ресторанчика или бакалейной лавки с пристройкой семейного бизнеса: в таких обычно завсегдатаи развлекались в своем кругу, без посторонних глаз. Вдоволь натанцевавшись под звуки оркестра, игравшего чарльстоны и модные джазовые песенки, посетители могли пройти в задние комнаты, где тайком были установлены игорные столы и где «среди своих» можно было хорошенько выпить.

Если не считать формальных дебатов между республиканцами и демократами, Америка в то время находилась под воздействием двух социальных явлений, обусловленных денежными интересами: запрет на употребление спиртного и крах на Уолстрит.

В «черный четверг» 24 октября 1929 года курс на американской бирже, взлетевший было вверх в результате истеричной спекуляции, внезапно резко упал. Это была огромная финансовая катастрофа, которая намного превзошла развал системы Ло, тот задел лишь тонкий привилегированный слой общества, или даже проблему русского долга.

Общество рушилось под гнетом собственного успеха, или того, что греческие трагики называли «бесстыдным удовлетворением», чрезмерной уверенностью в себе. Банкиры выбрасывались в окно, маклеры разорялись повсеместно; эти подземные толчки, передаваясь от одного к другому, охватили чуть ли не весь мир; богатые становились беднее или почти бедными, а бедные теряли работу и впадали в нищету. Этот финансовый крах 1929 года занимает второстепенное, но почетное место в длинном списке катастроф, которыми был отмечен двадцатый век. Мировые войны, «прогресс» средств уничтожения, человеконенавистнические идеологии, впрочем, так же, как и завоевания науки и техники, призывы к справедливости и миру, распространение телевидения и электроники, — все это говорило о том, что мир унифицируется и превращается в единое огромное предприятие. И царят в нем деньги...

В то время, когда Мэг появилась в Нью-Йорке, отзвуки этого краха еще ощущались, и особенно — в самих людях. Были затронуты их деньги, которые

[*]Продолжение. Начало в № 1, 2014 г.

для многих были самым дорогим в их жизни — дороже семьи, верований, традиций, религии, — и тогда люди переставали верить во что бы то ни было вообще...

«Сухой закон» — это было другое дело. С одной стороны, алкоголь все-таки более веселое дело, чем банковское; с другой — даже более трагическое: обвальное падение курса на Бирже дало все же меньше трупов (!), чем запрет на продажу и провоз спиртных напитков. К тому времени «сухой закон» действовал уже с десяток лет. В тот вечер, когда Мэг выплясывала как сумасшедшая со своими новыми приятелями, в воздухе уже витало предчувствие конца «сухого закона» и будущих бед, вызванных его последствиями. Сам этот запрет был признанием общества в своем бессилии, да в современном объединенном мире и невозможно противостоять силой изменениям в нравах и общественном сознании. А явным следствием «сухого закона» стал чудовищный расцвет американской мафии и усиление могущества древней и всегда новой профессии — гангстера.

Первая американская ночь Мэг была в разгаре, и молодая женщина постепенно забыла о своих недавних плосковолосых приятелях, которые ее сюда привели. Она переключилась на двух других, которых также поразила ее красота, они гораздо интереснее, они убрали с глаз долой ее приятелей, просто хлопнув их по плечу, и теперь забавно и трогательно ухаживают за ней. Они явно очень крепко связаны между собой, и это интригует молодую женщину. Одного зовут Мейер Лански — он еврей. Другой — Чарли Лючиано, но все зовут его Счастливчик. Он итальянец. Мэг, несмотря на свой молодой возраст, многое уже повидала. Она — кто угодно, но только не очаровательная идиотка. И вскоре она поняла главное про этих молодчиков, которые перехватили ее у двух раздосадованных попрыгунчиков, неспособных противостоять более сильным парням и дующихся сейчас в углу: что они ходят по краю закона, если уже и не по другую его сторону.

Они были не первыми, кто бросил вызов обществу, живущему под многозвездным флагом. Уже более двухсот лет живы легенды об американских гангстерах и о войнах между их группировками. На протяжении всего 19-го века «Разговорчивые парни», «Дохлые кролики», «Рассветные парни», «Заткни уродов», «Болотные ангелы», «Сорок воров» или «Белые руки» оспаривали друг у друга выгодные делишки, женщин, игру и жизненное пространство на мостовых американских городов. Постепенно на основе этносов — связи внутри них сохраняются на удивление прочными на этой земле иммигрантов — возникли три большие группировки, более живучие, чем прочие: ирландцы, евреи и итальянцы.

Согнанные с родины нищетой, кульминацией которой стал ужасающий голод 1845—1847 годов, ирландцы прижились здесь давно. Евреи, бежавшие от «pogroms» из Восточной Европы, появились здесь в массе к середине XIX-го века и поначалу чувствовали себя беззащитными перед итальянцами и особенно — перед ирландцами. Но постепенно они научились сражаться с ними на равных и отвечать ударом на удар. Они постепенно сменили свои «штетль», «лашуль», «бармицва» и чтение талмуда на бильярд и подпольные игровые залы. При этом язык пулеметов они зачастую подкрепляли библейскими притчами.

Итальянцы, как и ирландцы, издавна участвовали в гангстерских войнах, которые никогда не кончаются и подпитываются от самих себя. Это были бандиты «старого образца»: черный глаз, густые усы, ярко выраженный вкус к вендетте и символическим убийствам. Этот типаж прекрасно представлен в «Крестном отце». По аналогии с Питом-пистолетом — легендарной фигурой в истории Дикого Запада, — гангстеры-евреи презрительно окрестили таких «пит-длинный ус». Впрочем, нравится это или нет еврейским хозяевам криминального мира: клану Ротштейнов, являю-

щему собой гангстерского «предтечу», великого предка, этакого «Моисея» всей их криминальной истории, который вдохновил Скотта Фицджеральда на создание образа Мейера Вольфсхайма в «Великом Гетсби», и всем этим Лепке, Шапиро, Шульцам, Кохенам, Танненбаумам, но главенствуют на ниве подпольной преступности все же «усатые питы» — итальянцы. А начиная с 1926-го года они получили еще и неожиданное подкрепление. Муссолини, пришедший к власти в Риме в 1923 году, разгоняет «Почтенное сообщество» на Сицилии, «Ла Ндрагетта» в Калабрии и «Ла Каморра» в Неаполе. И начинает действовать пресловутый «эффект бабочки», по которому трепетание крыльев бабочки в дебрях лесов Амазонки неизбежно должно вызвать тайфун в Японии на другом конце света. Так, изгнанные из пределов Неаполя и Кастелламаре, из деревень Сицилии и знаменитого Корлеоне, гении организованной преступности высаживаются на Манхеттене.

У любой банды есть два врага: полиция и другие банды, поэтому сражение ведется на два фронта. И война между соперничающими группировками иногда бывает более жестокой, чем борьба с силами порядка. В случае с итальянскими «усатыми питами» ситуация была еще сложнее: на их «разборки» с евреями и ирландцами накладывалось еще и внутреннее соперничество между их собственными группировками...

Итальянская преступная среда строго иерархична. Несколько семей возглавляются своим «capo» («головой»), а на верхушке всей «пирамиды» стоит «capo di tutti capi» («всем головам голова»). Им долгое время был Джо Массера. Его застывший ледяной взгляд не был столь впечатляющим, как у Марлона Брандо в той же роли, да и рост у него был 1 метр 60 сантиметров, а особым его шиком было умение как раз-таки избегать пуль, а не подставляться под них. При всем при этом, избавившись сначала от врагов, а потом — и от друзей, он стал Джо-Боссом.

Когда прихлынула новая волна криминальных авторитетов, изгнанных дуче, звезда Джо-Босса закатилась. Новоприбывший Сальваторе Маранцано в окружении сотни бесстрашных молодцов, которым нечего было терять, поскольку у них ничего и не было, к тому же вооруженных до зубов «на всякий случай», заявляет свои претензии на господство. Между бандами вспыхивает жестокая война. Люди валятся, как кегли: десять, двадцать, пятьдесят и более «бойцов» всего за несколько месяцев. Массера расправился со своими соперниками, а Маранцано, в свою очередь, вскоре расправится с Массерой.

...Итак, посреди Нью-Йорка времен «сухого закона» и финансового кризиса, в кабацком рассвете, среди шума оркестра, собирающего свои инструменты, среди игроков, не держащихся на ногах, и монетных автоматов, Мейер Лански и Чарли Лючиано нашептывают свои бандитские волшебные сказки на ухо молодой женщине, забавляясь ее изумлением и испугом, возможно, наигранными...

Лански и Лючиано — близкие приятели. Оскорбить одного — значит оскорбить другого. Они связаны друг с другом уже давно. Лет двадцать назад, почти в начале века, Мейер, тощий еврейский подросток, иммигрант-новичок, брел в одиночестве по заснеженной нью-йоркской улочке. Он ни о чем не думал, он мечтал. Жизнь пока не баловала маленького еврея, блуждавшего по обетованной земле денег и борьбы за выживание. Подняв глаза, он вдруг обнаружил, что окружен бандой молодых итальянцев, главарь которых на лет пять-шесть старше его.

— Привет, жиденок! — сказал главарь.

— Привет! — процедил Мейер сквозь зубы.

— А ты не боишься, дурья твоя башка, гулять в одиночку по улицам большого города?

Мейер не отвечал. Он молчал, опустив глаза.

— Ты явно нуждаешься в покровительстве, жиденок. С тебя — пятьсот в неделю. Такая такса. Гони монету — да еще аванс за месяц вперед.

— Иди-ка ты — знаешь куда? — Мейер посмотрел ему прямо в глаза. — А свое покровительство можешь заткнуть себе в задницу.

Главарем этих «усатых питов» и был Чарли Лючиано. Дерзость «жиденка» его восхитила. Вместо того чтобы распотрошить один другого, как того требовали «правила хорошего тона», они стали лучшими друзьями. Будучи выходцами из разных миров — можно сказать, противоположных, — они сделались кровными братьями.

В то время в этой стране национальная и религиозная принадлежность, как в нелегальных низах, так, в равной степени, и в самых изысканных верхах общества, были еще больным вопросом, так что такой подход к делу был огромным прогрессом. Когда Арнольд Ротштейн — тот самый легендарный праотец еврейского клана — развернул широкую кампанию против «сухого закона», Мейер Лански и Чарли Лючиано уже вовсю трудились рука об руку на еврейского гангстерского патрона. Это была целая криминальная эпопея — поход за бандитской «чашей Грааля». Как рассказывает Рич Коэн в своей «Yiddish Connection», Лански познакомился с Ротштейном благодаря «бармицве». Затем он привлек и своего друга Чарли к «военным операциям» и охране грузовиков, перевозивших запрещенное виски: шофер впереди, эскорт из двух вооруженных парней сзади, как в фильмах Джона Форда, только противниками здесь были не индейцы, и не было юной красавицы, влюбленной в героя или уже рожающей, а роль дилижанса с шестью лошадьми выполнял бронированный фургон.

Для чего нужна была столь впечатляющая «военная мощь»? Конечно, против полиции, но даже в большей степени — против других банд. Когда неведомо откуда возникали ночные пираты с платками на лицах и налетали на грузовики. Ну не обращаться же было к полиции, либо тщательно обойденной, либо подкупленной огромными деньгами. Надежнее было защищаться самим, организовать собственную «полицию». Так, в компании с другими живописными персонажами, падавшими один за другим под ударами конкурентов, Лански и Лючиано совершенствовались в своем ремесле и казались непотопляемыми.

...Мэг с наслаждением слушает эти кровавые истории, которые так запросто рассказывают ей новые друзья. Они нисколько не скрываются, даже посмеиваются и при этом выглядят так, будто они обычные кассиры, слесари, адвокаты или скрипачи и рассказывают о своем обычном рабочем дне. И перед Мэг открывается новый мир, его странность и неистовство ей даже нравятся. Когда они вспоминают историю с тысячами бутылок виски, сброшенных канадским производителем в озеро Эри или Онтарио, а затем прибитых течением к американскому берегу и выловленных «бутлеггерами», кстати, таково происхождение известной и респектабельной марки «Seagram», она находит ее страшно забавной.

Мэг рассматривает обоих. Красивыми их не назовешь, и одеты они с подчеркнутой тщательностью, весьма далекой от элегантности дома Шанель. Они не отличаются тем мужским шармом, который так впечатляет ее в повседневной жизни и на экране. В них поражает другое: они ходят по краю смерти, живут в ожидании ее и шутят: они словно играют со смертью, которая подстерегает их повсюду... И при этом такой избыток жизненной силы!..

...Я тоже сейчас рассматриваю ее. Я знаю о ней лишь то, что рассказали мне Ромен и она сама. Кумир Бешира, манекен Шанель, подруга Чарли Лючиано, красавица с Патмоса, теперешняя Королева Марго, погруженная

в воспоминания о Ромене, — и все это один человек. Как они могут сочетаться? Я уж не говорю о тех тайнах, которые она еще хранит в себе. Как будто рассеянные во времени разные ее существования накладываются одно на другое под ее именем, точнее, под именами, потому что они тоже менялись. Человеческие существа так же непостоянны и разнообразны, как облака в небе, изменяющиеся и исчезающие. Только для собственного удобства мы считаем их однообразными и законченными. Они не выступают в некоем постоянном качестве. Их невозможно свести к одной формуле. И они не вечны. Уносимые временем, подверженные страстям, которые сами же и порождают, они реально существуют только в настоящий момент. Можно восстановить их прошлое, но никто не может предсказать их будущее. В этом нищета психологии: мы можем лишь кое-что констатировать о другом человеке...

— А тот коротышка, Массера... — спросила Мэг, — Джо-Босс, — это вы его убили?

— Я? — возразил Лючиано смеясь. — Ну что вы, я просто позавтракал с ним.

На самом деле все так и было. Война бушевала вовсю между людьми Массеры и людьми Маранцано. Лански старался оберегать Лючиано, который, с тех пор как работал на Ротштейна, уже однажды имел большие неприятности. Как-то ночью, когда он выгружал партию виски или наркотиков, четыре наглых типа с прикрытыми платками лицами силой усадили его в автомобиль и увезли «прокатиться». «Прокатиться в автомобиле» на языке Америки конца двадцатых — начала тридцатых годов означало одно: взять билет в иной мир с помощью ангелов-хранителей, не желающих вам добра. В результате этой прогулки Чарли Лючиано, измолоченный дубинками и рукоятками пистолетов, с перерезанным осколком стекла горлом, с опухолью вместо лица был выброшен из машины и оставлен «доходить». Он как-то выкарабкался и получил у подельников прозвище «Счастливчик Лючиано».

Война между итальянцами возмущала Лючиано.

— Какое дурацкое месиво! — восклицал он. — Так дорого обходится, а извлекают пользу и радуются только копы...

— Успокойся, — говорил ему Мейер. — Дождемся, когда они все друг друга перережут. А потом власть будет наша.

Одним прекрасным весенним утром, устав дожидаться, Счастливчик Лючиано отправился навестить Маранцано, всегда окруженного телохранителями, как какой-нибудь Панчо Вилья или Сапата, в его контору на Парк-авеню, где тот вынашивал и скрывал до времени свои планы. О чем они там говорили — знали только они сами и Мейер Лански. Через несколько дней после этой встречи Лючиано пригласил Массеру позавтракать в итальянской траттории на Кони-айленд. Джо-Босс приглашение принял.

— А сейчас в этой траттории можно пообедать? — спросила Мэг со смешком.

— Конечно, — отвечал Лючиано. — Она никуда не делась. Завтра вечером я свожу вас туда.

...Меня охватило беспокойство, правда сильно запоздалое и с оттенком иронии. И как это я осмелился тогда на Патмосе, пятнадцатью годами позже, на дороге, шедшей вдоль моря, поцеловать женщину, которую сам Счастливчик Лючиано повел в тот вечер в тратторию «Скарпато» на Кони-айленд? Я смотрел на Марго. Она была той молодой женщиной со Счастливчиком Лючиано; она была той молодой женщиной со мной на Патмосе. Сейчас в ней не осталось ничего из того, что было. Она была

той же, но стала совсем другой. Сейчас она опиралась на Бешира... Да, жизнь — жестокая штука: словно само время протекло сквозь нас. Или мы прошли сквозь время. Что-то темное и непонятное переносило нас из Каира на Кони-айленд, затем на Патмос и вот теперь — на кладбище, где проплывали перед нашим взором воспоминания о Ромене и его останки... У меня даже немного закружилась голова...

...Они позавтракали вместе: «capo di tutti capi» и Счастливчик Лючиано поели «спагетти алле вонголе», «вителло тоннато» и запили «кьянти». После «эспрессо», перед «граппа», они начали партию в покер. Без двух минут три Счастливчик Лючиано по срочной надобности отлучился в туалет. В три часа и сорок секунд двери ресторана разлетелись вдребезги, четверо или пятеро вооруженных вломились в тратторию, открыли плотный огонь и изрешетили пулями «capo di tutti capi». Тело Массеры взлетело в воздух, как тряпичная кукла, и тяжело шлепнулось на стол, продолжая сжимать в выставленной руке карту. Ее фотографию дали назавтра все газеты: это был бубновый туз...

Чарли объяснил Мэг, что в то время у гангстеров Америки бубновый туз, как пиковая дама у Пушкина, был знаком смерти. Получить с утренней почтой или из рук неизвестного, который задел вас на улице или постучал в вашу дверь, конверт, или пакет, или даже букет цветов, где был бубновый туз, — было уведомлением о том, что вас приглашают «прокатиться в автомобиле».

— Наша жизнь заключается в том, — пояснял Чарли, а Мейер подтверждал, — что мы постоянно ждем. А чего мы ждем? Предательства и смерти. Мы приходим в дело через предательство и погибаем через предательство. Важно только успеть предать раньше, чем предадут тебя. То есть убить прежде, чем убьют тебя. Надо упредить удар других. Поэтому наводчик, стукач, раздающий в игре, и еще принцип равновесия сил имеют такое значение в нашем деле. Стукач стремится предупредить полицию или соперничающую банду, а тот, кого «закладывают», старается перехватить стукача прежде, чем тот выйдет на нужный контакт. Это кросс без финиша, игра в прятки на краю смерти...

— Случается, что установившееся равновесие сил колеблется. Бывает, что одни его защищают, а другие его нарушают. Иногда мы спасаем противника или даже полицейского высокого ранга, которого какое-нибудь ничтожество хочет убрать из личной мести. Если мы находим, что игра не стоит свеч и нарушение установившегося порядка слишком опасно для всех, мы можем даже стать на сторону копов и сами убрать виновника возмущений и беспорядка. Такой случай был. И еще не раз будет...

— В определенном смысле мы являемся гарантами справедливости и порядка. Люди нас опасаются, но они же и обращаются к нам. Мы, конечно, берем некоторое вознаграждение. И придаем немного живости слишком прямолинейному ходу шестерен администрации.

— Стрельбой из автоматов? — уточнила Мэг.

— Стрельбой из автоматов, — подтвердил Лючиано. — В самом обществе ведь много скрытого насилия. А мы отвечаем на него насилием открытым. Мы взрываем общественные барьеры. Как вы думаете, почему мы выживаем? Потому что люди нас боятся, но и любят даже те, кто нас ненавидит. Мы помогаем более слабым противостоять более сильным. В их глазах, особенно детей, мы выглядим скорее героями, чем отщепенцами...

— А риск, мстя за слабых, мы берем на себя. Ведь мы никогда не знаем, чем кончится наше вечное ожидание. Когда утром нам стучат в дверь или в окно, мы прыжком хватаем ружья: это может быть полиция; это могут быть враги; это могут быть друзья, обернувшиеся врагами; это могут быть

враги, которые в этой мешанине превратились в друзей. И не исключено даже, что это друзья, оставшиеся друзьями...

— Значит, вы друзья? — Мэг переводила указательный палец с одного на другого.

— Да, — сказал Мейер Лански, — мы друзья.

— Вы друг друга не предаете?

— Нет, мы друг друга не предаем, — сказал Лючиано.

— И вы никогда не расстаетесь?

— Нет, мы расстаемся, конечно, — сказал Мейер. — Я, видите ли, еврей, а он — итальянец. Это не одно и то же.

— Но вы думаете одинаково?

Они посмотрели друг на друга и принялись смеяться.

— Послушайте, — сказал Лючиано, — он правильно вам сказал: я — итальянец, а он — еврей.

— Мы в одной лодке, — пояснил Лански, — и путь у нас один. И мы крепко держимся за руки. Но пункт прибытия у нас — не один и тот же. У итальянцев — одна идея: передать дело и власть своим детям. Для этого они создали систему семей с «capi» во главе. Они феодалы. Мы же, евреи, мечтаем о другом: вплавиться в толщу Америки. Мы — карьеристы.

— Итальянцы чуждаются общественной системы и стремятся прочно обосноваться лишь на ее окраинах, их «Почтенное сообщество» подпольно сосуществует параллельно с гражданским обществом. Для нас же подпольное существование — не выход, оно — скорее средство, путь к цели. Скажем откровенно: сын итальянского гангстера мечтает стать «capo», а сын еврейского гангстера мечтает стать адвокатом. Оба предпочитают обходной маневр, но один хочет остаться снаружи, а другой хочет войти внутрь.

— А теперь, — спросила Мэг у Лючиано, — вы работаете с другим... с этим... Маранцано? Вы его правая рука, что ли?

Лючиано и Лански опять посмотрели друг на друга и рассмеялись.

— Да, — сказал Лючиано, — я был его правой рукой. Это был великолепный организатор. К сожалению, его больше нет.

— Больше нет? — переспросила Мэг.

— Нет, — подтвердил Лючиано.

— Послушайте, — сказал Лански Мэг, — вы восхитительны, очень симпатичны, даже не глупы; уже четыре часа утра; мы вам рассказываем вещи, о которых не говорили ни одной живой душе, но мы вас не знаем. Может быть, вас подослала полиция, или прокурор, или какой-нибудь плохой мальчик, который имеет на нас зуб. Или вы — одна из этих шлюх-журналисток, собирающих информацию для своей статьи... Заметьте, наши рассказы, которыми мы имеем удовольствие вас развлекать, ничего нового миру не откроют: все это уже известно. Но не рассчитывайте: если у вас красивый носик и груди, о которых мечтает любой мужчина, это не значит, что мы готовы выложить вам все свои секреты до последнего...

— А если бы я воспользовалась тем, что вы мне рассказали, — спросила Мэг с несколько принужденным смехом, — что бы случилось?

— О! — воскликнул Чарли небрежным тоном и с вкрадчивой улыбкой. — Вы так очаровательны, что вас всего лишь нашли бы в реке с цементными ботинками на ногах!

Правда заключалась в том, что Маранцано, особенно в сравнении с отсталым и ограниченным Массерой, был гением организованной преступности. Он объединил вокруг себя вожаков преступного мира всего города и принялся перестраивать свою среду обитания. Это он заложил основы разделения всей бандитской верхушки на пять семейств — вскоре шесть, — представлявших собой военизированные объединения со своим «capo» во главе каждого из них. Это были семьи Анастазио, Лючезе, Про-

фачи, Боннано и Лючиано. Здесь прямо-таки напрашивается сравнение с Фридрихом II, издавшим уложения Мэлфи, или с императором Наполеоном, раздававшим герцогства и княжества генералам из своего окружения. Разница между этими системами лишь в благополучии и длительности существования: в отличие от наполеоновской, основная схема гангстерской империи сохранилась до сих пор, даже при значительно увеличившемся числе семей. Единственное, в чем Сальваторе Маранцано последовал за Массерой, — это было назначение себя «capo di tutti capi».

Это была серьезная ошибка с его стороны, но он пошел на это сознательно. Целью жизни Маранцано была власть, вся власть. Он решил уничтожить всех, кто ему мешал, как Массера уничтожил всех своих соперников и как он сам уничтожил Массеру; первым же кандидатом на уничтожение стал Лючиано, который послужил ему, но теперь представлял для него угрозу.

Через пять лет после убийства Массеры — это было за год или полтора до прибытия Мэг в Нью-Йорк — Маранцано пригласил Чарли Лючиано с двумя его друзьями, Костелло и Джиновезе, в свою штаб-квартиру, напичканную вооруженными охранниками и снайперами. Лючиано опасался принять это приглашение и тут же проконсультировался у Мейера Лански. Лански же незадолго до этого получил информацию: в Чикаго нависла угроза над Аль-Капоне, который устроил бойню своим соперникам во время печально знаменитой ночи Святого Валентина. При сопоставлении этих фактов явно напрашивался вывод: Маранцано затеял операцию по генеральной зачистке. Когда же Лючиано и Лански узнали от своих платных осведомителей, что их соперником был недавно нанят ирландский гангстер с неизвестной целью, но вполне возможно, чтобы убрать их, они решили опередить Маранцано и убрать того, кто хотел убрать их.

Дело не было простым. Новый «capo di tutti capi» окопался в своей штаб-квартире, как в бункере. Его охраняли люди, которые умели мгновенно нажимать на спусковой крючок и которым он полностью доверял. Вот тогда-то и оказался плодотворным альянс между евреями Мейера Лански и итальянцами Лючиано. Лански быстро сообразил, что «усатые питы» должны были оставаться вне игры: охранники Маранцано знали в лицо всех итальянских гангстеров. Чтобы убрать «capo di tutti capi», Лански и Лючиано наняли еврейских гангстеров, чьи лица ни о чем не говорили людям Маранцано.

Однако тут же возникли новые проблемы. Нападение на штаб-квартиру главного «капо» было назначено на субботу — день, когда охрана Маранцано была менее многочисленной и предположительно менее внимательной, чем обычно. Но большинство киллеров, нанятых Лански, были ортодоксальными евреями и отказывались работать в святой день. Нужно было назначить другую дату.

В день операции — это не была суббота — люди Мейера, все евреи, явились на место операции, выдавая себя за агентов федеральной полиции, проводящих свой обычный рейд. Они предъявили удостоверения, приставили охранников к стене — как это обычно делают федералы, — вошли в кабинет Маранцано и аккуратно расстреляли его из пистолетов с глушителями, чтобы спокойнее ретироваться.

Во время отхода они несколько раз ошибались дорогой и даже очутились в дамском туалете, а когда пустились бежать, то столкнулись носом к носу с бандитом-ирландцем, нанятым Маранцано для проведения «большой стирки». Ирландец остолбенело смотрел на запыхавшихся типов, пролетавших мимо него.

— Смывайся! — бросили они ему на бегу. — Там полиция!

Лючиано и Лански не стали повторять фатальной ошибки Маранцано. Унаследовав его принципы, они сделали их более демократичными.

Должность главного «саро» была упразднена. Евреи и итальянцы, а также ирландцы — все работали теперь вместе. Вся система управлялась чем-то вроде административного совета, куда входили все главари преступного мира, кланы Анастазио и Костелло, наследники дела Арнольда Ротштейна и, конечно, Лючиано и Лански.

...По прошествии многих лет, после множества авантюр, к которым Мэг — якобы далекая от всех этих событий — имела все же непосредственное отношение, Лючиано и Лански умерли в собственных постелях — редчайшее исключение среди людей их профессии. Благодаря им и «американской помощи», сицилийская мафия вскоре отвоевала, и с лихвой, свои прежние позиции, поколебленные Муссолини. Целый пласт послевоенной истории Италии, да и всей Европы, будет связан с их деятельностью...

Когда Мэг встретила их обоих на следующий день своего появления в Нью-Йорке, они были еще в расцвете сил и фонтанировали прожектами: недавно избавившись от Сальваторе Маранцано, он закладывали основы демократической власти преступного мира. Они создают структуру «преступного синдиката» и управляют криминальной верхушкой. Вскоре журналисты, жадные до всего нового и сенсационного, изобретут по этому поводу формулу, способную поразить воображение: «корпорация убийц», или даже короче и лучше — «Murder Inc.»

Та ночь в нью-йоркском кабачке вскружила голову Мэг. Несколько последующих лет она проведет со Счастливчиком Лючиано, перемежая их с отлучками, путешествиями, возвращениями во Францию, иными авантюрами. Не исключено, что — и с Мейером Лански. Я не знаю всего о ее тогдашней жизни, и я совсем не уверен, что теперешняя Марго ван Гулип — она сейчас тихо обменивалась несколькими фразами с герцогиней де Меркер и генералом Симоном Дьелефи, великим канцлером Почетного Легиона, — что она сама хотела бы помнить все, что было в ее жизни.

Похоронный фургон остановился посреди застывшей толпы. Бешир бросился к нему. Люди в черном открыли заднюю дверцу и спустили на землю гроб с Роменом. Бешир помогал им...

...Бешир вновь занял свой пост в бункере, у дверей комнаты, где фюрер завтракал. Повариха Гитлера, которая не раз видела его на посту и даже заговаривала с ним, принесла ему тарелку мяса и стакан пива. Время шло... Бешир, почти не спавший уже несколько ночей, чувствовал, как сонное оцепенение охватывает его. Он принимался шагать взад-вперед по узкому коридору бункера, затем вновь занимал пост у дверей фюрера. После нескольких беспокойных дней и свадебной церемонии в бункере царило затишье, даже давящее. Генералы и высшее офицерство куда-то исчезли, не было видно Геббельса, никто больше не собирался в «зале карт».

И вдруг тишина взорвалась. Из апартаментов Гитлера вылетело несколько секретарей, кое-кто рыдал во весь голос: фюрер попрощался с ними и расцеловал. Их сопровождали два или три человека — этих Бешир не знал. Они прошли мимо него не говоря ни слова.

До коридора донесся приглушенный звук двух выстрелов. Менее изощренное ухо могло их даже не расслышать. Но за спиной у Бешира был уже колоссальный опыт — добрых десять тысяч часов — обращения с огнестрельным оружием. Он сразу понял, что в апартаментах Гитлера кто-то стрелял. Он бросился в дверь и столкнулся с выскочившим оттуда Линге. Тот кричал что-то, чего Бешир не мог разобрать. Но Линге выкрикивал одно и тоже, и Бешир, наконец, понял:

— Фюрер застрелился! Фюрер застрелился! Фюрер застрелился!

Адольфу Гитлеру, только что отметившему среди развалин столицы рейха свое 55-летие, исполнилось всего 55 лет и десять дней. Но за собой в могилу он тащил и весь свой народ... Беширу показалось даже, что за ужасом и тоской комнатного слуги сквозила тень облегчения... Напряжение в «блокхаусе» становилось уже нестерпимым — и вот оно мгновенно разрядилось. В тоске, фатализме и покорности судьбе все же наконец наступало будущее, и его приход был ознаменован этой самой смертью фюрера...

Мгновенно собралась небольшая толпа. Людей было почти столько же, как на свадьбе фюрера. Неужели все они прятались в щелях бункера? Люди толкались, хотели увидеть, что произошло. Они увлекли Бешира за собой в комнату фюрера.

Всего сорок восемь часов отделяли свадьбу двух любовников от смерти двух супругов. Там, наверху, город уже не существовал. Здесь, внизу, никто ничего не знал о своих семьях или любимых. Все чувства обитателей этого подземного мира были на грани истощения. Они были в состоянии только признать, что неизбежное наконец произошло. Они уже давно знали то, о чем боялись даже подумать. Мир шатался, и исчезновение этого человека окончательно срывало покров со всей той картины ужасов, которая теперь обнажалась в полной мере...

Два тела — Гитлера и Евы Браун — вытянулись на кровати. Рука диктатора и голова Евы почти касались пола. На полу валялся пистолет. Бешир узнал его сразу: это был его «вальтер» 7.65...

...Толпа сгрудилась вокруг гроба Ромена, установленного на подставке. По традиции, уходящей в далекое прошлое, мы зарываем мертвых в землю. Это данность, которую мы уже в течение многих веков не ставим под сомнение, как и многое другое. Идея хоронить покойников как-либо иначе кажется чудовищной многим ныне живущим. Мы мыслим так же, как Антигона, дочь Эдипа и Иокасты, у Софокла: ее глубоко оскорбил Креон, который, из политических побуждений, отказывался похоронить ее брата Полиника. Знаменитый спор между Антигоной и Креоном — этот образец дискуссии на философские и моральные темы — ведется вокруг одного-единственного пункта — захоронения мертвого тела. В ходе своей краткой истории человечество знало разные решения этой проблемы: мертвых сжигали, бросали в море, оставляли на вершинах башен, бросали диким зверям, заполняли ароматными веществами и заспиртовывали — все эти способы использовались поочередно, в явных или скрытых целях, с отчаянием или надеждой, но всегда — с ощущением времени и космоса над собой...

Великое дело всей жизни — смерть. Жизнь — это несколько лет. Смерть — это навсегда. Наше рождение не зависит от нас, а вот смерть — она нам принадлежит. Она завершает нашу жизнь и определяет ее смысл...

Ромен все поставил на жизнь. И преуспел в ней. Он не хотел ничего другого и не надеялся ни на что другое. И вот смерть настигла его. Жизнь берет свое, но и смерть берет свое, и, какой бы ни была жизнь, она всегда оканчивается смертью. Поэтому так хочется знать ответ на этот вопрос: если смерть — это последнее слово жизни, то является ли она последним словом вообще? Ромен верил в это изо всех сил...

...Я вспомнил одну лыжную прогулку в Северных Альпах, между Францией, Италией и Швейцарией, шесть или семь дней, которые я провел в компании Марины и Ромена. Это была середина весны; было еще холодно, но уже очень красиво. Сурки начинали высовывать носы из норок, в которых провели зиму. Повсюду пробивались ручейки и прокладывали себе дорогу сквозь снег и лед. Тишину нарушало только их журчание на

камнях да пение нескольких птичек. Наша лыжня пролегала иногда среди крокусов и примул, которые уже начинали пробиваться из-под снега. Ромен умел все, или почти все, и катался он тоже очень хорошо. Марина, долгое время прожившая в горах Швейцарии, была сама элегантность среди снегов, впрочем, как и в любой другой обстановке. Мы ночевали в курортных домиках, еще пустых в это время года. Уже три-четыре дня мы не видели никого из посторонних. Солнце сверкало в безоблачном небе, и в этом блеске растворялись все темные стороны жизни. Не стало прошлого, не было будущего — все было лучезарным настоящим, и это было счастье...

Как-то вечером мы обратили внимание на несколько домиков, стоявших на отшибе. Мы устали и остановились, чтобы передохнуть и полюбоваться солнцем, садившимся за высокие горы. Горный пейзаж был прекрасен и показался мне знакомым. Я вспомнил, что уже бывал здесь несколько лет назад. Я рассказал Марине и Ромену, что зимой из-за глубокого снега дороги здесь становились непроходимыми, и всякое сообщение с внешним миром прерывалось. Поэтому тела тех жителей, кому довелось умереть здесь поздней осенью или зимой, укладывали на террасы — мы могли различить вдали такие террасы на крышах домов. Там, в холоде, покойники дожидались конца зимы. С приходом весны и таянием снегов, тела спускали вниз и относили хоронить на деревенское кладбище.

Этот рассказ понравился Марине: она нашла его очень романтичным. А Ромен проворчал, бравируя:

— Хорошенькое дело! Можно было бы просто сварить их или разрезать на куски. Это не имеет никакого значения. Для них в том числе.

Марина возмущенно вскрикнула...

...И вот теперь мы хоронили его. Ему было все равно. А нам — нет. Мы отказались от военных почестей, от церемонии в Инвалидах, от речей. Мы отказались даже от трехцветного флага и ордена Освобождения на алой подушечке. Был только деревянный гроб и печаль тех, чья жизнь пересеклась однажды с его жизнью и стала от этого хотя бы немного красивее...

...Он был самым молодым из тех французов, которые бросили свое «нет» поражению и оккупации своей родины. Как давно это было!.. Когда он прибыл в Лондон с Симоном Дьелефи после их морской эскапады, французов там было немного. И немало тех, кто прибыл туда раньше, как Моран, стремились, наоборот, вернуться во Францию. Это было время, когда Де Голль объявил ста двадцати четырем французам, прибывшим на пяти кораблях с острова Сейн, чтобы продолжать борьбу вместе с ним: «Вы — четверть Франции», — в этих словах были и слава, и позор...

Именно потому что его сторонники были так немногочисленны, наши юные добровольцы, прибывшие в июне 1940-го, имели верный шанс встретиться с самим Де Голлем или, в его отсутствие, с одним из его ближайших сподвижников. Они отправились по адресу, указанному им английским офицером — площадь Сеймор, 6, — и были приняты там секретарем, только что приступившим к своим обязанностям, ее звали Элизабет. Она отвела их к лейтенанту де Курселю.

Лейтенант де Курсель оказался человеком высоким, сдержанным уже немного на английский манер. Он был мужественен и везуч: прибыл в Лондон в одном самолете с самим Генералом. Он принял двух юношей торопливо, но при этом с той же обходительностью и сердечностью, с которой он встречал тех редких политических деятелей и офицеров высшего ранга, которые решались присоединиться к Де Голлю. Симон сразу объявил ему, что одна только мысль о том, чтобы остаться во Франции и бездействовать, была ему нестерпима. Затем Курсель обратился к Ромену:

— А вы? — спросил он улыбаясь.

— А я, — ответил Ромен, — поставил на орла или решку.

Курсель пересказал его слова Де Голлю. Через несколько дней, 14 июля, вместе с моряками острова Сейн и некоторыми другими, Ромен был представлен де Голлю.

— А, это вы, Короткая Соломинка [имеется в виду вытянутый жребий — примеч. перев.], — сказал ему Генерал. — Поздравляю вас и примите мои наилучшие пожелания.

Эта кличка закрепилась. Я видел у Ромена фотографию Генерала, подписанную его рукой: «Ромену Короткой Соломинке, самому молодому из свободных французов, моему товарищу с первых дней — самых трудных и самых прекрасных — в доказательство уважения и симпатии. Шарль Де Голль».

Юный Ромен, как умеющий читать и писать, был отправлен в офис, где занимался оформлением бумаг. Не прошло и двух недель как он осатанел от этой работы. У него было одно большое преимущество: он говорил по-английски. Он встретился с высоким журналистом по имени Ив Морван, который избрал себе прозвище Жан Моряк. Этот Жан Моряк доверил ему работу на «Би-Би-Си», откуда Де Голль обращался с призывами к миру. Это было уже получше: Ромен корректировал тексты, подбирал материалы для Мориса Шуманна или Жана Оберле, которые организовали трансляцию передач «Французы говорят с Францией». Под яростными бомбардировками, предпринятыми Герингом летом и осенью 1940-го, чтобы поставить на колени Англию, среди горящих церквей, среди случайных прикрытий, под которыми горстка любителей виски и игроков в крикет спасала честь воюющего мира, Ромен интересовался главным образом некоей Молли, ее светлые волосы были так аккуратно собраны в узел на затылке, и вся она была такой свежей и кругленькой в своей облегающей униформе...

Они любили друг друга ночью, среди пожаров, в вое сирен; они прогуливались на заре, среди ночных развалин. Ромен чувствовал себя безумно счастливым. Он любил Де Голля, такого бедного и великого. Он любил англичан, которые все были героями, единственными героями на то время. Он любил Черчилля, речи которого знал наизусть, и часто повторял его слова: «Я могу предложить миру только свою кровь, труды, слезы и пот» или «Муссолини? Но это же просто карнавальный шут!» Но особенно он любил Молли, ведь было ему всего лишь чуть более шестнадцати лет, и находился он в Англии, осажденной, но не сдающейся...

Однако эта чудесная жизнь, которую он вел в самом сердце мировой катастрофы, в центре циклона — как в венецианской гондоле в бурю или во дворце «Тысячи и одной ночи», осажденном джиннами, — эта жизнь вовсе не соответствовала его представлениям о войне и, главное, о самом себе. В войне, которую вела Англия, он лично почти не принимал участия. И он опять обратился к Курселю, который, перейдя в «St. Stephen's House» — довольно грязное старое здание в двух шагах от Уайтхолла, на набережной Темзы, — расположился теперь в Карлтон Гарденс.

Ромен всегда добивался того, чего хотел. Его юношеское обаяние сработало даже в горящем Лондоне. Курсель снова принял его.

— Я умею водить самолет, — заявил Ромен.

— И сколько же вам лет? — мягко спросил Курсель.

— Семнадцать, — объявил Ромен.

— И вы уже умеете... — чуть не задохнулся от изумления Курсель.

— Да, — подтвердил Ромен.

Так он оказался на базе военно-воздушных сил, где ему доверили складывать парашюты. Занимаясь этим, он повторял про себя по-английски: «Никогда столь многие не были обязаны столь многим тем, кого так мало». Через год он уже был в Сирии, вместе с Андре Швейцером, под командованием Катру и Лежентийома, которые одерживали победы над

Денцем, поддерживавшим правительство Виши. Под «джебелем» Дрюзе шла ожесточенная перестрелка между французами и англичанами. Ромен с великим удовольствием присутствовал при передаче письма Де Голля британскому командованию: «Я не претендую на победу над всей Британской империей, но если вы не уйдете с позиций к полудню завтрашнего дня, то я атакую вас со своей полубригадой». Тогда же начало формироваться то, что впоследствии будет названо эскадрильей «Нормандия-Неман». Ромен проводил все свое время копаясь в самолетах. Пилоты и механики приняли как своего этого юношу, чье неизменно ровное настроение так благотворно действовало на окружающих.

Однажды Ромен прогуливался вместе с летчиками среди холмов неподалеку от Алеппо: там есть раннехристианская базилика с замечательными абсидой и куполом, хранящая память о святом Симеоне Столпнике, который провел тридцать семь лет на столпе, засыпая обличительными посланиями великих мира сего, и там, среди руин нартекса, его нашел лейтенант, только что прибывший из Англии. У лейтенанта было для него письмо. В письме сообщалось, что Молли была убита разрывом бомбы, упавшей на школу, из которой она эвакуировала детей...

...Мы стояли в молчании вокруг тела Ромена. Не было речей, потому что он не хотел их. Он уходил от нас, как бы незаметно стираясь, — такова была его воля. Ему оставалось быть среди нас совсем недолго. Конечно, некоторые из нас молились. За него. За спасение его души, в которую он не верил. И еще молились за себя. Иные старались вспомнить его живые черты, свои встречи с ним и разговоры. Иные же и вовсе думали о чем-то постороннем: о делах, любовных связях, назначенных на сегодня встречах или вовсе ни о чем. И все же многие были опечалены, и лишь некоторые скучали...

С другой стороны гроба, погруженные в свои мысли, стояли Жерар, Бешир, Ле Кименек, великий канцлер Почетного Легиона, Виктор Лацло, Альбен Цвингли, Андре Швейцер и его сестра Франсуаза Полякова. Стояли неподвижно и молча. Альбен плакал. Франсуаза — тоже. Я представил себе, какие слова все они могли бы найти, чтобы сказать о Ромене. Каждый из них сказал бы о своем. И я сказал бы о своем. И в этих разных воспоминаниях вместе взятых был бы весь Ромен...

Я, кажется, уже говорил, что мне случалось ненавидеть его. И что я любил его. Это бывало поочередно, а иногда — одновременно. Но он никогда не был мне безразличен — это точно. А теперь мне его не хватало, и жизнь без него представлялась пустой и тусклой. Он словно воплощал собою жизнь. Во всех жизненных испытаниях, печалях, даже в мыслях о самоубийстве нас спасает только любовь к жизни. И Ромен умел любить ее больше чем кто-либо.

Я мог бы сказать это над его гробом: что мне его очень не хватало. И что мы трое — Марго, Марина и я — страдаем. Нет, пожалуй, я не стал бы этого говорить. Я бы скорее вспомнил все те забавные эпизоды, которые были связаны у меня с ним. Мы так славно умели посмеяться вместе!..

Я взглянул на Бешира. Его жизнь была полна драматических событий, и при этом было что-то комическое во всей его фигуре: важность его манер подчеркивалась вдобавок еще некоторым снобизмом, происходившим от того, что ему доводилось общаться с людьми, мнившими себя важными персонами. Королева Марго «одолжила» его Ромену, и с тех пор Бешир верно служил ему, обращаясь с ним весьма почтительно. Не удовлетворяясь знанием немецкого, выученного во время войны, Бешир усовершенствовался во французском и владел им, как родным арабским. Он говорил по-французски без акцента, но несколько претенциозно, употребляя лексику и сочетания слов, которые напомина-

ли Франсуазу из «Поисков утраченного времени», и это приводило нас в восторг. Так, однажды вечером, когда Ромен выказал раздражение — я уж не помню, по какому поводу, — Бешир вдруг изрек сдержанно и вместе с тем воодушевленно:

— Пусть месье не выходит из месье!

Эти слова стали крылатыми в нашем кругу. Если нам случалось повышать голос в спорах на самые разные темы: о сюрреалистической живописи, негритянском искусстве, порнографии, цензуре, Америке и Вьетнаме, о Генерале и Алжире (я сейчас вспоминаю об этих спорах с болью и нежностью), то достаточно было одному из нас провозгласить: «Пусть месье не выходит из месье!» — и все со смехом успокаивались.

Однажды Королева Марго, чета Ле Кименеков и весь клан Швейцеров пришли на ужин к Ромену. За столом прислуживал Бешир, затянутый в голубую или зеленую ливрею с высоким воротником, но с неизменной феской на голове, как в далекие времена на Патмосе. Когда пили кофе, вдруг зазвонил телефон. Бешир пошел к аппарату. Он вернулся, исполненный важности, и наклонился к Ромену.

— Месье, — сказал он ему на ухо, но так, что слышали все, — звонит архигерцог арсенала.

— Кто-кто? — переспросил Ромен.

— Архигерцог арсенала, — уверенно повторил Бешир.

— Архигерцог... не знаю такого, — проговорил Ромен.

— Ромен, — сказала ему Марго, — иди ответь...

Ромен вздохнул и встал. Через несколько минут он вернулся, корчась от смеха:

— Это звонили из национальных архивов...

Обычно Ромен и Бешир были на «ты». Мы много где побывали втроем. И только когда присутствовали посторонние или обстановка требовала некоторой официальности, Бешир облекался особым достоинством. Как-то (это было в шестидесятые или семидесятые годы) Ромен и я проводили лето в Париже, уже не помню почему. Стоял очень жаркий август. Бешир тоже был здесь — воплощенный образец преданности.

— Слушай, ну это же идиотизм, — сказал я Ромену. — Что он здесь делает? Надо его послать куда-нибудь в горы, к морю, в деревню. Мне думается, что он не имеет понятия ни о Провансе, ни об Альпах.

— Ты прав, — сказал Ромен.

Он позвал Бешира.

— Бешир, — сказал он, — тебе нужно взять отпуск. Куда ты хочешь поехать? На Лазурный берег? В Шамоникс?

— Ну уж нет! — ответил Бешир. — Благодарю покорно. Это хорошо для тебя. А я... видал я этот отпуск... Едешь, тащишься, скучаешь, не знаешь куда себя девать, тратишь сумасшедшие деньги, чтобы как-то развлечься. А потом, вернувшись без денег, сосешь...

Тут он посмотрел на нас с Роменом полунасмешливо-полусмущенно и закончил, важно выпрямившись:

— Месье понимает, что я хотел сказать...

...Далеко не все было комично в жизни Бешира. Тогда в Берлине, увидев собственными глазами мертвого Гитлера, Бешир среди общей суматохи вышел из бункера. Свежий воздух, заполнивший его легкие, опьянил его. В первое мгновение он просто отдался ощущению животного счастья. Однако то, что он увидел вокруг, быстро вернуло его к действительности. Повсюду, насколько хватало зрения, были развалины. Он еще помнил Берлин смертельно раненным, но все же живым. Теперь под ударами бомб, снарядов, «катюш» город превратился в мертвое поле руин.

Сначала Беширу показалось, что город застыл в неподвижности, превратился в кладбище. Время исчезло. Пустота нависла над пустотой. Лишь иногда в руинах проскальзывала чья-то смутная тень. Но вот совсем близко послышались пушечные выстрелы, похоже, с соседней улицы, или того, что от нее осталось, а затем — автоматные очереди. Изощренное долгим опытом, ухо Бешира определило по звуку автоматы Сударева (их еще не сменили тогда автоматы Калашникова) — значит, в городе были русские. Шли «живые» уличные бои, сменившие мертвую «безличность» бомбардировок.

У Бешира было при себе осадное ружье. Он не говорил себе: «Я буду сражаться до конца» или «Надо достойно умереть за мертвого фюрера и гибнущую Германию». Он подумал просто: «У меня нет выбора, и я буду стрелять в того, кого увижу».

И первое, что он увидел, было подразделение вермахта, отступавшее в мертвом молчании, словно парад призраков, вышедших из ада. Бесформенная масса лохмотьев, уходящая в небытие. Он столкнулся взглядом с одним из них и прочел в этом взгляде только безумие и смерть. Таково одиночество силы и нищета гордыни: Бешир вспомнил, как четыре года назад эта великолепная военная машина, уже имевшая за спиной покоренную Европу, отправлялась на покорение остального мира. И вот ее останки исчезали на его глазах...

Среди свиста пуль и разрывов бомб он бесцельно бродил по осажденному городу, уже готовому сдаться; он укрывался под разрушенными портиками и обходил воронки от снарядов. Он шел, глядя в пустоту, растерянный и изможденный, бывший солдат, уже ненужный, но еще вынужденный сражаться. На его пути попадались пожилые женщины и подростки, толкавшие перед собой повозки с пожитками, приваленными матрацем, столом или стулом. Попадались оравы ребятишек, грабивших выпотрошенные магазины. Он сам прихватил две бутылки пива и немного мясных продуктов — то, что валялось в разбитой витрине среди осколков стекла.

Спускалась ночь. Бешир проспал несколько часов в каком-то доме: двери и окна были выбиты взрывом, но кровать уцелела. Все было ничье, и все принадлежало всем. Когда солнце вновь поднялось над Берлином, уже стертым с карты и из истории, он вышел на улицу с осадным ружьем под мышкой.

Он очутился среди обгорелых остовов зданий и искалеченных деревьев — все это в другой жизни, до Всемирного Потопа, называлось Унтер-дер-Линден. Он поднялся по ней до Бранденбургских ворот. Там уже были русские...

...Торопливо подходили опоздавшие. Опустив голову, они тихонько проскальзывали в толпу присутствующих. Казотт и Далла Порта пристроились рядом со мной. Ромен любил их обоих. Я же мысленно послал их далеко: своим появлением они внезапно вырвали меня из разрушенного Берлина и вернули сюда...

— Это все транспорт... — прошептал Казотт.

— Да, знаю, — пробормотал я, — транспорт — это кошмар...

...Здесь были танки ИС, их Бешир часто видел издали покрытыми снегом, пушки 122 калибра с прицелом под 45 градусов, а в небе Берлина развевался красный флаг. Это были русские части под командованием Жукова...

...Георгию Константиновичу Жукову не было еще пятидесяти лет. Уже два года он был маршалом Советского Союза. В молодости он был рабочим на заводе, затем унтер-офицером царской армии, затем военным советни-

ком республиканцев во время гражданской войны в Испании и начальником Генштаба Красной Армии. Он защищал Москву против частей Браухича и Бока в 1941-м, организовал контрнаступление под Сталинградом в 1942-м, принудил немцев снять осаду Ленинграда в 1943-м. Вместе с Коневым, Малиновским, Рокоссовским, Ворошиловым и Тимошенко он составлял ту плеяду советских военачальников, которая одержала победу над немцами во Второй мировой войне.

Неизбежное появление выдающихся талантов, которым был бы заказан путь при прежнем режиме, — одна из ярких примет, отчасти оправдывающих политические и социальные революции. Она проявляется в разных областях, но наиболее очевидно — в области военной. Так, в начале царствования Людовика XVI талантливых французских военачальников можно было пересчитать по пальцам. Через двадцать пять лет, при Наполеоне, их пруд пруди. Пример из советской истории еще более поразителен. Несмотря на сталинские «чистки», уничтожившие девять десятых командного состава, у советской армии были блестящие военачальники. Всегда ли это необходимо — сбросить прежние правящие классы, — чтобы произошел расцвет новых талантов? Главный аргумент против этой гипотезы — и он не очень убедителен — это то, что два века революций породили скорее дух военных завоеваний и, соответственно ему, блестящих генералов, а не выдающихся ученых или экономистов... Однако военачальники — это само собой, но не надо забывать также, что война была выиграна огромной людской массой, которая имела в своем распоряжении — благодаря производительным мощностям американских заводов — многочисленные военные ресурсы...

Первый Белорусский фронт под командованием маршала Жукова вторгся в предместья Варшавы 1 августа 1944-го. Польские патриоты сразу подняли восстание против нацистских оккупантов. Но, по приказу Сталина, Жуков топтался на подходах к городу почти шесть месяцев. Он вошел в Варшаву только 17 января 1945 года, так что немцам вполне хватило времени, чтобы жестоко подавить восстание.

Поддерживаемый маршалом Рокоссовским справа и маршалом Коневым — слева (Конев, пришедший с российских равнин, встретился здесь с Паттоном, пришедшим от Авранша и Бретани и остановившимся, в соответствии с приказом, в сотне километрах от Праги, чтобы уступить поле битвы советским войскам), весной 1945-го Жуков наступает на Берлин. 2 мая, через день после самоубийства Гитлера, он занимает столицу Германии, но авангард его войск проник в город еще неделей раньше. Через несколько дней именно он в качестве командующего группой армий подпишет от имени всего Советского Союза акт капитуляции вермахта: это произойдет почти через четыре года после начала операции «Барбаросса» и через пять лет — почти день в день — после начала военных действий на Западе. По ходу войны в окружении маршала — более или менее близком — оказалось немало французов. Среди них, например, внук маршала Фоша — Фурнье-Фош, — который сумел бежать из немецкого плена несколькими неделями раньше. Там оказался и Ромен, уже давно сражавшийся на стороне русских...

...Мы не знаем тех, кого знаем. Мы не знаем даже тех, кого любим. Я не могу представить себе Ромена в военной форме. Я видел его в самой разной одежде: в смокинге, в сером костюме, в твиде, в шортах, в банном халате, в костюме ныряльщика, в фартуке повара, когда он готовил «спагетти карбонара», в костюме венецианского дожа на балу во дворце Лабия, в костюмах гондольера или охотника. Я видел его голым или в меховом манто, доставшемся ему от его деда. Я видел его лыжником и моряком, но никогда — в военной форме. Тем не менее он провел, как говорится, под знаменами пять долгих лет, и из них три года — под красными знаменами...

...Марго ван Гулип уже подавала все признаки усталости. Сколько лет ей сейчас могло быть? Восемьдесят — точно. Может быть, даже девяносто? Нет, девяносто — это слишком. Я поспешно рылся в своих воспоминаниях, как молодая женщина, вернувшаяся после работы принять душ перед выходом в город, нервно роется в своей сумочке в поисках ключей. В каком бы ослеплении от жизни «большого света» я, студент-нормалист, ни был, не могло же ей быть пятьдесят лет тогда, на Патмосе, когда я целовал ее на дороге, идущей вдоль моря? Не могло быть, чтобы эта женщина, державшаяся так прямо, несмотря на печаль и усталость, и вокруг которой еще витали отблески былой красоты... чтобы ей маячила на горизонте ее сотня лет? Я быстро подсчитывал: где-то между 82 и 86... Я подошел к ней, чтобы она могла опереться на мою руку.

— Пожалуйста, — сказал я, — обопритесь на меня.

Она посмотрела на меня — и я вспомнил Патмос.

— Спасибо, мой маленький Жан! — проговорила она.

Нет! Наверное, все-таки восемьдесят восемь... Жерар и Ле Кименек уже пошли искать стул, чтобы усадить ее...

Время... Если и не вечно, потому что время, естественно, не может быть вечностью, то веками и веками оно несет нас в своем потоке, оставаясь самим собой, и разрушает все, что тащило за собой, и то, что умирает, и то, что пока только рождается...

Жерар и Ле Кименек вернулись ни с чем: на кладбище среди могил трудно найти стул. Бешир, как всегда сообразительный и энергичный, уже успел подумать о машине, в которой привез Андре Швейцера, и сейчас подгонял ее сюда. Мы устроили Королеву Марго на заднем сидении и оставили там немного отдохнуть. Казотт и Далла Порта тут же составили ей компанию. Эти двое хорошо знакомы с проблемой времени. Казотт — этакий кочевник эрудиции, специалист по Иннокентию III и Фридриху II, Иерусалимскому королевству и, как ни странно, по древнему Ближнему Востоку, любитель примитивного искусства, как и Ромен. Он изучал время через прошлое, в котором оно скрывается, но через него же и выявляется. Далла Порта — профессор теоретической физики в университете Беркли, имеющий должность в NASA, близкий друг Ромена, считавшего его то гениальным, то полусумасшедшим. Он пытался совместить время и пространство, но по мере того как его исследования все более приближались к истокам и уникальности «большого взрыва», окончательно запутался...

...Хорошо, что Марго сидит пока в машине, она не сможет выдержать на ногах всю церемонию...

...Мириам, то есть Мэг, провела пять или шесть лет со Счастливчиком Лючиано. Она жила то во Франции, то в Соединенных Штатах. У них обоих была своя жизнь за пределами их совместного существования, но шесть-восемь раз в год она обязательно отправлялась сначала на «Иль-де-Франс», затем на «Нормандии» в Америку, чтобы повидаться с ним. Возможно, именно потому что они так часто расставались, они потом встречались с такой радостью. Эта пара была воплощенным образцом верности в неверности. Каждый давал другому то, чего тот не имел: полную свободу и нелегкие обязательства, немного парижского воздуха и авантюрный дух «коза ностра», беззаботность и могущество.

...Тогда в ночном кабаке Мэг сумела завоевать доверие Счастливчика Лючиано (она звала его настоящим именем — Сальваторе) и доверие Мейера Ланского — Мейера Суховлянского, родом из Белоруссии, а они мало кому доверяли. Они рассказали ей о том, что происходило в недрах американской мафии. Аль Капоне держал в руках весь Чикаго и синдикаты

«teamsters» и «roofers» — грузовые перевозки и строительство. Счастливчик Лючиано царствовал над нью-йоркскими докерами.

— О! — говорила Мэг со стаканом виски в руке. — Вас, должно быть, немало. Сотни, наверное... или даже тысячи?

Лючиано и Лански со смехом переглянулись.

— Бывает по-разному... — ответил Мейер.

— И от чего это зависит? — спросила Мэг.

— От уровня... — ответил он.

Сами гангстеры — шесть семей, возглавляемых своими «capi», но со временем их количество возросло до двадцати четырех — составляли тысяч десять, а если брать широко — даже тысяч двадцать. Но те, кого они использовали, — наемные убийцы, пособники, исполнители, к которым можно было обратиться в случае необходимости хоть на другом конце страны, — перевалили за сто тысяч. А число тех, кого они держали под своим контролем, — чиновники, безымянные пешки, которые и сами не знали, что мафия манипулирует ими, — число этих доходило до миллиона.

— Вот здорово! — воскликнула Мэг. — И что вы никогда не попадаетесь?

Они рассмеялись еще веселее.

— Мадемуазель, — торжественно разъяснил ей Мейер, — усвойте, что Америка — это демократия и что решающую роль здесь играют деньги. А демократия и деньги всегда находят общий язык. Число тех людей, которых мы держим под контролем, достаточно велико, но еще больше число тех, кого мы покупаем. Каждый день мы покупаем журналистов, лидеров партий, судей, сенаторов, госсекретарей. К тому же, слава богу, в демократическом государстве юстиция не подчиняется властям, она независима, и это еще более облегчает нам дело... Единственно кто нам серьезно гадит — это несколько тысяч парней старика Эдгара Гувера. Он сует свой нос повсюду. Его молодчики из ФБР с маниакальным упорством прослушивают наши разговоры по телефону, которые мы ведем так доверчиво. По счастью, судьи относятся к этому совершенно иначе: они справедливо считают прослушивание телефонных разговоров покушением на права человека и индивидуальные свободы. Мы имеем адвокатов — прекрасных адвокатов. Мы, конечно, дорого оплачиваем их услуги, но они отрабатывают свои деньги с лихвой. Поскольку мы живем в демократическом обществе и имеем деньги, то битва между нами и репрессивными органами оказывается неравной: мы оказываемся намного сильнее этой своры, преследующей и облаивающей нас.

— И еще, — добавил Лючиано, — в демократическом обществе власть, настоящая власть, принадлежит тому, кто располагает информацией. Мы очень хорошо информированы. В своих банковских сейфах мы держим не только доллары. Мы там держим, например, фотографии про запас. Как ты думаешь, что можно увидеть на этих фотографиях?

— Ну, не знаю, — сказала Мэг. — Президента США, целующего Аву Гарднер?

— Не угадала, — объявил Лючиано. — Эдгара Гувера собственной персоной, но переодетого в женское платье и в чулках с подвязками.

— Ну и что из этого? — спросила Мэг.

— А то что в нашей стране такие дела дурно пахнут. Мы, конечно, демократия, здорово подпорченная деньгами, согласен, но при этом с пуританскими нравами. Надо как-то увязывать одно с другим. И мы неплохо с этим справляемся. Гувер знает, что мы знаем, и сидит тихо. И не только из самозащиты: он считает организованную преступность меньшей опасностью для установившегося порядка, который он призван защищать, чем коммунизм. Он рассказывает всем, кто согласен слушать, что мафия — это

пустые басни, пугало, придуманное мэрами больших городов, чтобы было на кого свалить промахи в своей работе. Однажды он так и заявил журналистам: «В Америке нет мафии».

— А вообще, — вставил задумчиво Мейер Лански, успевший погрузиться в свои мысли, — при всех противоречиях и проблемах, у нас прекрасное будущее. Счастливчик — итальянец и сицилиец, а я — еврей из Белоруссии. Но прежде всего мы оба американцы. И мы гордимся этим. Всякий там фашизм, нацизм — это зловонные отходы системы, которая изживает себя. Американская же демократия распространится по всему миру. Ты моложе нас и еще застанешь это, малышка. То, что так устраивает нас здесь, постепенно установится повсюду...

— Демократия? — уточнила Мэг. — Права человека? Индивидуальные свободы? Деньги?

— И еще мафия, — добавил Лючиано, поднимая свой стакан...

...— Я чувствую себя уже вполне хорошо, — сказала Мэг. — Я хочу вернуться туда.

Она вышла из машины. Казотт, Далла Порта и она, а за ними мы с Беширом — все вместе мы присоединились к группе, окружавшей Ромена; еще ранее к ней присоединились Жерар и Ле Кименек. Люди в черном, которым помогали Марина и ее дочь, раздавали присутствующим розы, которые надлежало бросить в могилу. Меня охватила тоска, она пришла на смену меланхолии. Как?! Мы почтим тело Ромена лишь слезами и несколькими цветками и потом просто так вернемся домой?! Без единого слова, без пения?! Слова распирали меня. Мне казалось, наверное, самонадеянно, что я сумел бы рассказать о Ромене. Что я сумел бы объяснить, чем он был в нашей жизни, и выразить те чувства, которые он сумел пробудить в нас. И так хотелось бы спеть что-нибудь вокруг него. Мы часто пели вместе еще с тех памятных вечеров на Патмосе. Он сам любил петь и пел прекрасно. Мы могли бы спеть «Magnificat» или «Salve Regina», прочесть цитату из талмуда или суру из Корана, напеть «La Butte rouge», или «Le Temps des cerises», или одну из тех песенок моряков, которые трогали нас до слез даже в счастливые времена молодости. Сделать что-нибудь, что овеяло бы память о Ромене дыханием широких просторов и чьим-нибудь благословением. Хоть что-нибудь, что дало бы возможность чему-то неземному — возможно, самому имени Господа — возвысить нашу печаль...

Но он категорически отказался. Не хотел. Мы часто рассуждали с ним об этих вещах, исполненных света и при этом всегда остающихся для нас в тени. Однажды вечером, возможно, это было на Корсике или на острове Кекова, у турецкого побережья, который он очень любил, у стен византийского дворца, но точно на корабле, мне удалось поколебать его. Я передал Ромену высказывание одного раввина, которое меня поразило, оно поразило и его: «Важнее всего на свете все-таки Бог: есть Он или Его нет...»

— Вот оно как! — сказал тогда Ромен.

— Правда ведь? — поддел я его.

Мы долго молчали. Звезды, сиявшие над нами, сами собой располагали к тишине. И вообще, мне кажется, что лучшие наши с Роменом времена мы провели в молчании. Я припоминаю, что после долгой паузы я сказал:

— Возможно, самым гениальным в Божественном замысле было создание такого реального мира, который допускает сомнения в своей реальности.

Мы опять надолго замолчали. Через четверть часа Ромен обернулся ко мне:

— Ну, я пошел спать. Спокойной ночи.

Он направился к лестнице, ведущей к койкам. Затем вернулся ко мне и бросил:

— Ты меня так просто не возьмешь.

Он не был, однако, равнодушен к простому величию веры и к тому священному трепету, который испытывают верующие, хотя сам был далек от них перед религиозными обрядами, идущими из глубины времен. Я вспоминаю о нашем путешествии в Сирию: не так давно мы с ним посетили те места, в которых он провел несколько месяцев перед отправкой в СССР. В Дамаске мы посетили мечеть Омейадов и могилу Саладина; побывали в Пальмире... Затем из Алеппо мы отправились в Сен-Симеон — туда, где полвека назад он получил известие о смерти Молли. Мы обошли развалины базилики и залюбовались величественным куполом, увенчивающим одну из самых древних христианских абсид. Ромен был взволнован нахлынувшими на него воспоминаниями; он молча сидел на обломке поверженной колонны... Я удалился на несколько шагов и в тишине наблюдал, как солнце опускалось за холм.

Внезапно в эту тишину ворвалась шумная группа возбужденных итальянцев. Среди них было несколько девушек, и весь этот крикливый мирок бурлил, нарушая царившую здесь атмосферу и, казалось, не утруждал себя мыслями о потоках христианской крови, обагрившей некогда эти камни. Кто-то из мужчин достал мяч, и некоторые принялись играть в футбол на развалинах храма. Кое-кто даже пробовал сделать несколько танцевальных па. Многие растянулись на земле, отдыхая после проделанного пути. И все очень громко смеялись.

А затем произошло нечто удивительное. Итальянцы встали, достали из чемоданчиков одежды, похожие на туники, церковные ризы. Они надели их, молча собрались вокруг одного из них, седовласого человека, и... запели. Не сразу до нас с Роменом дошло, что все они — священники и пришли сюда, чтобы пропеть торжественную мессу у стен базилики, воздвигнутой в память Симеона Столпника. Они пели с таким воодушевлением и с такой благодарностью, что слезы навернулись нам на глаза. Это было потрясающее зрелище: руины храма, священный холм, забытый в стороне мяч, синее небо, женщины, коленопреклоненные в молитве, и вдохновенное пение «Sanctus» в тишине руин. Мы пели вместе с ними.

— Бывают моменты в жизни, — сказал мне тогда Ромен, — когда надо защищать свои Фермопилы.

Ромен любил музыку больше всего на свете. Он долгое время посещал все концерты Моцарта, которого очень высоко ценил и знал, кажется, всего. Он мог слушать его целый день у себя дома; он ездил в Зальцбург и Экс-ан-Прованс; он был знаком с уймой специалистов — многие из них сейчас присутствовали на кладбище — и даже спорил с ними. Именно отправляясь в Зальцбург из Цюриха или Милана, чтобы послушать «Женитьбу Фигаро» или «Cosi fan tutte», он и познакомился на дороге с Альбеном Цвингли. В последние годы жизни, впрочем, он проявил некоторую непоследовательность — увлекся Бахом и разве что не клялся его именем. Я несколько раз заставал его слушающим в наушниках кантаты № 19 и № 20 или «Кофейную кантату». Он говорил, что ему больше ничего не нужно для счастья и одного Баха достаточно, чтобы заменить все, что он любил в жизни. Я процитировал ему — с намеком — слова Сиорана: «Бог очень многим обязан Баху» — и он был восхищен.

Я воспользовался этим, чтобы «протолкнуть» свою идею:

— Ну, если Бах — кто-то вроде доверенного лица Господа, который вечно отсутствует, и если он может заменить собой все остальное в жизни... может быть, стоит сыграть что-нибудь из него в тот день, когда ты или я...

Ромен думал недолго:

— Нет, — отрезал он. — Это будет выглядеть позерством — тебе не кажется? Для себя во всяком случае я выбираю ничего.

Настаивать было бессмысленно. Он не раз говорил: ни цветов, ни музыки. Ни даже имени на могиле.

Я спрашиваю себя, не вызваны ли страницы, которые я пишу в память о Ромене, именно этим — отсутствием на его похоронах какого бы то ни было обряда, пения, литургического слова. Это воздаяние: тщеславие за тщеславие, пустяк за пустяк; вместо обязательных молитв — разрозненные воспоминания и вместо могильного памятника — надгробие в жанре романа. Он не хотел ничего, а я пишу о нем...

...В сентябре 1942-го Ромен с группой летчиков-истребителей «Нормандия» покидает Сирию и через Иран отправляется самолетом и поездом в СССР. Этот путь: из Райяка в Сирии до Баку, затем в Иваново, на северо-восток от Москвы, где они прошли стажировку на самолетах ЯК-7, и, наконец, в Калугу, на фронт, — занял добрых шесть месяцев. Командующий Пуликен передал свои полномочия командующему Тюласну. Когда Тюласн пропал без вести в воздушном сражении летом 1943-го, его сменил командующий Пуйяд. Первая победа была одержана в апреле 1943-го: немецкий самолет был сбит двумя французскими. Месяцем позже маршал Кейтель, возглавлявший «оберкоманду» вермахта, издал приказ: каждый французский летчик, попавший в плен к немцам на русском фронте, должен быть расстрелян. С приходом зимы подразделение «Нормандия», на счету которого уже было семьдесят два сбитых немецких самолета, — генерал Де Голль наградил его орденом Освобождения — эвакуируется под Тулу, на юго-запад от Москвы: это были всего шесть летчиков, оставшихся в живых.

В начале 1944 года подразделение было усилено 4-й эскадрильей. Его переформирование в полк и вхождение в состав 303-й советской воздушной дивизии знаменовало для них второй этап войны, и разворачивался он уже на территории Белоруссии. В ноябре 1944-го полк получает от Сталина в знак благодарности наименование «Нормандия-Неман». К концу третьего этапа военной кампании, который завершался уже на территории Германии, было налетано четыре тысячи часов и совершено около девяти сотен боевых вылетов. Более сорока летчиков из сотни погибли. Было сбито более двухсот пятидесяти немецких самолетов.

Ромен неохотно говорил об этих пяти годах, проведенных им в Сирии, в СССР и в Германии между своими семнадцатью и двадцатью двумя годами. Нужно было сильно его раззадорить, чтобы он произнес-таки это название — «Нормандия-Неман». А это было как-никак французское подразделение летчиков-истребителей, сражавшихся на русско-германском фронте в период между 1942 и 1945 годами, имевшее семь благодарностей от командования Советской Армии, награжденное орденами Красного Знамени и Александра Невского, награжденное орденом Почетного Легиона, военной медалью за отвагу и крестом Освобождения. Даже то немногое, что я знаю о «Нормандии-Неман», я узнал не от него. Я вынужден был рыться в книгах или расспрашивать его уцелевших боевых товарищей — Ролана де ла Пойпа и других. Когда я жадно расспрашивал его самого об этом отрезке великой исторической эпопеи, в которой и он участвовал, он только смеялся и отмалчивался. Если я настаивал, рискуя навлечь на себя его раздражение, он цедил сквозь зубы, что рассказывать особенно нечего, но что он был тогда очень счастлив.

Я спрашивал его, не проникся ли он коммунистическими взглядами, живя рядом с советскими людьми.

— Коммунистическими? Конечно, нет. Я полюбил русских: они были храбрыми и сражались за свою родину. Я даже не уверен, что они — во всяком случае те, что меня окружали, — были так уж привержены идеалам

марксизма-ленинизма и коммунистического интернационала. Пожалуй, им было на них наплевать: они просто были русскими.

Я всегда знал, что Ромен далек от политических дебатов, которыми так увлекались французы. Не было ли это следствием его пребывания в Советском Союзе? Он был выходцем из консервативной среды, пропитанной идеями «Action francaise», крайне враждебно настроенной к коммунизму, и это должно было естественным образом привести его к Петэну и Виши. Но он встретил генерала Де Голля, стал «голлистом» и сражался на стороне Советов. На всю свою жизнь он сохранил верность Генералу в любых испытаниях, и всю свою жизнь он относился к политике как к двусмысленной и непоследовательной игре, где вчерашние враги превращаются в сегодняшних друзей, а затем опять — в завтрашних врагов и где никто не отвечает за последствия своего выбора.

— Математика, — любил он говорить, — это точная наука, в которой идет речь непонятно о чем и неизвестно, верны ли гипотезы, выдвигаемые ею. К политике приложимо то же определение с той лишь разницей, что она не является точной наукой.

И он приводил исторические примеры: Францию, старательно укреплявшую (и «доукреплявшую» на свою голову) Пруссию в противовес Австрии; или жителей Самарканда, которые жили в страхе перед китайским нашествием, но в один прекрасный день увидели возникших ниоткуда неизвестных завоевателей в белых одеждах: они нисколько не походили на китайцев из их кошмаров, потому что это были арабы...

Из всех французов «Нормандии-Неман» именно Ромен, наверное, сумел завязать наиболее прочные связи с русскими. Прежде всего, конечно, через женщин. Однажды я спросил его, как он устраивался целых четыре года, чтобы обходиться без женщин, — и это между его-то восемнадцатью и двадцатью двумя годами. На это он ответил:

— Есть два правила. Первое: без них можно просто обходиться. А как же монахи, моряки, солдаты, первооткрыватели? Они отлично себя чувствуют. И есть второе правило, которое самым естественным образом противоречит первому: красивые женщины есть везде.

В Туле такой красивой женщиной стала для него некая Тамара. Она была приписана к офицерской миссии и заменила лондонскую Молли. Это была украинка: очаровательная, немного полненькая, с высокими скулами и ямочками на щеках — тип милой хозяюшки. Ромен был очень красив. Он знал это и не придавал этому значения. Он просто пользовался этим. Он не собирался делать из своей жизни произведение искусства. Но он гениально умел превращать ее в самых трудных и, казалось бы, враждебных обстоятельствах в постоянный инструмент удовольствия. Таких людей часто ненавидят. Ромен и здесь выходил сухим из воды: раздражая многих других, для Тамары он был героем и творцом радости.

Проблема была только в том, что Тамара, знавшая немного немецкий, не говорила ни слова по-французски. А Ромен, для которого вторым языком стал английский, не знал ни слова по-русски. Но они вскоре нашли общий язык — язык улыбок и жестов. День за днем, долгими зимними вечерами, когда вылеты были невозможны, Ромен учил Тамару французскому, а Тамара учила его русскому. Это была «языковая любовь»...

...Тамара бежала из Украины, оккупированной немцами. Как только они с Роменом смогли обменяться несколькими словами, она рассказала ему то, о чем молчала уже более двух лет и о чем могла рассказать только ему, потому что он не был русским. Украинцы с трудом выносили тяжкое иго Москвы. Поэтому они встретили приход вермахта без особой враждебности; вообще чувства людей были самыми разными: от равнодушия

до облегчения, вплоть до энтузиазма. Немцы сами были удивлены таким приемом; этим же объяснялась и быстрота их продвижения по территории Украины. Через несколько месяцев из-за жестокости оккупантов положение резко изменилось. Например, в Белоруссии, с ее населением в каких-нибудь десять миллионов, было уничтожено более миллиона: сначала гибли евреи, потом — партизаны. Около миллиона домов было разрушено. В Украине насчитывалось около пятидесяти миллионов жителей; там была создана украинская дивизия «Waffen-SS»; несколько тысяч человек из национальной армии вошло в состав вермахта, а повстанческая армия сражалась одновременно и против немцев, и против советских партизан; здесь погибло шесть-восемь миллионов человек. Около двух миллионов было вывезено в Германию на принудительные работы. Однажды, будучи расположенным к откровенности, Ромен рассказал мне, как Тамара, горя нетерпением поделиться своим горем с французским другом, еще плохо говорившим по-русски, чертила пальцем эти цифры погибших на снегу, увенчивая их крестом. И, глядя на ошеломленное лицо француза, улыбалась сквозь слезы...

Ромен был связан не только с женщинами. У него было много друзей чуть ли не во всех эшелонах советской армии. Русские приняли его как своего, и это именно они, летчики и механики, и даже сам командующий, который просто-таки видел в мечтах Париж, научили его летать на ЯК-3, на ЯК-9. В конце 1944 года, в начале наступления в Пруссии, французы «Нормандии-Неман» за один день сбили более двадцати немецких самолетов; на личном счету Ромена было два из них. Это событие было отмечено огромным количеством водки. Там присутствовали все, и Тамара тоже. Некоторые русские принялись пить даже одеколон, который им преподнесли французы. Ромен умел пить, когда это было нужно. Многие, французы и русские, уже валялись под столом, а Ромен с советским полковником, который на следующий день должен был встретиться с маршалом Жуковым, стойко продолжали обмениваться тостами за здравие Франции, России, маршала Сталина, генерала Де Голля и за собственное здоровье...

Через несколько месяцев в Германии, над равниной, где у кромки леса шло танковое сражение, Ромен снова сбил подряд два вражеских самолета, а затем сам получил пулеметную очередь. Мотор загорелся, и его самолет резко пошел к земле. В последний момент он выпрыгнул. Самолет взорвался в некотором отдалении от него. Рывок, спуск. На земле он ощупал себя — ни единой раны, если не считать пореза на левой руке, из которого текла струйка крови. Он наспех перебинтовал руку и еще не успел сложить свой парашют, как услышал сзади тарахтение. Он настороженно оглянулся: это был советский танк, проходивший рядом. Из его открытого люка выпало безжизненное тело. Ромен неподвижно стоял и смотрел не понимая, еще не отдышавшись после падения, и тут водитель танка резким жестом приказал ему залезть внутрь. Он подчинился и уже там внутри быстро сообразил, чего тот от него хотел. Заменив убитого стрелка, он открыл стрельбу по немецким танкам и подбил-таки один...

Когда сражение закончилось отходом противника, Ромен снял шлем и крикнул русскому, который взял его в свой танк:

— Franzouski!

И водитель показал ему большой палец.

Через некоторое время танковое подразделение вошло в какой-то большой город — полуразрушенный, но в нем царило оживление и веселая суматоха. Благодаря урокам Тамары, Ромен сумел быстро разобраться, где он очутился: в расположении штаб-квартиры VIII Гвардейской дивизии.

Там к Ромену бросился полковник, крепко обнял его и расцеловал. Это оказался тот самый советский полковник, с которым они несколько

месяцев назад так лихо пили водку. Полковник потянул Ромена за раненую руку, исторгнув из него крик боли, протащил его через группу офицеров высокого ранга, о чем-то споривших, и втолкнул в кабинет, где за столом, покрытым картами, сидел человек. Ромен сразу узнал его, хотя раньше никогда не видел: это был маршал Жуков, командовавший всеми силами Первого Белорусского фронта.

Когда Ромен вошел, маршал, очевидно предупрежденный о прибытии бравого летчика, поднялся и пошел ему навстречу. Среднего роста, плотный, с серо-голубыми глазами, он какое-то мгновение рассматривал француза с кровоточащей левой рукой, а тот приветствовал его. Затем маршал раскрыл объятия и по русскому обычаю расцеловал Ромена. Затем, отойдя, он произнес по-русски несколько слов, которых Ромен не понял, снял орден со своей груди — это был орден Отечественной войны первой степени — и прикрепил его на летную куртку Ромена, который вдруг ощутил себя совершенно изнуренным, на грани обморока, но продолжал стоять навытяжку.

Маршал вернулся к столу, сел за него и спросил Ромена, понимает ли он по-русски.

— Da russki ni poni mai, — выговорил Ромен с чудовищным акцентом.

Маршал улыбнулся и заговорил по-французски. Он сказал Ромену, что знает о том вкладе, который внесли французы «Нормандии-Неман» и лично Ромен, в ход Великой Отечественной войны, которая теперь вступила в свою заключительную фазу. Маршал поздравил его с боевыми успехами и с наградой, а затем спросил, какой чин он имеет во французской армии.

— Лейтенант, господин маршал, — ответил Ромен, все так же стоя навытяжку.

Жуков повернулся к адъютанту, стоявшему позади него, и опять сказал пару фраз по-русски — их Ромен понял не лучше, чем те первые. Затем маршал наклонился вперед, упираясь кулаками в стол, и перешел на французский:

— Почему маршал Фош, возглавлявший французскую армию, не вошел в Берлин в 1918 году? — бросил он внезапно Ромену. — Я задал этот вопрос его внуку. Теперь я этот вопрос задаю вам, поскольку вы тоже француз.

Ромен расширил глаза от удивления и слегка развел руками в знак своей неосведомленности.

— А я пойду на Берлин, — заявил Жуков.

— Да, господин маршал.

— Мы пойдем на Берлин вместе, — сказал маршал, встав из-за стола, и увесисто хлопнул своего французского собеседника по плечу, к счастью, правому.

— Да, господин маршал, — повторил Ромен.

— А затем, — продолжал Жуков, — я дойду до Бреста.

Ромен сразу не понял, о чем идет речь. На мгновение он решил, что маршал говорит о Брест-Литовске, но тот уже остался далеко позади. Жуков заметил непонимание во взгляде Ромена.

— До Бреста, который в Бретани, — воскликнул он, ударяя по столу.

Несколько мгновений изумленный Ромен молчал. Затем все поплыло вокруг него. Все так же сохраняя военную выправку, он ответил:

— Но это так далеко, господин маршал.

Жуков рассмеялся. И тут Ромен, окончательно обессилевший, потерял сознание...

...Траурные розы были розданы... Рыдания сотрясали Марину: она прятала в ладонях свое искаженное горем лицо. Крупные слезы текли по поблекшим и сильно наштукатуренным щекам Марго ван Гулип...

...Катастрофа для мафии предстала в образе будущего кандидата в президенты от республиканской партии, который в свое время будет обойден сначала Рузвельтом, а потом — Трумэном: это был Томас Дьюи. Это был человек с короткими жесткими усиками, аккуратно причесанными волосами и ярко выраженным отвращением к гангстерам и их ботинкам с заостренными носами. Когда он был назначен прокурором по делам организованной преступности — это было сделано для успокоения избирателей, которые начинали думать, что уже вся страна находится в руках гангстеров, — завеса секретности над мафией наконец поднялась. Счастливчик Лючиано в это время в начале 1936 года жил под именем «мистер Росс» в «Waldorf Astoria», комната 39 D. Там он принимал Мэг — как и многих прочих, — когда она приезжала в Нью-Йорк навестить его.

Вместе со своим приятелем Мейером Лански (который старательно держал свои миллионы долларов в глухой тайне без единого проблеска) Счастливчик Лючиано был тогда одним из самых могущественных людей в Америке. Но еще и одним из самых ярких. Он не только контролировал все доки Нью-Йорка, он был еще одним из «королей ночи». Каждый вечер его видели в самых модных злачных местах в сопровождении женщин — одна зрелищнее другой. Самой красивой была Мэг.

Многие гангстеры как, например, Аль Капоне в Чикаго, были взяты за налоговые махинации. Что же касается Лючиано — этого Дьюи решил взять на проституции. Прокурор расположил свои апартаменты в башне «Вульворт билдинга». В один прекрасный зимний вечер, в результате повальной облавы в «теплых местечках», у него оказались там сотни девиц, владельцев баров и сутенеров с их подопечными. В течение долгих часов Дьюи допрашивал их по одному одного за другим. В признаниях измученных проституток постоянно звучало одно и то же имя некоего мистера Росса, обитавшего в «Waldorf Astoria». Дьюи, у которого уже были определенные догадки на этот счет, без труда отождествил этого «мистера Росса» со Счастливчиком Лючиано. Когда люди из ФБР явились арестовывать его в «Waldorf Astoria», он был там с Мэг.

— Кто эта женщина? — спросил у него шпик.

— Она не имеет ко мне отношения. Это жена Малоне. Она просто занимается нашими делами.

— Мы ее забираем, — сказал шпик.

Малоне, итальянский эмигрант, был адвокатом мафии и лично Счастливчика Лючиано. Этот жирноватый холостяк являл собой довольно темную личность: был на содержании и у полиции, и у мафии. Мэг грозило быть обвиненной в пособничестве сутенерству и она, ни разу в жизни не видевшая Малоне, на следующий же день вышла за него замуж: свадьба происходила в Лас-Вегасе. Ее оставили в покое.

Судебный процесс над Счастливчиком Лючиано длился три недели: он был на подозрении — и был оправдан — по делам о кражах, шантаже, контрабанде, торговле наркотиками, рэкете и убийствах, но зато осужден за сводничество: федеральный прокурор старательно подготовил для этого сто пятьдесят восемь свидетелей обвинения; в результате Лючиано был осужден на два срока: на тридцать и пятьдесят лет тюремного заключения.

— Эти сроки вместе взятые означают целую вечность, — говорил он Мэг. — Не многовато ли за преступление, которое не имеет никакого отношения к тому, чем я на самом деле занимался?

Миссис Малоне, насколько мне известно, не провела и дня под одной крышей с мистером Малоне, но зато проявила исключительную преданность клиенту своего «мужа». Она была самой заботливой ассистенткой у всего того батальона адвокатов, который был нанят и брошен Мейером

Лански на спасение обвиняемого. Она навещала его в тюрьме, приносила ему его почту и любимые блюда, поддерживала его дух и передавала ему все слухи, ходившие в обществе на его счет.

Счастливчик Лючиано и Мейер Лански питали нежную привязанность к демократии и к стране, которая их приютила и законы которой они так успешно извращали, и потому они были враждебно настроены к фашизму и нацизму. Лючиано ненавидел Муссолини, потому что он сам и ему подобные были изгнаны им из Сицилии. Будучи другом еврея Мейера Лански, он естественным образом должен был ненавидеть нацистов. Оба они — один в тюрьме, другой в своих тайных логовах — с беспокойством следили за событиями, развертывавшимися в Европе.

В феврале 1942 года, через два месяца после Перл-Харбора и вступления в войну Соединенных Штатов, пакебот «Нормандия» (на котором Мэг неоднократно путешествовала и познала немало приключений), реквизированный в пользу американской армии и превращенный в транспорт для перевозки войск, загорелся у причала на реке Гудзон. К тому времени немецкие субмарины уже затопили добрую сотню торговых судов в Атлантике. Американские спецслужбы обеспокоились: не было ли это связано с саботажем — и предприняли расследование. Для этого им пришлось войти в контакт с некоторыми влиятельными докерами, которые в большинстве своем были итальянцами. Все полученные сведения вели к Мейеру Лански. Он же, когда с ним проконсультировались, заявил, что знает только одного человека, который мог бы помочь разобраться в ситуации: это Счастливчик Лючиано, но он, к прискорбию, находится в тюрьме.

Люди из ФБР, всегда хорошо информированные, обратились к мистеру Малоне, но прежде — к миссис Малоне. Она согласилась помочь, но поставила определенные условия. Они все были приняты по личному указанию президента Рузвельта, который придавал гораздо большее значение ходу войны, нежели гангстерским делам. Счастливчик Лючиано был помещен в более комфортабельную камеру и получил «режим благоприятствования». Он мог свободно общаться со своим адвокатом и женой своего адвоката: им было позволено — одному и другой, вместе или по отдельности — проводить ночь в его камере. Очаровательная мадам Малоне разрывалась между посещениями тюрьмы и визитами к членам правительства, то есть была посредником между гангстерами и официальными лицами. Она передавала важные послания в обоих направлениях. В Нью-Йорке, в Майами и в Голливуде, где снимались в это время шедевры, обличающие фашистскую диктатуру, ее неоднократно видели в кампании госсекретаря Самнера Уэллеса или «звезды» кинематографа Кэри Гранта.

Когда Черчилль и Рузвельт встретились в Касабланке в январе 1943 года, чтобы обсудить ход войны и высадку в Сицилии, в это время Сталинградская битва уже шла к победному концу, Мэг была в составе американской делегации в качестве личного помощника госсекретаря. В конце официального обеда она была представлена премьер-министру Ее королевского величества, и он не остался равнодушным к ее чарам. Генерал Де Голль тоже присутствовал там, так же как и Жиро. На вопрос одного из своих сотрудников, как он относится к этой особе — любовнице известного гангстера и одновременно жене продажного адвоката, — генерал ответил:

— Пути Провидения неисповедимы, и мадам Малоне вносит в общее дело свой оригинальный вклад, причем не без чисто французского шарма, с чем я ее и поздравляю.

Лючиано, в обмен на любезность властей, при посредничестве Мэг и Мейера Лански передавал приказы всем «capi» докеров. И вскоре, выйдя из добровольного заточения в своем полуподполье, Мейер Лански, охраняемый для пущей безопасности своим адвокатом мистером Малоне и его

женой, смог предстать в известном здании на Манхеттене (которое находится под высоким покровительством Church Street) перед шефами секретной службы Морского министерства — этими американскими джеймс-бондами. Он заявил им:

— Я могу твердо обещать вам: в порту Нью-Йорка больше не появятся нацистские агенты, и немецкие субмарины не проскользнут туда ни под каким видом.

После войны, подкрепленный состоянием в несколько миллиардов долларов, неоднократно обвиненный в финансовых махинациях и неизменно оправданный, Мейер Лански попытается найти пристанище в Израиле, но будет изгнан оттуда Голдой Мейер, которая произнесет свои знаменитые слова: «В Израиле мафии не будет!» Он проживет оставшуюся жизнь во Флориде, купаясь в долларах и начисто забыв о прошлом, в образе самого обычного мелкого буржуа, прогуливая по вечерам собачку в своем квартале в компании вдов нефтяников или бывших актрис, подцепленных анонимно. Его прикончит в 1983 году сердечный приступ в Майами, ему будет восемьдесят один год. Он осуществил-таки золотую мечту любого гангстера высокого полета: умер от старости. Марго ван Гулип присутствовала на его похоронах...

Когда американский генштаб утвердил план захвата Сицилии, только два посторонних человека были посвящены в тайну — один был Счастливчик Лючиано, а другая — мадам Малоне, но не ее муж-адвокат.

— Дорогая Мэг, — сказал ей генерал Эйзенхауэр, — я рассчитываю на ваше абсолютное молчание, даже в ваших разговорах с мужем.

— Дорогой Дуайт, — ответила Мэг, — мой муж вообще не в счет. Вряд ли мы с ним обмениваемся десятком слов в неделю. Но, говоря серьезно, я обещаю вам ничего никому не говорить, даже моему любовнику.

— А, это необязательно, — сказал генерал небрежно, — он уже в курсе...

— Я говорю уже о другом, — уточнила Мэг.

Из своей тюрьмы, которая стала уже для него почти местом отдыха, Счастливчик Лючиано развил бурную деятельность. Как Симеон Столпник с высоты своего столпа, он рассылал послания всем сколько-нибудь значительным лицам. Он направлял своих друзей в самые отдаленные деревни Сицилии. Он рисовал разведывательным службам армии детальные карты острова и просил своих там, на Сицилии, оказать должный прием американским войскам и указать им путь по сицилийским лабиринтам. Он потрясал, что называется, небом и землей, но наконец сумел временно выйти на свободу, и уже там, на месте, выполнял роль консультанта во время операции высадки на остров. Он посылал Мэг ходатайствовать за него к генералу Кларку, Маршаллу, Паттону, затем снова — к Эйзенхауэру и самому Самнеру Уэллесу. Тщетно, его не освободили окончательно. Но отказ правительства не обескуражил его. В обмен на обещание общей амнистии (и оно было строго выполнено) он передал секретным службам подробную схему мафиозной организации на Сицилии — сотни семей и тысячи «филиалов», — то есть выдал им грандиозную преступную организацию, не уступавшую той, которой он вместе с Мейером Лански долго руководил сам в Соединенных Штатах.

Через год после окончательной победы, уже в 1946 году, просьба об освобождении, представленная Мэг Малоне от имени Лючиано, была принята к рассмотрению и завизирована Томасом Дьюи. Счастливчик Лючиано был освобожден под честное слово и выселен в Италию, где прожил богатейшим «пенсионером» с таким жизненным опытом, которого хватило бы на сюжет сногсшибательного романа; через пятнадцать или двадцать лет он, как и его приятель Мейер Лански, умер от сердечного

приступа. Расставание экс-миссис Малоне со Счастливчиком Лючиано (к этому времени она уже была разведена со своим мужем) произошло тогда, когда бывший патрон нью-йоркских докеров был еще в тюрьме. Все произошло очень просто и без малейшей аффектации с обеих сторон. И вот через несколько лет бывший муж Мэг, адвокат мафии, мирно сидел с пеной на лице в кресле своего парикмахера, брившего его, и вдруг увидел перед собой в зеркале двух типов в шляпах, одетых в черное и с револьверами в руках. Он не успел и глазом моргнуть, как они открыли огонь и прикончили его на месте. Так Мэг стала вдовой, но ей было на это плевать...

...Четыре человека наклонились и подняли гроб, затем поставили его себе на плечи. Толпа раздалась. Все пятеро — четыре похоронных работника и покойник — медленно двигались вдоль «живой изгороди» слез, которая сама собой вырастала по ходу погребального кортежа. Все молчали. Никто ни на кого не смотрел. Раздавленная печалью, толпа вибрировала на тонкой грани между ощущением абсурда и прозрением вечной тайны. Послышался всхлип, будто скулил зверек, попавший в ловушку. Это плакал Бешир...

...Церемония проходила просто и весело. Шарм Ромена сработал в очередной раз: маршал Жуков взял себе в сопровождающие этого француза, одержавшего двенадцать побед в воздухе. С разрешения командующего Пуйада, который ценил добрые отношения между французами и русскими, он взял его к себе в штаб Первого Белорусского фронта. Ранним весенним утром, уже на германской территории, сразу после форсирования Одера перед объединенными войсками был воздвигнут красный флаг. Были речи и вручение наград: орденов Красного Знамени, Красной звезды, ордена Отечественной войны 2-й степени, орденов Суворова и Александра Невского. Церемония несколько затянулась, когда Ромен, смешавшийся с группой советских офицеров, увидел маршала Жукова, его появление было встречено присутствующими русскими настоящей овацией. Маршал потребовал тишины, произнес несколько слов и вручил собственноручно около десяти крестов — орденов Отечественной войны 1-й степени. Затем он склонился к своему адъютанту, сделал знак рукой — и рядом с красным флагом взвился на шесте французский флаг.

— Можешь мне не верить, — сказал мне Ромен в тот единственный раз, когда он заговорил об этом событии, — но для меня это было потрясением.

Он был потрясен еще более, когда увидел перед собой группу своих французских товарищей, среди них были Марсель Альбер, граф Ролан де ла Пуап, Жак Андре, Марсель Лефевр, которые уже получили высокие советские награды. И еще неожиданность: в толпе новоприбывших он увидел сияющее лицо Тамары.

— У меня стоял ком в горле, — признался он.

Маршал зачитал приказ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Ромену звания Героя Советского Союза. Раздались аплодисменты. Ромен подошел к Жукову, и тот его расцеловал.

— Я тогда здорово разволновался, — признался мне Ромен.

И уже полной неожиданностью стало для него слово, произнесенное перед его фамилией, — это было звание «podpolkovnik». Это что-то вроде лейтенанта-полковника. Этот произвольный дар — следствие своевольной личной симпатии Жукова — через несколько лет во Франции имел не очень приятные последствия: Ромену пришлось пройти через особую процедуру, это было нечто среднее между военным судом и дисциплинарной комиссией. Надо было определиться с экстраординарным статусом лейтенанта элитной авиации в чине лейтенанта-полковника, присвоенного в иностран-

ной армии. Комиссия приняла двоякое решение: учитывая его заслуги, с одной стороны, и ставя ему на вид, что граничило с предупреждением, с другой стороны, назначить его командиром...

Больше всего тронуло Ромена то, что новичок-«podpolkovnik» был уполномочен маршалом вручить несколько наград советским военным. Француз, вручающий на советско-германском фронте советские медали русским, согласитесь, это зрелище не рядового порядка. Что-то сжалось в груди Ромена, когда перед ним предстал обладатель последней гимнастерки, на которую он должен был прикрепить медаль, — это была Тамара. Под гром аплодисментов он поцеловал ее в губы.

Через две недели Ромен, как Герой Советского Союза, был приглашен посетить Москву. Переезд, гостиница, рестораны — все было оплачено. Снег уже таял. На Москве-реке ломался лед. Ромен провел в Москве несколько восхитительных дней в компании с Тамарой: она попросила отпуск и получила его. Держась за руки, они посетили Кремль, соборы Успенский, Благовещенский, архангела Михаила, а также Красную площадь, собор Василия Блаженного, мавзолей Ленина. Прошлись вдоль реки, побывали на Новодевичьем кладбище. Посетили Загорск и его монастыри, Тамару они взволновали до слез и даже повергли в священный трепет. Чтобы успокоить ее, Ромен долго держал ее в своих объятиях.

Через день они решили провести вечер в Большом. На афише стояло: балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева. Когда они подошли к окошку кассы, им объявили, что все места проданы и зал полон. Тамара выступила «парламентером» Ромена перед билетершами. Они пригласили контролера, а тот — директора. Директор оказался седовласым старым человеком и утонченно вежливым. Он коротко переговорил с Тамарой и пригласил молодых людей следовать за ним. Оставив их за кулисами, он вышел на сцену перед занавесом и обратился к публике.

— Товарищи, — сказал он, — Администрация Большого благодарит вас за то, что вы сегодня пришли к нам, и за вашу преданность нашему театру. Я надеюсь, что вы оцените по достоинству сегодняшний спектакль. Я буду краток: у меня есть сообщение и просьба к вам. Сообщение: сегодня среди нас находится французский летчик, который сражается на фронте вместе с нашими воинами и который за свое мужество удостоен звания Героя Советского Союза. И просьба: поскольку зал полон, свободных мест нет, не согласятся ли двое из вас уступить свои места герою и его советской подруге? Двое зрителей, которые окажут такую любезность, получат приглашение на любой спектакль по своему выбору. Спасибо.

И он поклонился. Полная тишина установилась под сводами Большого. А затем в едином порыве весь зал встал...

...Четыре человека наклонились, взяли веревки, лежавшие на земле, и закрепили на них гроб...

...Ромен вошел в Берлин с основными силами маршала Жукова 1 мая 1945 года. Его экипировка выглядела совершенно фантастически: на ногах — американские ботинки (их отдал ему американский офицер, прибывший из Торгау, что на Эльбе, где произошло соединение русских с американцами); штаны остались еще от французской летной формы; фуражка и куртка были советские со знаками «podpolkovnik», с орденом Красного Знамени и Звездой Героя Отечественной войны первой степени.

Перед Бранденбургскими воротами он остановился, взглянул на небо, оглянулся на руины вокруг и вздохнул с облегчением:

— Вот я и в Берлине, — сказал он себе. — Война окончена, и мы ее выиграли.

Ощущение счастья охватило его. Но была и горечь. Ромен не любил войну. Он воевал, потому что так было надо. Но он не любил ее, он воевал против людей, которые любили войну и были ответственны за ту катастрофу, в которую ввергли свою страну и многие другие страны. В этот день пьянящего счастья, когда он наконец дошел до конца войны, и еще миллионы людей вместе с ним, он вспоминал об ужасах в Украине и Белоруссии, о которых рассказывала ему Тамара, о которых он слышал от других или свидетелем которых был сам. Это были неслыханные страдания, гимн смерти, которому, казалось, не будет конца. Начиная с Молли и кончая Тюласном, пять долгих лет он видел рядом с собой искалеченные и безжизненные тела. Его молодость прошла среди слез и трупов. Он вступил в войну почти неосознанно и весело, потому что сам был веселым и ненавидел все тягостное: он всегда был врагом велеречия и погребальной напыщенности. Но жизнь оказалась невеселой, и мир мрачным. Он был потрясен тем, что сумели сделать со своим большим миром такие маленькие люди...

Ужасы жестокости были везде и с обеих сторон. Несколькими днями ранее советские офицеры предложили Ромену пойти с ними на охоту. Он принял их предложение и испытал странное чувство: в Померании теперь можно было ходить без опаски, с ружьем под мышкой, совершенно беззаботно; живые цели, по которым они стреляли, не могли выстрелить в ответ. По пути охотникам встретилась удивительная процессия: верблюды, нагруженные оружием и амуницией; погонщики были татары или монголы откуда-то из Центральной Азии, из мусульманских республик в сандалиях на босу ногу. Верблюды на равнинах Польши и Германии! Ромену пришли на ум слоны Ганнибала в Альпах. В конце дня охотники оказались у какого-то большого красивого поместья и спокойно зашли туда, как к себе домой. Перед крыльцом они увидели пять мертвых тел, лежащих в ряд и прикрытых простыней: хозяйка поместья и ее четыре дочери — из старинной прусской военной аристократии — покончили жизнь самоубийством перед приходом советских войск. Старый садовник, весь в слезах, должен был опустить эти пять трупов в могилы, заранее вырытые по приказу хозяйки; этот старик помнил — еще в прошлом веке — императора Вильгельма II и его знаменитого министра Отто фон Бисмарка, и вот теперь всему этому миру приходил конец...

Было много случаев изнасилования фабричных работниц, торговок, работниц ферм. Ромен не раз наблюдал сцены грабежа и насилия, которые можно было счесть местью русских за все те преступления, что совершались немцами в Белоруссии и Украине. Эти злоупотребления с советской стороны продолжались обычно два-три дня, а затем элитные подразделения восстанавливали порядок.

Иногда трагедия войны обретала черты комедии. В апреле 1945-го, после перехода через Одер, Ромену встретился советский военный врач, уцелевший после Сталинграда; он только что получил письмо от своей жены. Бедняга был в полной растерянности, и Ромен утешал его как мог: жена была уверена, что он погиб в декабре 1942-го, и теперь сообщала ему, что у нее уже трое детей, из которых только старший от него...

Но над всеми бедами и жестокостями войны, более или менее обычными во все времена и у всех народов, — монгольское нашествие, тридцатилетняя война или война в Вандее тоже ведь не были увеселительными прогулками — уже поднималась тень грандиозного бедствия, которое еще тогда не было названо «холокостом»: его чудовищный размах и механизмы еще полностью не определились и станут известны позднее. Летом 1944-го Ромен с группой советских офицеров побывал в Треблинке — это километрах в шестидесяти к северо-востоку от Варшавы, куда только что пришли

советские войска. А до этого, в последние дни апреля, ему довелось разговаривать с американским офицером, тем, что отдал ему свои ботинки, так что названия «Аушвиц» («Бжезинка»), «Бухенвальд», «Дахау» уже были ему известны. И накануне падения столицы Рейха, который должен был простоять тысячу лет, он имел возможность поговорить с женщинами и детьми, которых русские освободили из Равенсбрука...

— Я ведь тоже еврей, — говорил себе Ромен, сжимая кулаки. — Моя мать была еврейкой. Значит, я тоже еврей...

Пройдя через пять лет войны, он поражался тому легкомыслию, с которым тогда в Марселе, пять лет тому назад, разыграл в жребий свою жизнь. Понадобилось много времени и испытаний, пусть даже он переносил их с легкостью, если это были только его собственные испытания, которых он никогда не боялся, чтобы понять, насколько правильным оказался его выбор. Расстреливать заложников или партизан — это еще как-то вписывалось, на худой конец, в жестокие законы войны, если их можно вообще назвать законами. Но расстреливать евреев за то, что они евреи, — такое искупить нельзя было ничем.

— Все забывается, — сказал тогда Ромен американскому офицеру, прибывшему из Торгау. — И войны забываются. Но страдания евреев останутся навсегда укором миру.

Ромен был счастлив от того, что лагерь победителей, к которому он принадлежал, был в то же время лагерем правды, справедливости и добра, которое победило зло. Он обожал Рузвельта и особенно Черчилля: он один, покинутый всеми, обреченный на смерть, запертый на острове, как в тюрьме, бросил вызов Гитлеру. Он почитал Де Голля, который наперекор всему спас честь Франции в глазах всего мира. И он уважал Сталина.

Уже через много лет Ромен рассказал мне, как поразило его уничтожение двадцати тысяч пленных польских офицеров в Катыни:

— Это стало для меня еще одним доказательством дикарства немцев, хотя доказательств больше и не требовалось. Солдаты, способные на такое преступление, способны на все. А потом...

Он замолчал и махнул рукой.

— Что потом? — полюбопытствовал я.

— А потом стала просачиваться правда. Ее старались скрыть, но она в конце концов вырвалась наружу. В Катыни убийцами не были немцы — это были русские... Для меня катынское дело стало драмой дважды — трагедией с двойной отдачей, открытием наоборот. До этого я с каждым днем все больше узнавал о зверствах нацистов. Я жил среди русских, их храбрость поражала меня. Я полюбил их. Я не был коммунистом, но был расположен признать за Сталиным немало достоинств. Я ничего не знал о советских концлагерях и миллионах жертв его режима. Когда русские рассказывали мне о Катыни, я разделял их чувства. Только гораздо позже я узнал, что есть сомнения по поводу виновных в этом массовом убийстве. Честно говоря, я сразу не поверил, что русские могут быть повинны в нем. Только когда они сами восстановили правду и признались в своем преступлении, только тогда поверил и я. Для меня это стало страшным ударом. Я другим взглядом посмотрел на век, в котором живу. Мой лагерь — лагерь правды — тоже оказался способным на все. Я спрашивал себя: не является ли Трумэн, бросивший атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, тоже преступником против всего человечества? Просто ему повезло стать победителем и опередить своих чудовищных противников, которые, если бы могли, сделали бы то же самое — и еще хуже...

Он засмеялся и хлопнул меня по плечу:

— Я становлюсь помпезным. Рассказываю о своей войне и о своих душевных метаниях. Не будем больше об этом. Ты же знаешь: я ни во что

не верю. Ни в Бога, ни в Сталина. Впрочем, Сталин — и мне стыдно за это — продержался у меня дольше...

...Но тогда, перед Бранденбургскими воротами, Сталин еще держался крепко. И даже крепче чем когда-либо. Он победил самую мощную военную машину всех времен. Его победная тень простиралась над всем миром. Народы мира курили ему фимиам. Великие умы льстили ему. Красные флаги с серпом и молотом развевались повсюду. Советская армия, которая оставила на полях сражений более восьми миллионов убитых, располагалась теперь в оккупированном Берлине. Через сто лет после «Манифеста коммунистической партии», через двадцать пять лет после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, в результате победы Сталина над Гитлером (хотя тот напал первым двумя сотнями дивизий, шестью тысячами танков, тремя тысячами самолетов, и не сразу был превзойден количественно) — в результате коммунизм устанавливался в самом сердце Европы, и, как многие думали, — навсегда...

Ромен въехал в разрушенный Берлин на командирской машине, которая беспрерывно ломалась, — водитель Евгений то и дело чинил ее с помощью обрывков веревки. Русские выиграли эту войну на транспорте, который по большей части не работал, но они как-то умудрялись приводить его в движение. В каких-нибудь ста метрах от Бранденбургских ворот машина стала как вкопанная. Дальше Ромен двинулся пешком. Пушечная пальба уже стихла. Время от времени были слышны только отдельные автоматные очереди — это стрелки-одиночки на крышах дорого продавали свою жизнь. Ему попалась на глаза группа советских солдат, толкавших немца в разорванном мундире.

— Что происходит? — спросил Ромен по-русски.

— Ничего, — ответил сержант. — Мы его расстреливаем.

Ромен посмотрел на немца. Он был невысокий, темноволосый, со славной физиономией. Даже под восьмидневной щетиной можно было разглядеть, что ему всего лет тридцать, или чуть больше. Он сам прислонился к обломку стены и спокойно ждал приказа стрелять и последнего залпа.

— У него было ружье, и он пустил его в ход.

И сержант потряс осадным ружьем, которое он отобрал у немца.

— Ну что ж, — сказал Ромен, — еще один пленный.

— Ба! — воскликнул сержант. — Их и так слишком много. Проще расстрелять его.

— Нет! — возразил Ромен. — Пленных не расстреливают.

Сержант засмеялся:

— Если его не расстрелять — так что с ним делать? Не таскать же его за собой весь день!

— Я заберу его, — сказал Ромен.

Слегка поколебавшись, сержант как бы с сожалением взглянул на полковничьи знаки отличия Ромена и наконец уступил:

— Как прикажешь, «tovaritch podpolkovnik».

Опустив злополучное осадное ружье, он махнул рукой — и его солдаты убрали ружья на плечо.

Достав наган, Ромен сделал знак своему пленнику следовать за ним. Как раз в этот момент его машина, чудом приведенная в ходовое состояние Евгением, выезжала из развалин, которые прежде были Унтер-дер-Линден. Вдвоем они забрались в машину. Ромен положил наган в кобуру.

— Спасибо, — сказал по-французски пленный; он был в полном изнеможении.

Ромен искоса посмотрел на него, держа руку у кобуры, которую еще не успел закрыть.

— Так ты не немец? — спросил он.

— Нет.

— Француз?

— Нет.

— Не эльзасец?

— Нет.

— Я так и думал, — сказал Ромен. — Ты не похож. Но кто тогда?

Человек пожал плечами. Он явно не хотел говорить.

— Итальянец? — настойчиво добивался Ромен. — Испанец?

— Нет.

— Тогда... калмык, киргиз, чеченец? Мусульманин?.. Араб, вероятно?

— Можно сказать и так.

— Из армии Власова?

— Нет.

Он отвечал с явной неохотой.

Ромен почувствовал, как в нем закипает гнев; он набросился с кулаками на пленного, а тот лишь уклонялся от ударов, защищая руками лицо.

— Придурок! Кто тебя перетащил на сторону убийц? Почему ты к ним пошел? Ненавидел коммунизм?

— Да плевал я на коммунизм...

— Тогда ты вообще идиот. Но это же не из-за любви к Гитлеру и национал-социализму ты оказался в СС? И не из-за денег? Может быть, это была женщина? Тоска? Что это было?..

— Случай, — ответил тот устало.

— Случай?.. Да, это сильная штука, я кое-что о нем знаю. Но его нужно приручить, пользоваться им и направлять его в нужную сторону. Ты ведь не немец, и ты не пытался удрать от них в первый же удобный момент?

— Нет.

— Ты не мог или не хотел?

Пленный опять пожал плечами. Машина резко вильнула в сторону, чтобы не раздавить простертый на земле труп.

Помолчали.

— Так что ты делал в Берлине?

— Я был в охране Гитлера.

Ромен схватился за голову.

— В охране Гитлера! Какая скотина! И что я теперь должен с тобой делать? Ты хоть понимаешь?

— Да, — сказал Бешир.

И, отвернувшись от Ромена и глядя в пустоту, он опять пожал плечами...

...Ромен и Бешир, каждый по отдельности, пересказывали мне эту сцену и почти одними и теми же словами. Они сблизились именно тогда. Бешир был обязан Ромену всем, прежде всего, самой жизнью. И вот теперь гроб с Роменом медленно опускался в безликую яму, где ему предстояло простоять несколько лет, которые мы называем «вечностью». Бешир горько плакал.

— Я бы так хотел, — прошептал он мне между всхлипываниями, — умереть вместо него.

Рядом с Беширом я увидел Виктора Лацло. Я вдруг вспомнил то, что он мне недавно говорил о месте Гитлера и Сталина в современной истории и в книгах, которые должны все это описать и объяснить. Те давние нити, которыми история связала Ромена и Бешира, заброшенных силой обстоятельств во враждебные лагеря, их оборвать невозможно: путы прошлого слишком крепки. Крепче их только нити любви...

Марина не помнила себя от горя — ее поддерживала дочь. И у Марго ван Гулип уже не хватало слез...

Земля еще не накрыла его полностью, но уже усыпала все тело. Мир, который он так любил, если он мог его видеть оттуда, где лежал, должен был выглядеть лишь квадратом серого неба...

Вообще, в жизни было немало того, чему он уделял мало внимания: смерть, религия, деньги, политика, газеты, прошлое и будущее. Его жизнь прочно обосновалась в настоящем, далекая от дебатов и «великих проблем», которыми нам прожужжали все уши; в сущности, это была жизнь физическая. Ключ к его разгадке, возможно, потрясающе прост: он был очень здоровым человеком. Никакой астмы или аллергии, как у Пруста. Ни обмороков на манер Паскаля или Кафки. Он не был эпилептиком, как Флобер или Достоевский, и не был хромым, как Байрон. В общем, никакой ущербности, которая часто обнаруживается в собственных признаниях художников и писателей. И я подозреваю, что его сексуальные возможности были побогаче, чем у какого-нибудь Арагона.

— Честное слово, — говорил он мне не раз в беседе, — ну незачем мне заниматься писаниной.

Когда я только познакомился с ним, я, естественно, расспрашивал его о его прошлом. Оно было несложным. В силу обстоятельств он не получил систематического образования. Он окончил первый курс лицея в Марселе, и в том возрасте, когда ему положено было сдавать «башо», как тогда говорили (экзамен на степень бакалавра — примеч. перев.), он уже копался в обгорелых самолетах на английском аэродроме. Вернувшись с войны, он два-три года много читал — гораздо больше, чем хотел в том признаться. И не то, что, как говорится, подворачивалось под руку, а все, что нужно было прочесть. Что мы обычно читаем? То, что хочется. По чудесному совпадению, Ромену всегда хотелось читать только хорошие книги. Я никогда не видел его читающим один из этих модных романов, которые забываешь через несколько недель, ни то, что удостоено литературных премий, ни то, что обсуждается в газетах и еженедельниках, их он тоже не читал. Он интересовался Сен-Симоном, Шатобрианом, Прустом, еще несколькими, но никогда об этом не говорил.

Он никогда не работал в том смысле, который обычно придают этому слову: письменный стол, расписание на день, папки с бумагами, патрон, клиенты, подчиненные. Такую работу он терпеть не мог. У него было одно ценное свойство: он редко ошибался. Он знал не так уж много, но инстинктом угадывал все. Его близкое знакомство с художниками, писателями, музыковедами, учеными, как Казотт, астрофизиками, как Далла Порта меня сначала удивляло. А объяснение было простым: он не говорил глупостей.

Вскоре после войны он был приглашен в СССР в числе других Героев Советского Союза. Избегая официальных церемоний, которые всегда были ему невыносимы, он отправился по специальному разрешению в Самарканд и Бухару, одни названия эти были для него как сказка. Люди с Запада, получившие разрешение посетить Узбекистан, были чрезвычайно редки в то время. Ромен одним из первых французов посетил могилу Тамерлана, обнаруженную в Самарканде русскими археологами в тот самый день, или около того, когда Германия развязала войну против СССР, 21 июня 1941-го. Красота этого места, хоть и нарушенная различными работами и лишними постройками, привела его в восторг. Ромен заинтересовался Тамерланом, до сих пор известным ему только по имени, больше он не знал о нем ничего. Затем ниточка потянулась к монголам и Чингисхану. Одна история совершенно восхитила Ромена: в XIII веке в лагере крестоносцев пронесся слух, что на их противников — мусульман — с тыла напал серьезный враг. Христиане тут же вообразили, что этот воин, упавший с неба к ним на подмогу, был Священник Иоанн, легендарный покровитель христиан, потомок

царя Соломона и царицы Савской, владения которого, по легенде, располагались где-то между Индией и Эфиопией. Но мнимый союзник оказался не Священником Иоанном, а свирепым Чингисханом, крайне враждебным к христианству во главе бесчисленных монгольских орд...

Из Самарканда и Бухары Ромен привез несколько вещиц: шелковый ковер, который ему понравился, старинный кинжал в ножнах, несколько украшений, шкатулку, инкрустированную грубо обработанными камнями. Приехав в Париж, он сразу позвонил своему однокашнику по лицею, бывшему, как и Симон Дьелефи, его давним другом — Адриену Казотту; Адриен поступил в Школу на улице Ульм приблизительно в то же время, что и я, и начал специализироваться по цивилизациям Древнего Востока. Они позавтракали вместе у Бальзара, и Ромен, снимавший тогда комнатку в районе улицы Муфетар, показал ему свои сокровища, разложенные на кровати.

Казотт долго молча рассматривал их. Потом сказал, присвистнув:

— И сколько ты за это заплатил?

— Ба! Я точно и не знаю, — сказал Ромен. — Я платил в рублях. Что-то между тремя и пятью тысячами франков за все. И что — меня надули?

— Ну... — проговорил Казотт, — кого-то здесь, конечно, надули, но только не тебя. Прикинув на глаз, я бы сказал, что эти твои штуки сегодня в Париже стоят в сто, а может быть, в двести раз больше, чем ты отдал за них.

Ромен сделал широкий жест. Самую красивую вещь своей зарождающейся коллекции — шелковый розово-голубой ковер начала XVII века он подарил музею Гиме. Он завязал знакомства с археологами и специалистами по истории искусства, и те вскоре поняли, что этот молодой двадцатипятилетний человек не является ни эрудитом, ни оборотистым торговцем, ни спекулянтом, что это просто любитель с хорошим вкусом и с удовольствием помогали ему советами.

Ромен еще несколько раз побывал в России. Во время одного из своих путешествий он завернул в Тегеран, где он уже побывал несколькими годами ранее по пути из Сирии со своими товарищами по «Нормандии-Неман». Он добрался до Испахана, Шираза и Персеполиса. Иран ослепил его своей красотой. В столице шаха Аббаса он долго бродил по Майдан-шаху с его великолепными мечетями и в садах дворца Чехель-Сотун любовался легендарной красотой замка Сорока Колонн, удвоенной его отражением в бассейне. Он привез оттуда золотые скифские украшения с растительным и животным орнаментом, маленького каменного льва, приобретенного в Луристане или Персеполисе, персидские миниатюры и старинные ткани. Каменного льва он подарил мне. Я намеревался теперь положить этот подарок в его могилу, но потом передумал: он не хотел бы, чтобы смерть взяла верх над жизнью, хотя бы и через этот маленький предмет...

Каждый год Ромен проводил несколько недель в Азии. Под предлогом репортажей для газеты, в которой я тогда работал, и чтобы подготовиться к написанию книги, которая потом получит название «Слава империи», я посещал вместе с ним Индию, Афганистан, Китай.

Сейчас я стоял на краю его могилы: его вот-вот должны были зарыть; от этой мысли кровь стыла в жилах и хотелось застонать, а в голове вереницей проносились воспоминания: вот мы с ним у могилы императора Цин Че Хуанг-ти, охраняемой огромной армией терракотовых солдат; вот мы в Гилине, где непрестанно шел дождь и где журавли, летящие над острыми горными пиками, казались сошедшими живьем с китайских картин, которые ранее только казались нам придуманными, здесь не хватало только старого мудреца в белых одеждах, медитирующего с кисточкой в руке, вместо него пейзаж дополняли красногвардейцы; вот мы в храме Солнца в Конараке с его высеченными из камня колесами, или в Пури в отеле Юго-

Восточной железной дороги, очаровательно старомодном, с огромными деревянными, медленно вращавшимися вентиляторами, где мы готовились наблюдать за многолюдной процессией, красочной и даже несколько пугающей, в честь лорда Джаганната аватара самого Вишну.

Мальро, например, привозил из Индокитая кхмерские статуи, которые выламывались из многочисленных храмов Ангкора. Ромен же привозил отовсюду вещи, которые покупал, как правило, недорого, но которые вызывали восхищение и зависть знатоков. Он обладал безошибочным чутьем и, поначалу не зная ничего, постепенно приобрел вместе с вазами, мифическими животными, статуэтками из нефрита обширные и, главное, точные познания по искусствам Востока. Так, год за годом, он собирал свою небольшую коллекцию шедевров, и это давало ему возможность вести свободный образ жизни.

Ромен был всяким: милым, обольстительным, циничным, храбрым, великодушным, эгоистичным, привлекательным и невыносимым. Многие из тех, кто провожал его сегодня на кладбище, любили его именно за это: прелесть цинизма и очарование эгоизма. В жизни он ценил прежде всего свободу. Именно свобода украшала жизнь его собственную, а затем и жизнь других возле него.

...Последний акт подходил к концу. Люди в черном подняли обратно веревки, на которых был спущен гроб. Смотали их и уложили, они сделали свою работу и сейчас вернутся к другим делам. И еще раз, в последний раз, мне отчаянно захотелось услышать благословение этому уходящему телу, услышать над ним пение в честь... не знаю чего: жизни, смерти, этого жестокого мира... Толпа топталась в нерешительности на аллее кладбища. Первой подошла к могиле с розой в руке Марго ван Гулип...

...Мэг и Америка... Ромен оказался в Америке в первый раз. Он прибыл сюда не через нью-йоркский порт, как большинство европейцев. Он прибыл с запада через Китай, Японию и Индонезию. По пути он посетил Киото, Нару и грандиозный храм Боробудур с его буддийскими «ступами». Затем пересек Атлантический океан. Провел пару недель в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Президентом США тогда был Трумэн. Война в Корее была в разгаре; свирепствовал маккартизм. Потом Ромен отправился в Нью-Йорк. Здесь он тоже повидал немало: «Met», «MoMa», «Frick Collection». Если он оказывался в музее — что случалось не так часто, — он не перебегал от картины к картине. Он выбирал одну, стоял перед ней некоторое время, а затем уходил. Посетив «Frick», он особо выделил для себя «Польского кавалера» Рембрандта. В «Metropolitan» он долго стоял перед картиной Мане, которая, похоже, иллюстрировала одну из новелл Мопассана «В лодке»: на ней изображены сидящие рядом в лодке двое, усатый господин в канотье, тип «красавца мужчины», в белой нательной рубашке и панталонах, и женщина, с длинными волосами, в бледно-голубом платье, под вуалеткой она выглядит немного таинственно. Вода доходит почти до верхнего края картины.

Выходя из музея, Ромен увидел молодую женщину, входящую в него... Это уже не были времена викторианской чопорности, перенесенной на землю Новой Англии. И это еще не было время пуританского феминизма, который отбивает у американских женщин всякое желание общаться с мужчинами. Это был один из тех послевоенных периодов, в которые мужчины — что совершенно естественно — особенно интересуются женщинами. Он взглянул на нее сначала рассеянно, затем внимательнее. Нашел, что она красива. Походка королевы. Затаенное внутри веселье. Он почувствовал, что она тоже его заметила и даже бросила ему... нет, это был даже

не намек на улыбку, а просто один из тех взглядов, по которому еще нельзя судить о духовной близости людей, но который дает почувствовать, что ты замечен и отмечен. Ему захотелось поговорить с ней. Она держала за руку, а потом взяла на руки ребенка двух-трех лет. Дети, как и собаки, иногда дают мужчине предлог заговорить с женщиной. Ребенок был одет по традиции в бело-голубое и совершенно очарователен, и от этого Ромен почему-то оробел. Он мгновение колебался: не вернуться ли в музей, из которого он только что вышел. Затем побоялся показаться смешным.

— Не буду же я, в самом деле, увиваться за женщиной с малышом, — сказал он себе.

Сделав сначала движение, чтобы вернуться в музей, он с сожалением все-таки ушел. Ему, впрочем, показалось, может быть, напрасно, что взгляд молодой женщины, украдкой перехваченный им со стороны, выражал легкую иронию...

Начало осени в Нью-Йорке бывает очень красивым. Ромен, как и все, был под впечатлением от этого вытянувшегося вверх города, новизны и необычности нагромождения его небоскребов в сочетании со старыми красными автобусами и воздушным метро, проходившим над Третьей Авеню и доживавшим уже свои последние дни, его тогда называли «elevator», но потом это слово несколько изменило свое значение. Война еще не успела уйти далеко в прошлое, и Ромен, вспоминая разрушенный Берлин, представлял себе, во что могли бы превратиться эти «skyscrapers» от бомбы как та, что была сброшена на Хиросиму, или даже от воздушного налета, как те, которых он немало повидал. Выйдя из музея, он пошел в Ценральный парк и долго с удовольствием гулял там. Его удивила многочисленность молодых людей и их оживленное настроение: в войне погибло более сорока миллионов людей, военных и гражданских, из них русских около двадцати миллионов и немцев около восьми миллионов, американцы же во всех своих военных операциях потеряли менее трехсот тысяч человек; они воевали не на своей территории и выиграли войну, не испытав тех страданий, что их союзники и противники.

Адриен Казотт, марсельский ученый друг Ромена, имел брата, старше его на двенадцать или пятнадцать лет, который был генеральным консулом в Нью-Йорке.

— Позвони ему, если будешь проездом в Нью-Йорке, — сказал Адриен Ромену. — Он любит музыку и живопись. Ты быстро найдешь с ним общий язык.

Ромен вернулся в свой отель — это был «Algonquin», № 42 или 43 на Западной улице между 50-й и 60-й авеню (за комнату в нем Ромен платил 11 долларов), немного посидел в баре, а затем позвонил в консульство. Его быстро соединили с братом Адриена; тот отнесся к нему дружески и тут же сообщил, что через день устраивает обед в честь знаменитого пианиста, поляка по происхождению (его имя мало что говорило Ромену).

— Мы собираемся в «Pavillon» — это довольно известный ресторан на Восточной улице, 57. Приходите и вы. Мне будет очень приятно познакомиться с французским другом моего брата, о котором он мне столько рассказывал.

Ромен принял приглашение. Назавтра, наивно полагая, что нужно явиться в точно назначенное время, он явился первым в ресторан, который был еще почти пуст. Чувствуя себя несколько стесненно, он немного побеседовал о погоде с консулом, высоким, немного чопорным и в общем симпатичным человеком, пока наконец не стали появляться приглашенные. Их появление повергло Ромена в еще большее смущение: женщины были в вечерних туалетах с немалым количеством украшений; все мужчины, как и сам консул, были в смокингах «dinner jacket». Он один был

в темном костюме с голубой рубашкой и черным трикотажным галстуком, который уже тогда повсюду возил с собой. Он извинился перед хозяином за свой вид.

— Не обращайте внимания, — успокоил его консул. — Это что-то вроде игры, которую любят наши друзья, но никто не относится к этому всерьез. А вообще американцы — самые простые люди в мире.

Однако впереди был еще один сюрприз этого обеда. Сразу после польского пианиста, встреченного с непривычным сочетанием шумного веселья и почтительности, появилась и последняя гостья. Ромен сразу узнал ее и испытал при этом легкий шок в виде приятного холодка в желудке: это была та самая молодая женщина у музея. Сопровождаемая консулом, она обошла всех приглашенных. Она знала почти всех, некоторых поцеловала. Когда дошла очередь до Ромена, консул представил его в хвалебных выражениях. Слух Ромена выхватил только имя незнакомки:

— ...Один из редких французов, удостоенных звания Героя Советского Союза; а это, мой друг, мадам Мэг Эфтимиу: о ней можно сказать, что она — одна из королев Нью-Йорка.

Они посмотрели друг на друга улыбаясь.

— Вы уже знакомы? — спросил консул с любопытством.

— Бог мой, — ответил Ромен, — достаточно для того, чтобы иметь право восхищаться издали.

«Музейная» незнакомка сейчас была еще прекраснее, чем тогда. Она была в черной, расширявшейся книзу юбке почти до щиколотки, и в черном бюстье, которое, подчеркивая бедра, делал талию особенно тонкой. А над этой талией — широкие плечи и, главное, смеющиеся синие глаза в сочетании с длинными черными волосами... В общем, это была прекрасная живая статуя, само воплощение жизни и радости.

Приглашенные стояли с фужерами в руках, обмениваясь незначащими фразами, которыми обычно тянут время. Затем возникла легкая суета, по приглашению консула, гости перешли в маленький обеденный зал. На круглом столе были расставлены приборы и стаканы, перемежавшиеся букетиками анемонов и лютиков с листиками и мхом, и стояли картонные таблички, на которых голубыми чернилами были написаны от руки имена приглашенных. Место Ромена оказалось рядом с прелестницей из «Metropolitan». Жизнь складывалась совсем неплохо...

...Она стояла сейчас передо мной, неподвижная, затерянная в своих воспоминаниях, все еще держа розу в руке. Задержав движение руки, утопая в нахлынувшей печали, она отчаянно пыталась задержать ход времени... и не решалась первой бросить цветок на гроб, в котором исчезало ее прошлое...

— Мне как всегда везет, — объявил Ромен, усаживаясь рядом с ней. — Благодарю вас за то, что вы так красивы, и за то, что сидите рядом со мной.

Она засмеялась. Потом слова пришли сами собой. Смущение исчезло, и они разговаривали так свободно, что это было удивительно им самим.

— Простите меня, — говорил Ромен, — но один вопрос прямо-таки рвется из меня наружу: вы заметили меня позавчера у музея? И поняли, какое впечатление произвели на меня?

Она опять рассмеялась. Разве об этом можно спрашивать незнакомую женщину? Нет, конечно, что он себе вообразил? Она не припоминала никакой встречи у музея... И все же ей казалось, что лицо Ромена ей не совсем незнакомо... она определенно его где-то видела... И она посмотрела на него.

— Любопытно, — сказал он. — Я никого здесь не знаю, а вот вы... мне кажется, что я знаю вас уже целую вечность.

— Вы хотите, — сказала она тихо, — чтобы я рассказала вам о людях, с которыми мы обедаем и которых вы не знаете?

— Я предпочел бы, — прошептал он, — чтобы вы рассказали о себе.

— Тем хуже для вас, — возразила она, — потому что я начну с других.

И она быстро перевела разговор...

Немного дольше она задержалась на даме с сиреневыми волосами, крупной, уже в возрасте, которая сидела по правую руку от консула. Это была хозяйка одного из самых знаменитых салонов Нью-Йорка. Она устраивала много приемов, интересовалась музыкой, лекциями, культурой и занималась благотворительностью в пользу «Альянс франсэз».

— Она определенно захочет пригласить вас, — сказала Мэг Эфтимиу.

— Вместе с вами? — спросил Ромен.

— Скорее вместе с Артуром.

— С каким Артуром?

— С Артуром Рубинштейном, — пояснила Мэг.

Артур Рубинштейн и был тем пианистом польского происхождения, уже очень известным в Америке, в честь которого давался обед. Это был человек маленького роста, лет шестидесяти, очень быстрый, с подвижным, на удивление изменчивым лицом, почти комичным; его курчавые волосы стояли дыбом и он говорил на всех языках.

— Это гений, — сказала о нем Мэг. — Он великолепно исполняет все. Но особенно — Шопена.

Пианист сидел справа от хозяйки салона, поклонницы французской культуры и, как все за столом, говорил по-французски.

— Все за ними следят, — прошептала Мэг. — Так забавно видеть их вместе.

— Это почему? — спросил Ромен.

И Мэг рассказала ему, понизив голос до шепота, следующую историю. Где-то в начале войны в Европе, или перед самой войной, дама с сиреневыми волосами заранее попросила Артура за месяца полтора-два прийти поиграть в ее салоне.

— Мы пообедаем все вместе, а затем вы сядете к фортепьяно и осчастливите нас своей игрой.

Она спросила о его условиях на этот вечер, и они сошлись на цене, которая устраивала обоих.

Рубинштейн относился с некоторым недоверием к этой особе, которая слыла неразборчивой в выражениях и бестактной. О ней рассказывали, что в Риме, на приеме у папы, она обратилась к нему «ваше святопрестолие»; что накануне войны она распространялась в сожалениях по поводу «данцигского коридора»; что она пригласила трио братьев Паскье играть у нее в салоне, а в конце вечера вручила конверт Пьеру Паскье и на глазах у двух его изумленных братьев просюсюкала:

— Это чтобы дать вам возможность увеличить ваш маленький коллектив.

За пятнадцать дней до условленного концерта, словно для того чтобы подтвердить его опасения, Артур получил от этой дамы витиеватое письмо. В нем она сообщала, что вице-президент США и глава Сената будут присутствовать у нее не только на вечере, но и на обеде. Она поясняла музыканту, что в таких обстоятельствах ситуация за столом должна быть пересмотрена. В конечном счете, ее просьба сводилась к тому, чтобы Рубинштейн пришел в ее салон «осчастливить гостей» только после обеда. В качестве компенсации она предлагала ему прибавить 25 % к той сумме, которая была ранее оговорена.

Рубинштейн ответил письмом, текст которого обошел весь Нью-Йорк и которое Мэг пересказала Ромену дословно:

— Мадам, я получил ваше письмо, отправленное в среду. Благодарю вас за него. Если я не обязан более обедать с вами, то буду рад сделать вам скидку в 25 % от прежней договоренности.

Искренне ваш
Артур Рубинштейн

История позабавила Ромена. Он другими глазами посмотрел на героя торжества; впоследствии он стал его горячим поклонником и близким другом. И с еще большим интересом Ромен стал приглядываться к жизнерадостной соседке, которая рассказывала ему все это.

Артур Рубинштейн, явно примирившийся с дамой, которую он тогда сумел из палача превратить в жертву, до слез смешил приглашенных, неотразимо забавно изображая Трумэна, Чаплина, Дали и своих коллег-музыкантов. Тем временем Мэг и Ромен были заняты только друг другом, как если бы они были одни за столом, а может быть, и в целом мире.

Они говорили о Трумэне, о Дьюи, который три года назад был его неудачливым соперником на президентских выборах; о Джозефе Маккарти — сенаторе-республиканце от штата Висконсин и яром антикоммунисте, о генерале Мак-Артуре, который собирался продолжить наступление до самой китайской границы и которого Трумэн снял с поста командующего войсками в Корее; о докладе сенатора Кефауэра об организованной преступности в стране и о маленькой дочке Мэг Эфтимиу, которую звали Марина. Но при этом они говорили прежде всего о себе самих.

— Этого Дьюи, — спрашивал Ромен, — вы его знаете лично?

— Да, отвечала Мэг, — я была с ним знакома. У него были отличные усы. Он носит их и теперь.

— Так вы были с ним знакомы! — восклицал рассеянно Ромен, любуясь рукой Мэг, державшей сигарету.

— Я была связана с одним из его противников.

— Политическим противником?

— Не совсем, — отвечала Мэг. — Это был Счастливчик Лючиано.

— Счастливчик Лючиано?— переспросил Ромен. — А кто это?

— Гангстер, — ответила Мэг. — Один из главарей мафии.

Они говорили о мафии, о «сухом законе», о нью-йоркских докерах, о высадке союзников на Сицилии. Ромен верил всему, что рассказывала Мэг, и не напрасно: все было правдой.

— Тогда, мне кажется, — сказал Ромен, — доклад сенатора должен был вас сильно заинтересовать.

— Он навеял мне воспоминания. Сейчас я уже не в деле. Я соскочила с поезда. Я вышла замуж.

— За Счастливчика Лючиано?

— Нет. За его адвоката.

— Он отец вашей дочери?

— Нет. Отец моей дочери мой второй муж. Или, точнее, третий. Его фамилия — Эфтимиу. Это греческий нефтяник.

И они продолжали говорить... Они обменивались словами, словно фишками в таинственной игре, правил которой они сами не знали, но которым невольно подчинялись. Они поочередно двигали их — осторожно и в то же время смело — даже с каким-то наслаждением, и все это, отделяя их от этого вечера и от всех присутствующих на нем, толкало их друг к другу.

— Ваша дочь... — говорил Ромен, — ваша дочь... она была в чем-то белом и голубом. Издали я сразу не разобрал, девочка это или мальчик. Но потом она показалась мне восхитительной. Я чуть было не вернулся в музей, из которого вышел, чтобы пойти следом и еще раз увидеть ее.

Мэг Эфтимиу засмеялась. Она очень хорошо смеялась, открыто, без стеснения, но и не вызывающе. Ромену нравилось видеть ее смеющейся. И еще больше — вызывать ее смех.

— Моя дочь — все для меня. Какими бы ни были чувства отца к сыну, а тем более, к дочери (я даже знаю таких, которые любят дочерей до безумия), любовь матери к своему ребенку, которого она выносила в себе, — это нечто такое, чего мужчины понять не могут. В мире я повидала многое, а теперь весь мир для меня в моей дочери.

Ромен сразу понял, что третий муж значил для нее не больше, чем первые два.

— А с ее отцом, — спросил он, — ...вы с ним познакомились в Нью-Йорке?

— В Нассау, — ответила она. — Я была там с друзьями. А у него там был корабль.

— Большой корабль?

— Большой корабль.

Она посмотрела на него. Он смотрел в ее глаза, смотревшие на него. Синева ее глаз была чистой и глубокой, словно омытой блестящими успехами ее жизни, которые были в то же время и ее печалями...

Они смотрели друг на друга... Ромен молча взял руку своей соседки, и она не отняла ее...

— Давайте уйдем, — шепнул он ей на ухо.

— Пожалуй, — согласилась Мэг.

Едва выйдя за двери ресторана, они испытали облегчение, смешанное с приятной тревогой, она была вызвана той свободой, которую они сами себе отвоевали своим уходом. Шел небольшой дождь. Капли звонко стучали по полотну «awning» — так называется длинный тент, натянутый на металлический каркас: на нем в городе обычно обозначают улицу, номер дома и название заведения. Некоторое время они стояли молча, не зная, как себя вести дальше, и прислушиваясь к своим ощущениям.

— Ну что ж... — начал Ромен.

Она подняла голову. Он взял ее за плечи.

— Спасибо за все, — сказал он.

— Вы не хотите пригласить меня в «El Marocco»? — спросила Мэг.

— Я очень плохо танцую, — извинился он.

— Волокита, — бросила она ему смеясь. — Волокита, который не танцует...

— Вы знаете... — начал он и замолчал.

— Что же? — подтолкнула она.

— Это счастье для меня — то, что я вас встретил.

Посыльный ресторана, ушедший под дождем за автомобилем Мэг, подогнал его к выходу.

— И куда вы пойдете, месье нетанцующий?

— В «Алгонкин», — ответил Ромен.

— У вас нет авто?

— Нет, я — бедный путешественник.

— Тогда садитесь, — пригласила Мэг.

Они ехали в машине под дождем. Тишину нарушали только четкие, как метроном, щелчки дворников. Мелькали улицы за улицами, возникали силуэты домов, очень разные: элегантные и неуклюжие. Мэг вписывалась в повороты с некоторой нервозностью. Наедине в машине, они казались друг другу более чужими, чем среди толпы в ресторане. Они вдруг словно спохватились, что толком не знают друг друга, и между ними пролегла неловкость...

— Как вы думаете, — спросил наконец Ромен, — мы с вами еще увидимся?

— Почему нет? — спросила Мэг.

— А почему да?

— Но это же вы верите в случай, — возразила Мэг.

— Я верю в то, что нужно ему помогать.

Они снова замолчали, и это молчание разделило их, как стеной, чем-то похожим даже на враждебность, чего они никак не могли преодолеть. Вдруг Ромен воскликнул:

— Остановите!

Она резко затормозила. Он выскочил из машины и затерялся в пелене дождя:

— Подождите меня!

Через несколько мгновений он появился с полными руками роз. Он успел заметить одного из ночных торговцев, которые продают цветы в ресторанах: тот толкал перед собой детскую коляску, заполненную красными и белыми розами. Это был афганец или индус, возможно бывший солдат старой армии той Индийской империи, которой лорд Маунтбетен, вместе с верной леди Маунтбетен (поклонницей Ганди и другом Неру) недавно вернул независимость. Индус увидел, как из пелены дождя выскочил человек и крикнул:

— How much?[1]

— How many?[2] — уточнил индус с таким густым акцентом, что хоть режь его ножом.

— All of them![3] — крикнул Ромен.

Он бросал розы охапками в голубой шевроле, и вместе с льющимся от них ароматом в открытую дверцу лился дождь. Мэг не могла произнести ни слова, а потом они оба рассмеялись.

Они еще продолжали смеяться, когда Мэг, притормозив, указала пальцем на высокий дом.

— Я живу здесь, — сказала она.

— Тогда высадите меня здесь. Мой отель недалеко отсюда, и дождь уже небольшой. Я дойду пешком.

— Как хотите, — сказала она.

Автомобиль остановился. Дождя почти не было.

— Помогите мне хотя бы отнести это домой: здесь целый сад.

Взяв в охапку цветы, они вошли в дом, роняя их по дороге. Розы были везде. Ромен набил ими свою куртку и прижимал ее к себе. Мэг тоже несла охапку, и ее лицо утопало в розах. Она шла вся в розах...

Мэг с трудом нашла ключом скважину. Они вошли в большую комнату, где две кушетки, затянутые полосатой тканью, стояли возле низкого стола, заваленного книгами и журналами. Цветы были брошены на стол, на диваны, на пол, и они оба стояли над ними неподвижно и ошеломленно.

— Спасибо за цветы, — сказала наконец Мэг с улыбкой.

Он наклонился, поднял три розы и протянул их молодой женщине. Она взяла их, понюхала, и молча посмотрела на Ромена...

Он обнял ее и поцеловал в губы. Она тут же сдалась и обеими руками, в которых еще были цветы, обняла шею молодого человека...

...Марго ван Гулип уронила свою розу в гроб Ромена. Мы — Бешир и я — вовремя подскочили, чтобы поддержать ее: она шаталась с закрытыми глазами на краю могилы и теряла равновесие. Она повисла у нас на руках. Открыв глаза и держа меня за руку, Марго повторяла:

[1] Сколько стоят? (*англ.*)

[2] А сколько надо? (*англ.*)

[3] Все! (*англ.*)

— Мой маленький Жан, мой маленький Жан...

Андре Швейцер, подошедший, чтобы бросить свой цветок на гроб, оказался возле нее. Он наклонился над ней, пощупал пульс и положил руку на лоб.

— Ничего страшного, — сказал он, выпрямляясь и обращаясь ко мне. — Это просто эмоции.

...Как это буднично прозвучало: «просто эмоции»... А сколько у нас в жизни их было — этих «просто эмоций». Они возникали отовсюду; одни шли за другими, одни стирали другие; они затопляли нас и сплавлялись намертво с нашей жизнью. Они рождались, прежде всего, из красоты и любви, но их порождали также история, наука, политика, спорт. Нет формулы, которой можно было бы описать жизнь, которая всегда не есть то, что она есть... За Андре Швейцером я увидел Далла Порта и Адриена Казотта. Они всегда были людьми солидными, не склонными к сентиментальности, но сейчас они были расстроены, как какие-нибудь мидинетки. Вообще же их эмоциональность имела иную природу, нежели надрывающее душу горе Марго ван Гулип. Хотя жизнь жестко прошлась и по ним...

Нет ничего более фальшивого, чем затертый образ педанта-ученого, бесстрастно занимающегося своими исследованиями. Я часто наблюдал Адриена Казотта чуть ли не впадающим в транс над какой-нибудь шумерской надписью ... и переживания эти были, пожалуй, острее, чем у юной девушки, целиком захваченной своей любовью...

С Далла Порта дело обстояло еще поразительнее. Он постоянно находился на связи со всей таинственной Вселенной, с каждым элементом бесконечно малого и бесконечно великого. Когда он говорил о нейтронах, лептонах, босонах, гравитонах, глюонах — всей этой бурлящей массе, которая скрывается за привычными формами предметов, заложниками которых мы являемся, — в него вселялось что-то сродни одержимости. Особенно его вдохновляли «кварки». Часто, когда я слышал, как он рассуждает об этих крошечных непонятных частицах, мне приходило в голову, что он... любит их настоящей любовью...

Я вспомнил, как однажды Ромен наивно спросил у него, существуют ли на самом деле все эти частицы, о которых он говорит чуть ли не с вожделением, или это всего лишь условные названия, которые исследователь дает наблюдаемым явлениям и которые не имеют под собой конкретной реальности. Лучше бы он этого не говорил! Далла Порта как с цепи сорвался! Перед нашими вытаращенными глазами он развернул всю Вселенную: от бесконечно малого до бесконечно великого, которые являются обратным отражением одно другого. Он растолковывал нам, что между двумя воображаемыми линиями на расстоянии миллиметра одна от другой могут располагаться миллионы атомов, и каждый из этих атомов заключает в себе целый мир, крошечный и одновременно необъятный, полный непознаваемых тайн...

Он прибавил еще, что нейтрино, как и следовало ожидать, почти неразличимы и что они имеют весьма отдаленное отношение к материи. И поскольку всех этих ужасов, имевших в его глазах столько очарования, ему показалось недостаточно, он завершил свою лекцию, призвав на помощь еще одни элементарные частицы, мало того что строго невидимые (это само собой разумеется), но еще и не определяемые никакими средствами; он назвал их «wimps» — «weakly interactive massive particles». Термин «wimps» можно перевести на французский красивым словом...

— Непонятки? — предложил Ромен.

— Лучше «воробышки», — поправил Карло.

О да! Все это: крошечное, неощутимое, материя на грани стирания и исчезновения — это было здорово. Но и огромное на грани бесконечного тоже было не хуже... Карло, астрофизик, больше всего любил устроиться вместе с нами под открытым небом прекрасной летней ночью или холодной ясной зимней ночью где-нибудь на террасе или в саду естественно, для того чтобы любоваться звездами. Они были очень далеко, а Вселенная к тому же еще и расширялась: астрофизик по имени Хаббл открыл и доказал, что мироздание не является неподвижным и постоянно растет, как дерево, ребенок или опухоль, и вот уже пятнадцать миллиардов лет непрерывно раздвигает свои границы...

...Мы созерцали мироздание, абсолютно раздавленные своим ничтожеством: нам оставалось только посыпать головы пеплом... Получалось, что мы были меньше, чем ничто в этом мире — столь необъятном, что мы даже не могли себе его представить, и в то же время мы были в нем, вероятно, единственными, кто мог воссоздать своим разумом концепцию этого мира...

...Да, двадцатый век, прежде чем стать веком национал-социализма и коммунизма, электричества, транспорта и скоростей, джаза, кино, пилюль «от всего», забытых лошадей, развала прошлого и уничтожения традиций, он стал веком математической физики: квантовой механики Планка, Бора и Броглио, которая занимается бесконечно малым, и всеобщей относительности Эйнштейна, которая занимается бесконечно большим...

...По словам Далла Порта, в конечном счете все сводилось к вопросу Лейбница — единственному настоящему вопросу, потому что на него никогда не будет ответа: «Почему существует что-то вместо ничего?» Когда Карло произносил эти слова, которые сейчас молнией блеснули в моей памяти, и еще многие другие слова, которые нам с Роменом трудно было понять в точности, его лицо светлело и по телу пробегала дрожь, и в этом было гораздо больше страсти ученого, чем голого интеллекта.

...Такие разные эмоции... Почему эмоции?.. Ах, да, это Андре Швейцер только что сказал: «Это просто эмоции» — потом выпрямился и повернулся ко мне... Королева Марго тоже выпрямилась. Провела рукой по лицу и чудесным образом стерла с него отпечатки возраста и боли, искажавшие его. И сразу вновь стала почтенной старой дамой, умеющей владеть собой и помнящей о своем ранге.

Мы вчетвером — Далла Порта, Казотт, Андре Швейцер и я — проводили Королеву Марго в машину, недавно подогнанную Беширом. Она опять бессильно упала на заднее сидение и сделала нам знак рукой:

— Идите, идите! Мне уже лучше. Нужно быть там...

Мы подчинились. Возвращаясь к могиле, Андре, с посеревшим лицом, схватил меня за руку.

— Боже мой! Боже мой! — причитал он в горести...

...И тут вспомнилось... Когда-то я уже слышал от него это «Боже мой»...

Я вижу его растерянным, мертвенно бледным, когда он сидел, наморщив лоб и обхватив голову руками, в бистро на улице Верней в Париже: это была весна 62-го, смутный период социальных волнений, предшествующий объявлению независимости Алжира и подписанию Эвианского договора. Андре был «голлистом» и «черной ногой», то есть не попадал в нужную струю. Он был из семьи колонистов, которых судьба давно уже забросила в Магриб[1], и он привык любить и уважать арабо-мусульманский

[1] Старинное наименование Северной Африки (*прим. пер.*).

мир, в котором вырос. А теперь история (столь милая сердцу Виктора Лацло) разрывала его пополам: он был осужден всем, что он любил, и, возможно, самим собой.

Я не помню всего, что он говорил мне тогда прерывающимся от волнения голосом. Я пришел на встречу с ним в кафе первым, держа в руках свежую газету «Монд» или «Фигаро». Крупные жирные заголовки кричали о том, чего следовало ожидать: о бесславном окончании войны в Алжире. Он пришел через несколько минут после меня в сопровождении Ромена. Он сел, взял в руки газету, лежавшую на столе, и произнес:

— Боже мой!

Мы дали ему выговориться. Я не знал Алжира. Ромен — тоже, не считая каких-нибудь эпизодических сведений. Андре же там родился и жил. Он рассказал нам, как события, которые мы видели «снаружи», происходили на самом деле там, «внутри». Это был взгляд «изнутри»... Впрочем, не совсем: сердце Алжира было арабским и мусульманским, а Андре был французом, христианином и потому «колонизатором»...

Проблемы копились давно. Их можно было проследить от самого года Диен-Биен Фу и Женевской конференции «Вьетминя» и Франции. Рене Коти только что был избран в тринадцатом туре голосования президентом Французской республики. Пьер Мендес Франс стал президентом Совета. Тунис и Марокко готовились выдвинуть требования о независимости. Только Алжир, состоявший из трех департаментов, казалось, был неразрывно связан с метрополией. «Алжир — это Франция», — заявлял Мендес Франс. И вслед за ним все политические деятели — правые и левые — считали невозможным идти на компромисс с оппонентами, когда речь шла, как они говорили, о стране как «нераздельном целом».

1 ноября в католический праздник всех святых в Алжире разразилось восстание, возглавленное десятком вождей Революции: Ахмедом бен Беллой, Хосином-Айт-Ахмедом, Мохаммедом Будиафом, Мохаммедом Хадером, Белькасемом Кримом и другими; все они, за одним исключением, кончат изгнанием или насильственной смертью, революция всегда пожирает своих собственных детей... Последующим летом, в один из августовских дней, в полдень, повстанцами было совершено по всей стране одновременно более сорока террористических актов, в результате было зарезано около двухсот гражданских лиц, среди которых пятьдесят детей. В ответных репрессиях погибло около полутора тысяч мусульман. Так началась алжирская война.

Начиная с 13 мая 1958-го и до Эвианского договора и референдума 1962 года, с отклонения от курса самолета Бен Беллы и «дела базуки» с Жоржем Бидо и до последних действий OAS, все эти события унесли общим счетом более полумиллиона жизней. И всего лишь через несколько лет после немецкой оккупации и падения Республики, после режима Виши, соперничества между Петэном и Де Голлем, после всех подвигов и жертв Сопротивления эти события во второй раз резко раскололи национальное сознание французов на «за» и «против»...

...Эльзасцы по происхождению, Швейцеры оказались на юго-западе Алжира вскоре после начала франко-прусской войны 1870 года. Их дом, постепенно воздвигавшийся вокруг своего «patio»[1], получил название Дар-аль-Мизан. Это было большое низкое строение, не слишком красивое, но окруженное виноградником, оливами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Весной, с корзинами, полными экзотических вкусностей —

[1] Внутренний дворик (*прим. пер.*).

«cocas», «merguez», «kemias», — соседские семьи собирались вместе на пикник где-нибудь в лесу или на берегу моря и чудесно проводили время за «паэльей»[1] или «мешуи»[2]. Праздничными вечерами ели жареную барабульку, запеченные сардины, креветок, морских ежей, фиги, зеленый миндаль, канталупы, клементины[3]. И, конечно, кислую капусту: она, как и аисты, была напоминанием о далекой родине — Эльзасе. Здесь, в Алжире, природа и сердца были пропитаны солнцем. В очень ясную погоду, поднявшись на высокую террасу, над верхушками оливовых рощ можно было различить вдали море...

...Однажды летним утром, рано выйдя из дому, Андре увидел тело, лежащее на земле в нескольких метрах от дома. Андре был настоящим врачом, он сразу бросился к нему. И сразу узнал: это был их садовник Ахмед, служивший семейству уже более тридцати лет; он участвовал с отрядами Жуэна в боях против местных повстанцев. Помочь ему было уже нельзя: он был зверски зарезан. Распоротый живот был выпотрошен и набит камнями...

Смерть Ахмеда знаменовала собой вторжение исторической трагедии в частную жизнь — традиционно сложившуюся и спокойную — французского семейства, обитавшего в доме Дар-аль-Мизан. Богатые люди обычно живут в своем мире, одновременно реальном и мифическом. Это прочный мир, не задающий вопросов, мир основательный, где все есть так, как оно есть, и не может быть иным; в этот мир не вмешивается ничто постороннее: оно существует отдельно, само по себе, и потому как бы и не существует.

Ахмед был частью дома, как неизбежный дальний родственник. Ранее его присутствия не замечали. Теперь мертвый Ахмед занимал умы семейства в доме Дар-аль-Мизан гораздо более, чем за все тридцать лет его жизни в этом доме. О нем вдруг вспомнилось то, что было давно забыто или казалось не имеющим значения. Так, вспомнили, что у него есть сестра гораздо моложе его. К ее счастью, а может быть к несчастью, она была очень красива. К тому же она получила блестящее по тому времени образование. Она работала в администрации легендарного отеля, который был неотделим от облика тогдашнего Алжира, отеля Святого Георгия.

Когда американцы, уроженцы Вайоминга или Аризоны, высадились в Северной Африке и пришли в Алжир, они, естественно, сразу принялись ухаживать за местными девушками. Упитанные и здоровые, щедрые на обещания и ласковые слова, они преследовали при этом две цели. Первая была возвышенной и политической: это борьба против колониального наследия. Вторая была менее абстрактной — желание любить девушек. В вихре эпохи, приблизительно в то время, когда Дарлан был убит Боннье де Ла Шапелем, красавица Айша из кабильской народности, с ее зелеными глазами, полученными, вероятно, в наследство от племени вандалов, стала любовницей американского лейтенанта, которого привели сюда зигзаги истории, оторвав от семейной фермы пуритан, процветавшей на пшеничных полях Нового Света.

— Я несколько раз встречал их вдвоем на городских пляжах и в модных ресторанах, — рассказывал Андре. — Это был свежий, очаровательный роман, в лучшую свою пору напоминавший страницу из «Свадеб» Камю: солнце, море и горячий песок. Но слишком быстро он обернулся кошмаром. Это была двойная трагедия: личная и историческая. Вообще, история и любовь — это взрывчатая смесь. Американцы вернулись домой,

[1] Испанское блюдо из мяса, рыбы, риса и овощей (*прим. пер.*).
[2] Арабское блюдо из зажаренной на костре баранины (*прим. пер.*).
[3] Сорт мандаринов (*прим. пер.*).

и тот лейтенант тоже, предварительно пройдясь по Сицилии и силой преподав убедительный урок демократии потомкам Мария, Макиавелли, Кавура и Гарибальди, которых сбил с толку их «Дуче». Брошенная своим лейтенантом, обольщенная той жизнью, к которой он ее приучил, и особенно той, на которую она с ним рассчитывала, Айша вступила в краткую связь — это было всего несколько недель — с сыном моего брата, который был, как тогда говорили, «скорее симпатичен, чем наоборот». Ситуация получилась не из лучших. Наше семейство повело себя в ней так, как и следовало ожидать.

— Ну понятно, — поддел Ромен.

— Моего племянника звали Жак. В то время он еще был веселым и милым, это потом он стал таким экзальтированным и мрачным. Его родители были протестантами, как и все Швейцеры, и потому не склонными шутить с вопросами морали, еще весьма строгой тогда и в Алжире, и в самой Франции, особенно в провинции. Американское присутствие в Северной Африке дало толчок зарождению алжирского национализма, постепенно зревшего затем в течение десяти-двенадцати лет, вплоть до его взрыва в мае 68-го. Родные быстро отослали Жака подальше. Он участвовал в итальянской кампании под началом маршала Жуэна, где-то неподалеку от Ахмеда, которого не раз там встречал, и от американского лейтенанта Айши. Затем его отправили в Марсель и Экс-ан-Прованс для завершения учебы. Когда он вернулся в Алжир, то обнаружилось, что Айша стала на сторону Революции, а Жак стал решительным сторонником интеграции Алжира с метрополией и равенства прав для французов и арабов. Эти принципы немного позже будет защищать в правительстве деятель культуры левого направления Жак Сустель...

...Тогда, в кафе, Андре вспоминал, мы молча слушали. Он говорил о ненависти, которая нагнеталась с обеих сторон, о добрых моментах в жизни, которые случались все реже, о каждодневно растущей тревоге, о мятежах на улицах больших городов и о смятении в сердцах.

К началу Второй мировой войны в Алжире проживало около девяти миллионов мусульман, из них около миллиона — безработные бедняки, и менее миллиона европейцев. По декрету Кремье около ста пятидесяти тысяч евреев уже давно являлись полноправными представителями французской нации. Арабы же с течением времени все явственнее стали ощущать, что щедрые обещания, раздаваемые в годы войны сначала американцами, а затем и французами, не претворяются в жизнь, что их ожидания обмануты, что будущего у них нет, счастья нет, и, вообще, рай где-то совсем далеко. И вот, после того как пал Берлин, вермахт капитулировал и война в Европе закончилась, разразилось арабское восстание в Сетифе. По официальным данным, в ответных репрессиях погибло около полутора тысяч арабов, а на самом деле в четыре-пять раз больше. Кипя от возмущения, Жак отстаивал свои принципы и старался завязать дружеские связи с возможно большим количеством мусульман, к которым относился как к братьям. И потому в то прекрасное летнее утро 55-го смерть от рук повстанцев Ахмеда, который никогда не скрывал своей привязанности к Швейцерам и к тому цивилизованному образу жизни, который они представляли на земле Алжира, ударила его как обухом по голове...

...Андре Швейцер вернулся на свое место в процессии, топтавшейся на месте перед могилой Ромена и глухо роптавшей: все глаза были устремлены на высокую старую даму, которая задержала движение. Андре стоял рядом со мной, черты его доброго лица были искажены болью, перед которой теперь уже он чувствовал себя совершенно беспомощным. Он держал в руке цветок. Потом бросил его в могилу.

Движение траурной процессии возобновилось. Соблюдение ранжира, который обычно предусматривается протоколами официальных церемоний и немедленно нарушается за дружеским столом, в семейном кругу, в больших катастрофах и на кладбищах, на этом кладбище тоже разлетелось в клочья. После Королевы Марго и Андре Швейцера подошла очередь молодой женщины, которая обслуживала Ромена в парикмахерской, куда он ходил постоянно. Вся в черном, с опущенной головой и скрещенными на груди руками, она горько плакала; своими сильно высветленными волосами, суровым видом и особенной гримаской она явно подражала Брижит Бардо в старых фильмах, мода на нее вернулась у девушек конца этого века. За ней следовал Симон Дьелефи — великий канцлер Почетного Легиона, который был товарищем Ромена в их морской эскападе из Марселя в Гибралтар, а затем и на английской земле в то далекое героическое время уже более полувека назад...

Я вспомнил, как во времена моего детства — это было время Народного Фронта, прихода к власти Гитлера, — как тогда трагедии Первой мировой, рассказы ветеранов Вердена о том, что было всего каких-нибудь двадцать лет назад, казались мне очень далекими, потонувшими в тумане истории и совсем чужими. И вот теперь то, что было шестьдесят лет назад: разгром Франции, приход к власти Петэна на руинах Республики, появление на арене истории генерала Де Голля — все, что потрясло нас тогда, продолжало волновать нас и сейчас, хотя с тех пор времени прошло в три раза больше. Но все это сейчас тоже уходит в прошлое, стертое и превращенное в легенду ускорившимся ходом времени. Время спряталось в воспоминания, архивы, в пыльную рухлядь, а наши горячие молодые страсти вдруг обернулись пеплом. Вторая мировая война стала такой же далекой, как Столетняя война или наполеоновские кампании. Даже события мая 1968-го, когда казалось, что из обломков прошлого и грубо стертых в прах традиций вот-вот родится новый мир, даже они уже воспринимаются как нечто доисторическое...

...За великим канцлером шел мальчик лет семи-восьми, неловко держа розу в руке, — это был племянник Ромена. Для него события 1968-го будут выглядеть еще более далекими и смутными, чем были для меня в детстве какие-нибудь инвентарные описи...

Сбылось то давнее предсказание Ионеско[1], которое он бросил молодым революционерам — «сердитым молодым людям», — стоявшим под его окном и требовавшим его: он тогда сказал им, что их будущее уже явно отпечатано на них и что все они станут нотариусами, и действительно, многие из тогдашних майских бунтарей превратятся впоследствии в министров, деловых людей, генеральных директоров и строгих инспекторов той самой системы национального образования, которую они так стремились разрушить. Кстати, я видел сейчас некоторых из них в толпе, топтавшейся у могилы Ромена. Они сделали себе карьеры в электронике или цифровых технологиях; они стали более буржуа, чем те буржуа, которых они когда-то обличали: ездили в черных автомобилях; дымили дорогими сигарами, изучая статьи бюджета; громко заявляя о своем либерализме в его самых современных и радикальных формах, они защищали свое благополучие от грозящих им сельскохозяйственных манифестаций с помощью тех самых сил CRS, в которые они тридцать лет назад швырялись камнями, обзывая их «эсэсовцами»...

Для маленького Пьера, который бросает сейчас свою розу на гроб дяди Ромена, и даже для более старших детей, события 1968-го будут мало чем отличаться, если не покажутся еще худшим фарсом от Фронды, революций

[1] Один из знаменитых франц. драматургов «Новой волны» 1960-х годов.

1830-го и 1848-го, от Парижской Коммуны. Это все нудное старье. Так же и алжирская война: что-то непонятное и запутанное, увязшее в грязи и пустынях прошлого. Среди толпы, теснившейся у гроба Ромена, эта война оставалась живой и болезненной только для Андре Швейцера...

...Через несколько лет после убийства Ахмеда Айша вздумала заняться доставкой бомб в Алжир, а он был уже разделен на квадраты парашютистами; она и раньше приводила в ужас брата резкими выходками в разных сферах своей бурной жизни. Жак Швейцер, со своей стороны, боролся — едва ли не в одиночку и безрезультатно — за такой Алжир, в котором арабы-мусульмане станут полноправными гражданами Франции. Изредка им с Айшой случалось встретиться между манифестацией «черных ног» против губернатора и взрывом джипа, захваченного FLN. При этом они испытывали смешанные чувства, свойственные людям, которые некогда любили друг друга и которых жизнь потом разлучила. Кроме того, они были противниками, которых история и политика развели по разные стороны баррикад. Повторялось извечное противостояние: с одной стороны, взбунтовавшиеся рабы, которые осознают свое численное превосходство и которым нечего терять, а с другой — их хозяева, загнавшие себя в ловушку истории и охваченные колебаниями: наименее слепые из них, чтобы восстановить мир, предлагали более справедливое общественное устройство и в этом видели свое единственное спасение.

— Я знаю, — говорил ей Жак, — ты меня ненавидишь.

— Тебя — нет, — отвечала Айша. — Ты просто слабый человек. А вот всех твоих — конечно, да. Их я тоже хорошо знаю.

— Разве ты не веришь в то, что можно построить такой мир, в котором мы будем равны, будем иметь одинаковые права и не будем вынуждены ненавидеть друг друга?

— Слишком поздно, — говорила Айша, — война уже идет. Среди нас больше нет таких людей, каким был мой брат. А среди вас нет таких людей, как ты. Одна сторона должна победить, а другая — проиграть. Вы уже проиграли в Индокитае, в Марокко, в Тунисе. Проиграете и в Алжире. А мы — победим.

— Ты хочешь победить вместе с теми, кто убил Ахмеда?

— Вы убили куда больше народа, чем мы убили и еще убьем.

— Так прекратим убивать, — умолял Жак.

— Уходите, — ответила Айша. — Верните нам мир. Освободите нас. Ведь вы должны знать, что такое свобода: вы воевали против нацистов. А теперь вы — наши нацисты.

Жак ушел от нее в отчаянии. Он чувствовал себя виноватым со всех сторон. Их личные отношения потерпели крах. И потерпели его потому, что эти личные отношения оказались вписанными в социальный и исторический конфликт, он захлестнул их с головой и не оставил им никакой надежды.

В один «прекрасный» вечер еще одна новость взорвала течение жизни в доме Дар-аль-Мизан: Айша была арестована парашютистами. Нужно отдать справедливость клану Швейцеров: при всех социальных предрассудках, свойственных их классу, и притом что они всегда осуждали связь Жака и Айши, когда это известие было получено, они не остались в стороне. Андре и Жак немедленно отправились в столицу и пустили в ход все связи. Сражение за Алжир было в самом разгаре. Их отсылали из одного кабинета в другой; они добрались до Массю, до Салана, до самого резидента, которым тогда был Робер Лакост. В результате всех хлопот через два дня они узнали, что Айша уже мертва.

Дело получило широкую огласку. Ведущие газеты Парижа — «Экспресс», «Монд», «Франс-обсерватер» — писали о пытках, которым была

подвергнута Айша. «Фигаро» утверждала, что она покончила жизнь самоубийством, чтобы не выдать тех из своих, с кем она закладывала бомбы, и тех, кто прибыл из Франции и помогал им. Так, на двух противоположных берегах Средиземного моря, Айша стала одновременно алжирской и французской Святой Девой-мученицей революции.

Жак Швейцер, который так никогда и не оправился ни от ее любви, ни от разрыва с ней, после всего этого погрузился в состояние, которое вызывало опасение за его жизнь. Получался некий вариант «Береники» — слезоточивой трагедии в стиле эпохи Просвещения, — только перенесенной на почву Магриба. Через несколько лет, обратившись к католицизму, который позволял угрызениям его совести войти в надлежащее русло и найти путь, если не более легкий, то хотя бы более осознанный к долгожданному миру в душе, Жак поступил, пока не становясь монахом, в картезианский монастырь. Постепенно, как говорится, жизнь возвращалась в свое русло...

События 13 мая 1958 года для Швейцеров, раздавленных историей и семейной трагедией, стали подлинной надеждой. Все они были «голлистами». Андре сражался в Сирии вместе с Роменом против сторонников Виши, а затем присоединился к Леклерку. И вот теперь генерал Де Голль подошел вплотную к решению проблемы алжирского «осиного гнезда». Каким будет его решение? Пока было неизвестно. Но скорее всего, в полном соответствии с благородными идеями Жака Швейцера и Сустеля, Генерал сделает всех алжирцев настоящими французами.

Радужное весеннее настроение, вновь обретенная общность взглядов, слепая вера и безумная надежда сторонников интеграции — все это длилось недолго. Когда Генерал объявил французский Алжир самоопределяющимся и независимым... это был переворот в умах не меньший, чем падение Франции под гусеницами немецких танков. Рушился целый мир! Это был мир, в котором была еще жива огромная колониальная империя Индия, мир белого господства, расовой иерархии, незыблемого порядка вещей и вдруг оказалось, что этот незыблемый порядок не вечен: он пал под ударами великих батальонов истории!..

...Уже восемь лет шла война в Алжире. В первые четыре года волна насилия особенно нарастала с обеих сторон. Ответом на революционный террор стал террор государственный. Наконец положение ухудшилось до такой степени, что общественная система оказалась на грани истощения и теперь нуждалась для решения своих проблем во внешнем волевом импульсе. Это оказалось отличным шансом для генерала Де Голля, который вот уже двенадцать лет ждал своего часа, и теперь должен был появиться на авансцене, чтобы спасти Алжир, увлекающий метрополию за собой в пропасть. И если Генерал придет — так считали прогрессисты и интеллектуалы, — то обязательно проявит себя как противник прав человека, независимости, эволюции нравов, движения истории, как противник всего, что представляет собой современный мир. Он обязательно встанет на защиту Государства и Разума, которые он всегда воплощал собою лучше чем кто-либо во Франции. На защиту традиции и порядка. На защиту единства нации и армии, которая сделала его тем, что он есть. Вся алжирская ситуация вращалась вокруг единственной оси — возвращения в политику великого человека. И вот как раз тогда, в самый разгар этой восьмилетней войны, и произошло нечто невообразимое. Вместо того чтобы пойти в направлении, ожидаемом всеми — прессой, международной общественностью, людьми осведомленными или считающими себя таковыми, в направлении, ожидаемом даже людьми с улицы, — война разворачивается в направлении обратном. Призванный сторонниками французского Алжира, Генерал был их последней надеждой, а он высказался за автономию Алжира, и затем — за его независимость... После этого война, под знаком

личности Де Голля, велась уже не против тех, кто его боялся и ненавидел, она шла против тех, кто жаждал его прихода как своего спасения...

Это чудесное превращение возвращает Францию в русло истории. Оно застает врасплох ошеломленных интеллектуалов, которым трудно смириться с мыслью, что их противник, которого они называли фашистом, сделал то, чего не смогли сделать их высокопоставленные друзья — прекратил войну, и не репрессиями, а объявлением независимости... Это превращение застало врасплох и тех, кто возвратил его к власти, но теперь не понимал, что происходит... Изумление его вчерашних противников примешивалось к горечи его верных сторонников, и от этого их горечь еще более возрастала.

...Надо отметить, что авторитет Генерала позволял ему — и только ему — совершить в Алжире невозможное...

История идет своим ходом. Она делает очевидным то, что казалось невозможным. Сегодня все, кто присутствует на похоронах Ромена, через сорок лет после алжирских событий, не может себе даже представить иное решение той проблемы, нежели то, которое принял Генерал. Сам Ромен, которого никак нельзя было отнести к левым интеллектуалам (да, честно говоря, и к интеллектуалам вообще), быстро понял раньше, чем многие, что все другие варианты решения были заведомо обречены.

— В плане военном, — говорил он Андре, — война выиграна. Кто может сомневаться в том, что французская армия сильнее, чем FLN ? А что потом? В наше время выиграть войну или проиграть ее не составляет большой разницы. Сегодня есть нечто посильнее — это общественное мнение.

Ромен не стеснялся быть резким в выражениях, он не щадил ни мужчин, ни женщин. Андре Швейцер не отвечал ему. Этот человек был разорван пополам и разделился в самом себе...

Общественное мнение, однако, не является объективной реальностью, да еще и раз навсегда данной. Его обрабатывают, его меняют. Франция была «петэновской» в 1940-м, и она же стала «голлистской» в 1944-м. Де Голль, который всегда был «правым», первым заявил — раньше, чем «левые», — что общественное мнение в Алжире не может обернуться в пользу Франции. И что политика жестких репрессий, на которую Франция не решилась окончательно, не в интересах самой Франции. Он выбрал единственный путь, который вел в будущее. И снова в боли и слезах страны он оказался столь же велик в 1960-м, как и двадцать лет назад.

Несмотря на тяжелые испытания, идея «свободной Франции» вызревала в сознании народа. Но для миллиона «алжирских французов», хотя и понимавших неизбежность принятого решения, конец алжирской войны стал бедствием, которому даже не было названия. Во второй раз за четверть века национальное сознание было раздираемо смертельно опасными страстями. Сторонники «французского Алжира» считали, что преданы Генералом: многие офицеры, внушившие себе некую идею о слове чести, вступили в ряды OAS; Жак Швейцер тоже воевал в течение нескольких месяцев. Французы были побеждены самой историей. Но какое это имеет значение, что ты побежден, если веришь в свою правоту? Теперь им оставалось только убеждать себя, что им не о чем жалеть. Еще более жестоким оказалось потрясение для тех из «алжирских французов», кто, как Швейцеры, были преданными сторонниками Де Голля. Они продолжали следовать за ним, но теперь уже в полном отчаянии...

Когда мы — Ромен и я — слушали Андре Швейцера в бистро на улице Верней, мы видели перед собой человека, который сломлен ходом истории и все же принимает его. Он понимал, что Де Голль избрал единственно возможный путь и что будущее его оправдает. Он понимал также, что это означает для него самого и для всего, что было ему дорого. Он принимал свою судьбу и ужасался ей...

— Ну что ж, — говорил он нам, — жребий брошен. Шар судьбы докатится до конца. Обратного хода нет, потому что Генерал перешел на другую сторону. Он не просто стоит за отделение Алжира. Он отстаивает эту идею против тех, кто сражался за единство нации, и теперь преследует их от имени этой нации... Путь, намеченный Де Голлем, тем более жесток, что это крестный путь для волонтеров. Он призывает своих сторонников сражаться против всего, что было связано с его же именем, и рука об руку с теми, кто продолжает его ненавидеть...

— То, что гибнем мы, — это не самое страшное. Мы покинем наши земли, дома, кладбища, воспоминания. Этим можно пренебречь. Не мы одни — многих других в истории постигала та же участь. Но изощренная жестокость — возможно, это уникальный случай в истории — состоит в том, что мы бросаем на произвол судьбы тех, кто поверил нам и принял нашу страну как свою: сотни, тысячи, десятки тысяч Ахмедов будут страдать и погибнут по нашей вине, потому что мы, под предлогом самосохранения и строительства собственного будущего, предаем их и бросаем. Мы разорены — пусть. Мы будем жить в другом месте. Мы обесчещены, тоже согласен. Хуже другое: мы вместе и погибнем...

В бистро на улице Верней Андре Швейцер плакал. Мы гладили его по плечу, хлопали по спине, отводили глаза, чтобы дать ему справиться с собой: вскоре ему надо было лететь в Алжир, чтобы в последний раз побывать в Дар-аль-Мизане, где его родные печально сидели на чемоданах. Когда мы расстались с ним и вышли на улицу, Ромен сказал только:

— Он просто слишком сентиментален, я уверен.

Вот уже чего никто не мог бы никогда сказать о самом Ромене...

Через год, в конце весны, когда был подписан Эвианский договор, начался исход... За несколько дней от шестидесяти до ста тысяч «арки»[1], уцелевших в этой войне, должны были покинуть Алжир и уйти куда глаза глядят, а с ними — и миллион гражданских «черных ног», среди которых были и Швейцеры, навсегда покидали насиженные места.

Мы все хорошо знаем, что такое изгнание. Начиная с Адама и Евы, изгнанных из земного рая ангелом с огненным мечом, и до Скарлетт О'Хара (она же Вивьен Ли), вынужденной бежать из Атланты, преданной огню «синими мундирами» — войсками северян под командованием генералов Шермана и Гранта: это все одно долгое рыдание, передающееся из века в век. Никто не сказал об этом лучше, чем один наш старый виконт, бретонский меланхолик, патентованный соблазнитель и держатель гарема (но католик в душе), охотник до новизны ощущений, с сердцем, открытым настежь: «Порвать с реальным — ничего не стоит. Но как быть с воспоминаниями? При разлучении с мечтой сердце разбивается». Вот и Андре Швейцер: не сумев расстаться с мечтами, жил с разбитым сердцем...

Через четверть века после рассказанных им событий немало было пролито слез над одним из фильмов Сиднея Поллака — это был фильм «Прочь из Африки» с Робертом Редфордом и Мерил Стрип в главных ролях. Он был триумфально принят всеми без исключения. Это была история любви в стране масаев и львов, с великолепными картинами природы... В начале фильма голос за кадром вспоминал: «У меня была ферма в Африке...» В конце фильма осталась только могила, вооруженные солдаты и усталые львы. У зрителей на глаза наворачивались слезы и в горле першило... У Андре Швейцера тоже была ферма в Африке...

...Похоронная процессия медленно двигалась. Гроб Ромена уже был покрыт цветами, и в воздухе стоял аромат роз. Мимо меня двигалась, один

[1] Военнослужащий французской армии в Северной Африке (*прим. пер.*).

за одним, толпа людей, прибывших — иные даже издалека, — чтобы проститься с ним этим угрюмым и холодным мартовским утром...

Передо мной теснился целый пестрый мир. Здесь были люди высокие и низкорослые, важные и скромные, богатые, в мехах и манто с бархатными воротниками, и бедные, робкие, не знавшие, как держаться в таком окружении.

Немного больше женщин, чем мужчин. И очень много незнакомых, о которых я спрашивал про себя с удивлением, даже с раздражением, что могло их связывать с Роменом. Все они вместе являли собой целую незнакомую мне сеть жизни Ромена, состоявшую из любви, дел, удовольствий, путешествий...

Я смутно вспомнил о тех, кого здесь не было и кто был Ромену небезразличен. Не было Молли, не было Тамары. Возможно, Тамара, ставшая почтенной старой дамой или, наоборот, спившаяся, живет где-нибудь в Украине или в России, в Киеве или Москве? Осталась ли она коммунисткой или примкнула к этому старому пьянчужке-либералу Ельцину? Не было и Артура Рубинштейна: он отправился к своему любимому Шопену несколько лет назад...

...Несмотря на все предупреждения Ромена, его похороны оказались вовсе не такими беззаботными, как ему бы хотелось. Метафизические пары ударили нам в голову: вот-вот сейчас, казалось, мы поймем главное. Неужели в жизни имеет значение только смерть, и мы просто безумцы, если думаем о чем-то еще? Конечно, безумцы! Но какими сильными и счастливыми безумцами бываем все мы в этой жизни! Все кончается смертью? Но пока ее нет, жизнь царит безраздельно благодаря этому вечно возобновляющемуся чуду забвения смерти...

...Перед нами, держась очень прямо, проходит Франсуаза Полякова. Вот уж кто хлебнул и бед, и трауров. Шесть человек из семьи ее мужа не вернулись из Аушвица, Равенсбрука, Берген-Бельсена. Депортация подорвала здоровье и ее мужа. Все страдания, возможные под солнцем, она их отстрадала в своем сердце. Она бросила свою розу очень быстро. И направилась ко мне. Она поцеловала меня, поцеловала своего брата Андре, стоявшего рядом со мной. А затем она сделала что-то вовсе невероятное — протянула руку Беширу.

— Это вместо Ромена, — прошептала она мне.

Я поклонился и поцеловал ей руку.

Глядя ей вслед, я подумал о другой траурной церемонии, о которой мне когда-то рассказывал Мишель, ее муж. В лагере, куда он был депортирован, пятнадцатилетний мальчик при попытке бегства ранил охранника. Попытка не удалась, мальчик был осужден на повешение. Рано утром всех узников согнали вместе присутствовать на казни. Появился мальчик в окружении капо. Его повели к эшафоту. И вдруг... все запели рождественские канты, песни моряков, народные песенки. И ребенок пел вместе со всеми...

— Ведь должно было совершиться ужасное, — говорил Мишель. — И все же это был потрясающий момент мира в душах, почти счастья. Все стали на колени. И ребенок, идущий на смерть, шел с улыбкой между рядами поющих, которые стояли на коленях перед ним...

...Поляковы, как и Швейцеры, умели сохранять во всех испытаниях мир в душе и достоинство...

Окончание следует.

Перевод с французского Елены ЧИЖЕВСКОЙ.

К 100-летию Аркадия Кулешова

ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

Далеко до океана

Читая и перечитывая стихи Аркадия Кулешова, особенно написанные в последние годы жизни и увидевшие свет в его «Новой книге», где поэт, поднявшись на новую творческую высоту, метафорически, с философским раздумьем, объемно и масштабно говорит о далеких вещах и явлениях, обращаешь внимание на следующие строчки: «Сышлося неба з акіянам блізка: // На горы хваль кладзецца хмар туман. // Мне хораша! Не грозны акіян // Мяне гайдае, а вякоў калыска». И дальше автор ведет разговор, ведет так, как будто смотрит с космической высоты: «Я слухаю — ужо не чалавек // — З маўклівым, невыразным захапленнем // Да болю блізкі шум водазмяшчэннем // У міліярды міліярдаў рэк». Эти обращения к океану и морской атрибутике: штилям и штормам, пароходам и кораблям — создает впечатление, что поэт родился и вырос где-то на берегу океана, своими глазами видел его разъяренную стихию, катящиеся многометровые волны, выбрасывающие на скалы, как щепки, рыбацкие шхуны и баркасы.

Чародей нашего родного слова Аркадий Кулешов появился на свет на берегу не очень широкой и не слишком узкой реки Беседь, которая несет свои воды, наверно, и сегодня, если ее русло не исковеркали мелиораторы. В детстве будущий поэт садился в зыбкий челнок, отталкивался от берега веслом, выплывал на середину Беседи, где, словно жернова, кружились омуты вместе с гроздьями созвездий, слышал и видел, как недалеко, на песчаной отмели, река потягивалась и по-детски смачно причмокивала волнами, а в приречном лозняке, потянутым дымком, задыхаясь от радости и счастья, заливались соловьи. У подростка имелись собственные снасти: самодельная удочка, банка с наживкой и звонкое ведерко, куда он бросал выуженную плотву, язей и щук. Кроме всего этого любознательный паренек был законным владельцем неисчислимого богатства: говорящей на все голоса, начиная от недремлющих птиц и кончая надоедливыми жабами, летней ночи и сверкающими жемчужинами и аметистами Млечного Пути, купающегося возле его юркого челнока. Как бы ни было жаль, но его сверкающие алмазы приходилось резать острым носом своего челнока, трогать ладонью весла. Густо пахли распаренные водоросли, луговые травы, которые собирали и рвали в полночь местные знахари и знахарки, варили в глубоких чугунах и котлах, а потом настаивали на змеином яде в холодных и темных погребах, потаенных местах, лекарства, излечивающие десятки болезней. От запахов, голосов, перезвона и гула у паренька кружилась голова, путались мысли, но на душе было светло и радостно, как от радуги, встающей после теплого дождя и переливающейся сияющим семицветием. Не трудно было представить себя сказочным магом или волшебником и, приподняв весло, одним ударом разбить и разбрызгать вокруг челнока золотую поднебесную россыпь звездных мириадов.

Ну как среди вот такой удивительной красоты и роскоши не наполниться душе каким-то особым чувством удивления, восхищения и нежности ко всему тому, что окружало, говорило, ухало, перекликалось, умолкало, будто проваливалось в сон и опять, очнувшись, аукало и звучало, будто утверждало, что жизнь бесконечна и вечна. Возникало желание припасть щекой, прикипеть ко всему этому,



что было и жило вокруг, слиться с ним наивной и по-детски чистой душой. Стоит ли гадать, когда и в какое мгновение произошло чудо и паренек почувствовал необходимость высказать свое чувство словом, которое станет потом слушаться его, как глина или воск, и, чувствуя над ним свою власть, он станет делать с ним разные чудеса, удивляя родных и близких, знакомых и незнакомых. Овладев словом, как жар-птицей или сказочным цветком папоротника, поэт не расстанется с ним до конца своих дней, как и с родной Беседью, из глубины которой ему вначале посчастливилось выудить всего лишь облако. Но какое облако! Такой удаче могли позавидовать даже рыбаки, видевшие всякие виды! Правда, найдутся скептики, что могут снисходительно улыбнуться, мол, как это можно подцепить на рыбацкий крючок не леща или щуку, а облако? Что можно сказать на это? Поэт для того и поэт, чтобы творить чудеса. И облако, которое он выудил из Беседи, не призрачное и абстрактное, а конкретное, со множеством интересных особенностей и удивительных черточек, подтверждающих, что это настоящий талант, что в поэзию идет автор, которому суждено сказать свое веское слово. Чтобы убедиться в этом, стихотворение стоит процитировать полностью: «Уткнуўшы ў бераг вудзільно, // Я вуджу раніцою. // А воблака? Плыве яно // І небам і вадою. Нарэшце клюнула разок — // І рыбка немалая! — // З пяром гусіным паплавок // Пад воблака нырае. // Стаіў дыханне. Цішыня... Убок рукой умелай // Я падсякаю галаўня, // Цягну з хмурынкі белай. // Вада ў кругах, // Вада ў кругах і неба ў ёй не тое... // А воблака? Яно ў руках // Трапечацца жывое». Перед нами настолько яркая картина, что она, кажется, не написана пером, а выгравирована уверенным резцом мастера. Вместе с этим мы, читатели, убеждены, что так все и было на самом деле. В стихе в одно целое слились все поэтические детали. И в результате перед нами не просто художественная фреска или этюд с натуры, а сама живая природа с ее неповторимой красотой и колоритом. Стихотворение, кажется, создано на одном дыхании, что оно соткано просто из воздуха. Но сколько в произведении жизненной конкретики, на которой и держится вся его основа и оснастка.

Хотя действие в стихе происходит на Беседи, но о ней, кроме упоминания, больше не сказано ничего. Как будто восполняя этот пробел, поэт возвращается к реке и посвящает ей отдельное стихотворение. Интересно, что в нем он использовал известную легенду из фольклора, в которой говорится, будто в то время, когда птицы копали русла для будущих рек и относили землю в мешочках в сторону, один только чибис «каня» уклонялся от работы и осыпал всех насмешками. Птицы не простили это чибису, прокляли его и теперь, в знойные летние дни, он летает над реками и просит пить, утоляя жажду дождевыми каплями, которые посылают ему тучки. Рассказав эту легенду, поэт, противопоставляя себя чибису, говорит о своей творческой работе: «Я ўпарты, не кіну пачатае справы, // Каменне крышу, // Разграбаю пяскі, // Пад кпіны аматараў лёгкае славы //

Капаю рэчышча ўласнай ракі». Стоит только удивляться, с какой легкостью и мастерством сравнительно молодой автор переводит разговор с одного регистра на другой, нисколько не отклоняясь в сторону от магистрального замысла, с каждой новой строкой углубляя и расширяя содержание стихотворения, придавая ему философское звучание. К чему же стремится поэт? Хотя его желание на первый взгляд и скромное, но лично для него ценное и значительное. Он хочет, чтобы его криница разлилась «Не Волгай магутнай, // Не нават Камаю, // Хоць Беседдзю, што на радзіме маёй...» Вот мечта, которой хочет достигнуть А. Кулешов. И надо понять, что под криницей он имеет ввиду творчество, поэзию. Для поэта нет ничего дороже ее во всем свете! Заключительные строчки можно рассматривать, как своеобразное кредо:

Бо прагай да працы ахоплены часта я,
І сэрца абпалена смагай радка,
Бо жыць не магу,
Як каня няшчасная,
Кропляй дажджу з лесавога лістка.

В этом знаковом стихотворении нашло отражение его поэтическое устремление, предвиденье и ощущение будущих успехов в дальнейшей творческой судьбе. Из строк, как из семян, прорастут многие его произведения как малого, так и большого жанра. Кажется, что в нем закодированы и зашифрованы поиски будущих новаторских произведений как по форме, так и содержанию. Имеется и намек, что главным стержнем творчества А. Кулешова станет его малая родина и присутствие Беседи, ее дыхание будет ощущаться даже при ее отсутствии в строках. Это подтверждает и тот факт, что через несколько десятков лет поэту придет на память Беседь, когда, пересекая на теплоходе Атлантику, он будет возвращаться домой из Америки, где он, как член делегации Беларуси, принимал участие в работе ООН. Надо заметить это не просто воспоминание о далеким прошлом, которое посещает любого человека, когда он бывает далеко от родных мест. Стихотворение, где ведется разговор об океане и Беседи, скорее всего философское рассуждение о жизни, Вселенной, Солнечной системе и много о чем другом. Обладая прирожденной неистощимой фантазией, А. Кулешову нетрудно было представить, говоря словами М. Лермонтова, «струю светлой лазури», принесенную из Беседи. Ведь она впадает в Днепр, а вместе с ним в Черное море и Атлантику. Как видим, даже с географической точки зрения все выглядело закономерно и логично. Вот только смог бы так точно, глубоко и поэтически сказать об этом кто-либо другой. Нужно отметить, что поэт умел говорить о разных вещах и явлениях просто, непринужденно, что иногда казалось — так думали и мы, настолько они были нам близки и понятны. Что-то похожее можно сказать и о строфах, где поэт говорит об Атлантике и ему чудится, что он плывет по реке своего детства:

Стаю і з пачуццём неўтаймаваным
Гляджу на след блакітны за links кармой,
Як быццам я плыву не акіянам,
А Беседдзю — жаданаю ракой.
<...>

Плыву па ёй! Як хлопчыку малому,
Паслаў мне лёс блакітную раку
Праз цёмны акіян яна дадому
Мяне вядзе, як маці за руку.

Завидная простота, но не упрощенность присутствует и в других произведениях, в которых поэт обращается и к «рядовым», и к высоким и ответственным темам. Казалось бы, как можно подступиться и что можно сказать о такой организации, как Телеграфное Агентство Советского Союза, сокращенно ТАСС?

Задача почти невыполнимая. А вот А. Кулешов нашел к ней свой собственный подход и ключ. Как это сделал? Поэт применил такой прием, который можно назвать «ход конем». Лирический герой говорит, что когда станет дедом, поедет в деревню и увидит на стенах боковушки следы от газет. И там: «У раённай выцвіўшай газеце // Знайду // «Паведамленне ТАСС» // І ўспомню ўсё, чым жыў на свеце, // І ўсё, // што хвалявала нас». Вот так, без особой усложненности, поэт смог сказать о такой грандиозной государственной организации, какой являлось ТАСС. А концовка стихотворения такая: «Захочацца з юнацкай далі // Яшчэ раз навіну пачуць, // А там, // Як класікі пісалі, // Навек забыцца і заснуць». Разговор об этом произведении хотелось бы окончить строками А. Твардовского: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке».

Удивительно, что все эти спокойные жизнеутверждающие стихи вышли из-под пера поэта в то время, когда в воздухе носилась и чувствовалась предгрозовая тревога близкой войны. Для А. Кулешова, как и для других, существовала и опасность быть арестованным и брошенным в застенки НКВД. Дочь поэта Валентина в воспоминаниях о предвоенных годах пишет, что были дни, когда люди в штатском, сменяя один другого, не таясь, вели наблюдение за их домом, и поэт, ожидая их прихода, держал подготовленным узелок с вещами, что могли понадобиться за решеткой. Можно представить душевное состояние поэта. Кроме того он видел, что страна со дня на день, с минуты на минуту, может подвергнуться нападению извне, — фашистское хорошо подготовленное полчище стояло у наших границ, выжидая удобный случай, чтобы напасть на нашу страну. Поэт не мог молчать и делать вид, что все хорошо, что войны можно избежать, как это делало из каких-то соображений высшее руководство страны и заявляло, что если грянет война, то воевать будем на чужой территории. Поэтому Кулешов обращался к стихам и убедительно напоминал об угрозе, и о том, что мы должны быть готовы ко всему. В мирное время поэт недвусмысленно говорил о том, что жертв в будущей войне нам не избежать. В качестве примера можно привести стихотворение:

Выходжу я ў разведку —
Рашучы заўтра бой.
Ты, ранак, будзь за сведку,
Услед ідзі за мной.
З табой у згодзе поўнай
Жылі мы з першых дзён.
У барацьбе няроўнай
Я трапіў у палон.

Нужно ли сомневаться в предвиденьи и предсказании поэта трагического начала войны? Только в плен попало около трех миллионов наших бойцов. А сколько пало на полях сражений! В стихотворении герой попадает в плен. И враги делают все, чтобы он перешел на их сторону, стал предателем. Но у них ничего не выходит. Произведение заканчивается так: «А я? А я загіну. // А ты? // А ты не плач!» Никто не упрекнет А. Кулешова, что о войне он писал, как о детской игре или забаве. Хотя и знал о приказе для военных: ни в каком случае не поддаваться на вражеские провокации, чтобы не подвергнуть страну нападению гитлеровской Германии! Это была по сути странная и не до конца понятная тактика и стратегия кремлевской верхушки, сопоставимая с ожиданием с моря погоды.

И только тогда, когда грянула артиллерийская канонада от Балтики до Черного моря, а из-под крыльев с паучьей свастикой на наши города и села посыпались авиабомбы, кремлевские провидцы поняли, что их ловко обвели вокруг пальца и верховный после того, когда пришел в себя, обратился по радио: «Братья и сестры! Страна в опасности...»

Раньше в хрестоматийной биографии Аркадия Кулешова говорилось, что вначале войны он был эвакуирован из Минска, а потом попал на фронт, где рабо-

тал в редакции дивизионной газеты. На деле все было иначе. На тот грузовик, на котором писатели со своими семьями оставляли Минск, А. Кулешов почему-то не попал. Ему пришлось ночью оставить Минск и пробираться с товарищами на восток. По дороге поэт потерял сознание. Кажется, это был его первый инфаркт. Товарищи не бросили его. Сделав носилки, они несли его потайными лесными тропами. Через какое-то время поэт встал на ноги. Вскоре их группа вышла к своим.

Испокон веков, когда говорили и грохотали пушки, замолкали музы. В Отечественную войну многое было по-другому. Муза А. Кулешова вместе с ним оказалась на фронте. Улыбчивая в мирное время она мгновенно изменилась на передовой как внешне, так и внутренне. Одев военную шинель и подпоясавшись ремнем, повзрослела, стала сдержанной, строгой, даже немного суровой. А. Кулешов боролся с врагами боевым словом: стихами, фельетонами, гневными памфлетами, делал карикатуры. Писал поэт много, не зная отдыха и сна, — нужно было поднимать боевой дух воинов, находящихся на передовой. Все силы и способности Кулешов отдавал газете-дивизионке. А в затишье обдумывал собственные художественные строки и стихи. Нередко перед его глазами возникали дни и ночи отступления, лица бойцов с застывшим на них недоумением и вопросом: что происходит, почему отступаем? С той поры прошло немало времени, а душа горела от воспоминаний. Видимо, в одну из таких минут у него возник дерзкий замысел создать поэму. Вот воспоминание об этом редактора фронтовой газеты Фарберова: «Летом 42-го года я с Кулешовым были вызваны на совещание редакторов и писателей. В конце совещания выступил член военного Совета фронта, он говорил, что наша печать должна уделить серьезное внимание воинскому воспитанию на боевых традициях. Через несколько дней после возвращения в редакцию Кулешов заглянул ко мне в землянку и сказал: пришел к вам посоветоваться, решил написать поэму о флаге части. Как вы глядите на это? Правильно, сказал я... Не ослабляя основную работу, Кулешов стал работать над поэмой».

Как начинается поэма «Сцяг брыгады»? Картинами того, что видел и пережил сам поэт. Свое трагическое восприятие войны он переплавил в широко известные поэтические строки: «Як ад роднай галінкі дубовы лісток адарваны, // Родны Мінск я пакінуў нямецкай бамбёжкаю гнаны. // Міма дрэў, міма дрэў // Усю ноч я ішоў, — за спіною родны горад гарэў, // І не ведала сэрца спакою».

С поэмой «Сцяг брыгады» связано много удивительного и невероятного. Впечатляет, что произведение такого масштаба было написано на передовой, под грохот снарядов и авиабомбежек, буквально за несколько шагов от смерти. И при этом за краткий промежуток времени, за два месяца: сентябрь-октябрь. Фантастика! Но это на первый взгляд может так показаться. Война требовала от каждого, кто бы он ни был — боец-фронтовик, работник тыла, мастер кисти или поэт — такого напряжения и отдачи сил как физических, так и духовных, о чем раньше и думать не приходилось. Трудился, не щадя себя, и А. Кулешов. Когда он работал, к условиям был неприхотлив. По воспоминаниям того же самого редактора дивизионки Фарберова, однажды в редакцию зашел полковник и удивленно спросил, что это за боец лежит около землянки с блокнотом и карандашом в руках и настолько чем-то занят, что даже не поприветствовал его, старшего по званию. Фарберов объяснил полковнику, что это сотрудник газеты поэт Аркадий Кулешов. И чтобы придать весомость труду поэта, сказал, что по заданию члена Военного Совета фронта он трудится над поэмой. А писать лежа, — такая у него привычка, которую унаследовал от Пушкина. Это объяснение не только успокоило полковника, но и вызвало определенное уважение и восторг. А тем временем на бумагу ложились емкие афористические и, вместе с тем, простые по своему синтаксическому строению строки, вобравшие в себя запах жженого тротила и пороха, горечь военных дней; строки, что, кажется, в других условиях, например, в обыкновенной кабинетной тишине, не появились бы никогда.

Думается, сюжет этого хрестоматийного произведения, которое изучают в школе, знают многие. Но для дальнейшего разговора не лишне будет хотя бы вкратце напомнить его. После того, когда автор поэмы-дневника выходит к своим и его зачисляют рядовым в бригаду, происходит бой за местечко. Бригада терпит поражение и оставшиеся в живых — главный герой, раненый комиссар Зарудный и артиллерист-наводчик Микита Ворчик — петляя лесными тропами, идут на восток, догоняют своих. Сначала они попадают к леснику с лесничихой, которые живут «каля завадзі ціхай». Отдохнув и переодевшись в штатское, окруженцы пускаются в дорогу. В деревне они становятся свидетелями свадьбы, которую справляет «Мядзведскі — паслугач нямецкі», похваляясь тем, что до войны поджег птицеферму и теперь силой заставил выйти за него замуж местную девушку. Из толпы, собравшейся возле хаты, раздается выстрел как расплата предателю за причиненное зло. Заходят красноармейцы и да «Лісаветы — вясёлай кабеты», которая станет соблазнять богатством и предложением остаться с ней. А в одну из ночей исчезает Микита Ворчик. В ватнике он уносит зашитое в него знамя бригады. Бойцы идут в его родное село и выносят ему приговор. Проходит испытание и автор поэмы. Сначала дорога ведет возле села, где живут его родители. Как ему хочется увидеть их! Но он пересиливает это желание. А через день или два ему и комиссару встречается обоз с беженцами, которых переняли немцы и заставили возвращаться домой. Среди детей поэт узнает родного сына Василька, отдает ему полбуханки хлеба. А сам, чтобы не поддаться слабости и не прослезиться, уходит в осеннюю дуброву. После этого они переходят линию фронта.

Все это и легло в основу поэмы «Сцяг брыгады», ставшей жемчужиной нашей поэзии. Но многие не поняли ее и встретили настороженно. Поэма была написана не в тех манере и стиле, которые утвердились в поэзии того времени. Она была написана в форме дневника, с разговорно-бытовой интонацией и свободной ритмикой, помогающей автору громогласно возмущаться самоуверенностью врага, который «лезе і лезе ў брані і жалезе», и переводить голос до шепота, чтобы сказать о чем-то глубоко интимном. Может быть, новаторство и было причиной того, что даже такой известный и опытный поэт, как М. Исаковский, кстати, всегда с уважением относившийся к белорусской поэзии, и тот сначала, то ли не приняв формы поэта, то ли по каким-то другим непонятным причинам, засомневался в ее художественных достоинствах. И только благодаря поддержке авторитетного и несомненно большого мастера поэтического слова, автора знаменитой «Страны Муравии» и тогда еще первых глав книги про бойца «Василий Теркин» А. Твардовского, вставшего на защиту «Сцяга брыгады», увидел в ней произведение большой художественной силы о трагическом начале войны, и проложил ей дорогу к периодическим изданиям. Поэма увидела свет в журнале «Знамя» в 1943 году в блестящем переводе М. Исаковского. И вскоре произведение начало триумфальное шествие не только по журналам и книгам, но и по странам всего земного шара, вызывая у поклонников поэтического слова восторг и признание. В печати появилось немало высоких оценок и одобрительных высказываний. А. Твардовский назвал поэму народной. «Мы поняли тогда, — скажет потом, вспоминая А. Кулешова, балкарский поэт Кайсын Кулиев, — что белорусская литература обогатилась произведением высокой поэзии, а Беларусь приобрела настоящего, великого поэта. Ленинградец М. Дудин про первую встречу с этой поэмой в семидесятые годы писал: «Это было чудо с большой буквы. Это было чудо проникновения поэзии в самую суть народной души, в ее символы. Такой поэма стала для меня навсегда».

В высоких художественных качествах «Сцяга брыгады» никто не сомневался. А вот насчет отдельных эпизодов в произведении у некоторых критиков затем, впервые во время хрущевской «оттепели», появились сомнения. Например: имел ли автор право расстреливать артиллериста-наводчика Микиту Ворчика? Ведь он честно дрался в бою, и когда бригада потерпела поражение, не сдался в плен, а вместе с теми, кто остался в живых, стал отступать на восток. Но по дороге

передумал и решил вернуться домой к своей жене. И за то, что по забывчивости унес в ватнике знамя бригады, в котором оно было зашито, его лишают жизни. Не жестоко ли поступает с ним поэт? А может, и совсем несправедливо? Ведь многие окруженцы стали партизанами. Может, пошел бы в партизаны и Микита Ворчик? Конечно, так же сложно оправдывать поэта, как и перечить критикам. Но это военное время, военные реалии, военная суровость... Однако можно с уверенностью утверждать, что в поэме есть места, художественную значимость которых вряд ли кто станет оспаривать. Это запоминающееся расставание автора поэмы с детскими игрушками, что просят взять их с собой, и берущая за душу картина, когда маленький сын героя бежит с полбуханкой хлеба к подводе, на которой его ожидают мать и сестричка. Кого не тронут вот эти строки, посвященные сыну: «Мне здаваўся даўгім яго шлях, // Босы, бег ён праз ямы, // Па халоднай зямлі, па лістах // І па сэрцы маім // Таксама». Такие страницы поэмы будут всегда волновать сердца читателей и никакие исторические бури не прервут их горячее дыхание и не обесценят.

Во время войны и о войне А. Кулешов создал и ряд высокохудожественных стихотворений, которые стали хрестоматийными. Любовью к Родине и ненавистью к врагам-поработителям наполнены «Ліст з палону», «Маці», «Балада аб чатырох заложніках», «Над брацкай магілай», «Балада аб знойдзенай падкове». Рядом с ними стоит и поэма «Прыгоды цымбал». По сюжету и художественному воплощению замысла она близка к «Сцягу брыгады». Некоторые эпизоды граничат с фантастикой. Но действия не выходят за рамки жизненных реалий. Герои поэмы — те брат и сестричка, с которыми мы встречались в «Сцягу брыгады». И, конечно, цимбалы. Втроем они странствуют в тылу врага, попадая из одной западни в другую. Эпизоды и случаи с цимбалами и детьми мелькают и меняются, как кинокадры. Поэма написана на высоком художественном уровне. Но не оставляет впечатления открытия, как «Сцяг брыгады». Может, из-за похожести сюжета, формы и интонации. Новая поэма, как будто остается в тени «Сцяга брыгады».

В мирное время поэта занимают мирные темы. Его интересует, как ржаной колос «не проста... глядзіць увысь на светлыя аблокі», а подсолнух «штодня за сонцам водзіць следам сваёй агністай, жаркай галавой». А. Кулешов заметил, что во время послевоенной счастливой свадьбы «Нат на момант зямля прыпынілася // І на ўласнай застыла асі, // Каб запомніць: і як вам любілася, // І як лёгка вас коні вязлі». Казалось бы, для поэта оставалось только одно — работать и закреплять творческие успехи. Но вдруг нечаянно-негаданно он умолк, в печати перестали появляться его стихи. Почитатели таланта А. Кулешова заволновались: что произошло?

Если умолкает эстрадный певец — у него что-то случилось с голосовыми связками и ему нужно обратиться к врачу. А что делать поэту, когда не пишутся стихи? Сидеть и дожидаться, когда заговорит душа и на бумагу попросятся строчки. Что происходило с А. Кулешовым, сказать сложно. Но коллеги были уверены: молчание Кулешова — временное. И не ошиблись. Поэт заговорил. И как заговорил! Совсем по-новому, как будто к нему пришло второе дыхание. Некоторые даже растерялись, не зная, как воспринимать его стихи. Оказалось, поэт после душевных потрясений, снова подносил творческие сюрпризы. В первый раз это произошло в начале войны, когда ему пришлось пробираться на восток, в результате чего появилась поэма «Сцяг брыгады». Что случилось во второй раз, можно только догадываться. Появились новые стихи, вошедшие в «Новую кнігу». Как потом стало известно, во время молчания в нем шла напряженная внутренняя работа. Он интересовался научной литературой. Не забывал и свой поэтический плацдарм, завоеванный упорным трудом, на который истратил немало лет и сил. И прежде, чем выйти на новые рубежи, заговорить о Вселенной, он обратился к тому, что его всегда волновало: «Ёсць у паэта свой аблог цалінны, // Некрануты прастор для баразён. // Дзе ён працуе з першае

хвіліны // І да апошніх вечаровых дзён». Исповедуясь перед Ее Величеством Поэзией, Кулешов искренне признавался:

Я — вязень твой, а ты — мая турма,
Асуджан я любоўю пажыццёва.
Зняволенне маё датэрмінова
Ты скараціць стараешся дарма.

Вот так откровенно высказывался разве только Есенин, говоря о том, что «осужден на каторге чувств вертеть жернова поэм». Называть себя «вязнем», а поэзию «турмою» Кулешов имел право.

Наверное, такое возвышенное отношение к поэзии и привело к тому, что поэта стала интересовать Вселенная, все, что происходит в ней. Философскими размышлениями о жизни и смерти проникнута поздняя лирика Кулешова. Многое он видит в глобальных масштабах и в том сцеплении, в каком существует мироздание, оказывающее прямое влияние на человечество и каждого из нас. Для поэта оно не закрытый кокон, где нет входа и выхода, хотя и не имеет начала и конца: «Зайшоўшы ў векавыя нетры, // Стаю, зачараваны ім, // На паўмільярдным кіламетры, // Паміж наступным і былым». Ей-богу, в этих строчках таится такое смысловое богатство, что на его основе можно создать фантастическо-приключенческий роман.

Невольно хочется спросить, как пришел Кулешов к таким темам? Если внимательно познакомиться с ранними стихами поэта, увидим, что он уже тогда интересовался Вселенной: «Як нам таямнічы іх шлях разгадаць? //Яны за арбітай зямлі // Праз дальнія далі, праз сінюю гладзь // Плывуць, як плывуць караблі».

Не пробудилось ли в душе Кулешова детско-юношеское любопытство ко Вселенной и не захотелось ли ему продолжить «урыўкі пачатых паэм» в зрелые годы, когда за плечами был уже богатый жизненный и творческий опыт, чтобы выплеснуться на бумагу стихами в новом качестве? И после долгого молчания Кулешов снова заявил о себе как новатор и первооткрыватель.

Интересно, что в стихах, посвященных женщине и любви, чувства и отношения Кулешов показывает в ином свете, чем в юности. Это не та девчонка, которую поэт случайно встретил на двадцатой версте и разговор между ними не заходил дальше вопросов: «Адкуль вы? Куды?» И не одноклассница, что была для героя «як светлы ранак, як юнацкі непаўторны свет». В ней трудно, почти невозможно узнать былую стеснительную девчонку: «Існуем мы з табой як выключэнне, // Мая любоў, — як свет і антысвет». Между героями на каждом шагу существуют и возникают противоречия: «Ніколі мы адной не ходзім сцежкай, // Не дзелім хлеб і дзелім толькі соль, // Ты сустракаеш смутак мой усмешкай // І смуцішся, калі міне мой боль». Что же тогда связывает между собой героев? Загадка! А может, это несходство характеров и является магнитом, который соединяет их. Не зря поэт признается: «Аднак зямля б мая асірацела // І ўвесь сусвет ахутала б імгла, // Каб выбухнуўшы раптам, адляцела // Ты ў невядомасць з хуткасцю святла».

Находясь под впечатлением этой непростой, «космической» любовной истории, наполненной земными жизненными реалиями, думаешь: не пришел ли поэт, бывший атеист-материалист, немало повидавший и переживший за свой век, к мысли, что после земного существования человека, его душа устремляется в космическое пространство и остается бессмертной? Ведь наука говорит о многих загадках, пока что не разгаданных и хранящих в себе много чего таинственного. А Кулешов, как мы уже говорили, живо интересовался научными познаниями Вселенной и присутствии в ней жизни.

Нужно ли удивляться, что после «космических» стихов, при создании которых Кулешов словно какое-то время пребывал в околоземном пространстве, с какой пронзительной нежностью, любовью и восторгом он не просто обращался, а с жадностью набрасывался на все земное и сущее, начиная с воспоминаний

детства. Сколько светоносной, по-детски наивной радости, душевной щедрости и волнения мы находим в строках, посвященных родному отцовскому дому: «Я хаце абавязаны прапіскаю — // Калыскаю, падвешанай пад столь. // Я маці абавязан кожнай рыскаю, // Драўлянай лыжкаю, глінянай міскаю — // Усім, чым працы абавязан стол».

Кулешову был чужд титан-робот Межелайтиса, который упирался ногами в землю и доставал головой до звездного неба, символизируя этим самым наши космические завоевания, но не имел самого ценного — души, и представлял собой гигантское чудовище, рожденное болезненной фантазией художника, потерявшего чувство меры и делал это в угоду приверженцев гигантомании. Для А. Кулешова всегда был дорог простой человек, у которого «Ад шчасця сэрца скача, як дзіця, // Ад бед яно, як млын, шуміць начамі, // Варочае цяжкімі камянямі, // Падлічваючы горычы жыцця». Не надо думать, что лирический герой поэта «сделан» по какому-то определенному стандарту. Нет, но чаще всего это человек умственного труда, интеллигент-интеллектуал: «Я — акіяна жытняга калоссе: // Мільёны лёсаў змешчана ў маім, // Яшчэ да дна не вычарпаным лёсе». Поэт, в том числе, говорит: «Усю зямлю з арэнай — Млечным Шляхам, // Качу яе, падобную на мяч, // <...> Як хворую, загортваю ў кумач».

Своеобразным продолжением «Новай кнігі» является поэма «Варшаўскі шлях», посвященная безвременному уходу из жизни А. Твардовского. Своим построением поэма напоминает архитектурный ансамбль, который выделяется изяществом, совершенством формы и внутренним содержанием. При чтении поэмы появляется ощущение присутствия каких-то легко летящих вверх линий, символизирующих устремление нашей души в небо и желания слиться с ним. А поэма — словно собор, в котором неисчислимое количество древних икон и фресок, которые помогают настроиться на возвышенный лад.

Поэма с первых строк захватывает интонацией, в ней присутствует в том числе и разговорно-бытовая речь. Поэма полна философских размышлений, воспоминаний и лирических отступлений. Также автор останавливается в ней на событиях и вещах, связанных с жизнью и памятью А. Твардовского. Перед Кулешовым стояла задача: рассказать о человеческих качествах великого поэта фронтового корреспондента, патриота родины, который на войне переживал за каждого бойца, как за родного брата: «Калі ўздыхнула радасна Зямля, // Ён за яе салютам пераможным, // Як за апошнім валам агнявым, // Ішоў з байцом жывым і не жывым // І плакаў на вялізным святе тым // За кожнага // І з кожным, з кожным, з кожным». Кулешов, в том числе, прибегает к строчкам из Твардовского и этим достигает определенного эффекта, как и в этом случае: «А ў гэты час, за сотні вёрст ад страты, // Дняпро плыве і сушу ліжа Сож. // І хоць ні ў чым яны не вінаваты, // Як ты і я, мой шлях, — а ўсё ж, а ўсё ж...»

Форма и интонация монолога, использованные Кулешовым, позволяют ему говорить о многом. Иногда от частного случая поэт переходит к обобщениям: «Ад вечных дум: чым адхіліць вайну — // Спыніць хваробу ў моманце крытычным? // Няпроста свет ад бед яго лячыць, // Пакуль цябе, дарога, стратэгічным // Аб'ектам не пакінулі лічыць». Он верит художественному слову: «Усім такія словы гаварыла паэзія, калі вяла ў паход: «Далёкае разгледзь арліным вокам, // Лаві на слых далёкі крык бяды: // Мяне абраўшы, мусіш быць пракрокам. // Як не пракрокам, // кім жа быць тады? // Не бойся слова гучнага — прарок! — // Прарок не бога — праўды слых і зрок».

Поистине магическое воздействие оказывал на А. Кулешова Варшавский шлях. Не меньшее, чем на звездочета — Млечный Путь. Что и не удивительно, ведь главной опорой и несущей конструкцией в поэме является Варшавский шлях. На протяжении всего произведения он служит для Кулешова связующим звеном, к которому поэт обращается, чтобы своевременно перейти от одного события к другому, связать сказанное в один узел: «Варшаўскі шлях! // На ростанях тваіх, // Падобных з вышыні да асьмінога, // Стаіць бажок у ролі сувяз-

нога // Юдолі грэшнай і нябёс святых. // <...> Не знае ён, што бог не ён, а ты... // Часовы ён. // Ты ж вечны і нязменны // Душ сувязны. Ты, як само жыццё...» Поэма «Варшаўскі шлях» — это реквием, звучащий в честь памяти великого поэта России, побратима и друга нашей Беларуси, которую он любил, тем более, что мать его была родом из-под Борисова.

Поэтическое творчество Аркадия Кулешова хочется сравнить с рукотворной галактикой, со звездами — крупные его произведения, поэмы, в том числе и драма «Хамуціус», посвященная нашему национальному герою Кастусю Калиновскому. Сверкают, горят, светятся в этой Галактике кометами, астероидами и планетами стихи, баллады и дневниковые записи. И все это создал чародей и волшебник художественного слова, появившийся на свет возле удивительной нашей славянской речушки Беседь, впадающей в далекий океан.

Жизнь в конце ледникового периода

Аркадий Кулешов — народный поэт Беларуси. Владимир Берберов — музыкант, основатель фольклорного коллектива «Ліцвіны». Больше о творческих заслугах этих известных людей в тексте говориться не будет. Наша беседа с Владимиром Берберовым о его деде Аркадии Кулешове — это не попытка осмыслить творческое наследие поэта и вписать его в какой-то контекст. Наш фокус внимания смещен на очень простые вещи. Это воспоминания первого и старшего внука о своем деде. Это короткие истории о шахматах, кошках и апельсинах. О том, каким запомнился дед (а уже только потом народный поэт) маленькому мальчику, подростку, юноше... Это свидетельство кажется мне необходимым. Через трогательные истории Владимира Христовича просвечивает что-то неуловимое, мерцающее, не поддающееся описанию. Это что-то незаметно остается внутри тебя, а потом неожиданно всплывает мерцающей точкой, когда знакомые строчки попадаются на глаза или почему-то вспоминаются. И все знакомое и очевидное перестает быть таковым...

Черная икра

Когда мне было два года, мы с родителями уехали в Болгарию. Деда я абсолютно не помнил. А когда мы вернулись из Болгарии, мне было четыре. Вот тогда я впервые с ним осознанно и познакомился. Нет, конечно, я знал, что у меня есть дедушка и бабушка. Бабушку даже как-то смутно помнил. Про деда никаких ясных представлений не было. А потом я его увидел. Дед как дед.

А лет в пять я впервые осознал, что мой дед какой-то очень известный человек. К нему пришли журналисты с магнитофоном и дубль за дублем записывали, как он читает стихотворение «Комсомольский билет». Я спросил: «А зачем это?» Мне объяснили: «Твой дед — поэт». И так я понял, что он — человек известный. А до этого он был просто дед. И все.

Дед все время был в творчестве. В решение бытовых вопросов он почти не включался. Как он нянчил внуков? Никак. Абсолютно. Мог немножко с нами поговорить, но совсем недолго. Баловал нас, покупал гостинцы. Кстати, когда я в четыре года приехал из Болгарии, я именно тут впервые узнал что такое икра.

В то время икру еще можно было купить (потом про нее в магазинах даже не стоило спрашивать). Советский союз, стабильные цены: инфляция идет, а цены не меняются. Поэтому в какой-то момент на полках была и икра, и копченая колбаса, но стоили они для большинства покупателей неподъемно. Есть в магазине икра, но где взять денег? А тут внука привезли из Болгарии (тогда еще единственного внука). Дед купил по такому случаю банку икры, а я посмотрел с удивлением и спросил: «Что это?» В Болгарии в магазинах была только икра мойвы. А тут черная. Я даже не понял сначала, что это такое.

Дед любил порадовать. Купить шоколадку, конфет. Но он никогда не мог уделить много внимания родным. Таких подарков он не делал никому. Ни детям, ни внукам. Времени уделял минимум.

Кошка и творческая индивидуальность

Мне повезло, что какой-то большой отрезок своей жизни я смог провести рядом с ним (он умер, когда я был студентом). Повезло, потому что я мог хорошенько разглядеть, что у меня за дед. А я вам скажу, у него были свои особенные черты характера. У него было чему поучиться. Например, его отношению к животным, абсолютно любым. Он никогда не хотел заводить никаких домашних животных. Никогда. Он всегда был категорически против. Но если его не слушали и заводили, то самым уважаемым членом семьи для этого животного становился именно дед. У него к этому четвероногому существу было необыкновенно уважительное отношение. В кошке, собаке он уважал личность. Он не мог обидеть животное. Считал, что недопустимо обижать человека. И такое же отношение проецировал на животных — недопустимо. Кошки и собаки тут же замечали эту черту его характера и очень быстро начинали с ним дружить. А еще он никогда не цеплялся к домашним питомцам: мол, погладить ему захотелось, позвать. Он ждал, пока зверь сам обратит на него внимание, захочет познакомиться с ним поближе. И звери с ним дружили. Например, у него была кошка, которая «помогала» ему писать. Его творческий процесс состоял из двух фаз. Первая была длинная: он часами лежит на диване и смотрит куда-то в потолок. Дома все понимали, что он «собирает» какое-то произведение. И вторая: он поднимался с дивана, садился за стол, где стояла машинка, всегда заправленная бумагой, и начинал быстро-быстро, просто как секретарь, печатать — у него уже все готово было в голове. Кошка присутствовала на всех этапах. Сначала она ложилась рядом с ним, а чаще всего — ему на живот. А потом с важным видом усаживалась рядом с машинкой. Наблюдала, как будто бы что-то понимала в поэзии.

Молчание

Дед был человеком, который привык держать эмоции глубоко в себе. На какие годы пришлась его молодость? Понятно же, что в начале 1930-х только ненормальный мог не понимать, что вокруг все уже совсем не так, как было в мечтах и планах. В 1928 году все думали, что они — участники строительства нового мира, лучшей жизни, которой еще не было до этого времени. А уже в начале 1930-х только идиот мог думать, что все идет хорошо, умные

видели: что-то идет не так. Видели, что бывает с теми, кто мог позволить себе высказаться. Поэтому и дед, и бабушка были приучены молчать и не особенно проявлять эмоции. В кругу семьи тоже. Более того, и нас учили, что лучше держать свои мысли при себе. И меня учили. Правда, не научили. Наверное, сказалось то, что я не помню Сталина. И поэтому учи не учи, а убедительных примеров («того забрали» и «этого забрали») перед глазами уже не было. И мы выросли другими.

Шахматы и карты

В шахматы дед играл на очень высоком уровне. Однажды мой однокурсник, кандидат в мастера спорта среди юниоров, узнал, что мой дед хорошо играет в шахматы. А шахматисту всегда интересен сильный соперник. Но у деда ему ни одной партии выиграть не удалось. Тот его очень быстро и легко обставлял. Однокурсник говорил, что с дедом играть тяжело, и особенно тяжело потому, что Аркадий Александрович играет «не по книжке». Свои партии он придумывал сам и был непредсказуем.

Когда к нему приходил хороший шахматист (когда мы жили на улице Янки Купалы, в нашем подъезде как раз жил хороший шахматист), они могли просидеть за доской всю ночь, играя партию за партией. Заходишь утром в комнату — а там сигаретный дым стоит слоями: всю ночь без перерывов курили и играли.

Любил карты. В подкидного дурака не играл. Как-то я предложил и услышал, что в подкидного играют только дураки. И если не хочешь быть дураком, то и играть не надо. Я спросил: «А во что надо играть?» — «В преферанс». И правда, никакие другие карточные игры его не интересовали. Даже в тысячу ему было не интересно, для него это было слишком примитивно. Вот преферанс — другое дело. Может быть, ему был бы интересен и бридж, но у нас тогда не было моды на бридж, в Советском Союзе про эту игру не знали.

Ледниковый период

Когда я учился в начальной школе, я узнал, что в старших классах мы будем проходить стихи деда, и это было очень неожиданно: ух ты, моего деда! И Танка будем учить, и Лынькова... А это с детства были просто хорошо знакомые мне люди. Я же их не воспринимал как классиков, к ним в гости можно было хоть каждый день ходить (все жили по соседству). Правда, как и с дедом, особенно с ними не поговоришь, больше — с их домашними. А они все в мыслях, все в творчестве.

Я не вспомню сейчас всех, кто бывал у нас в гостях. Мне особенно запомнились редкие гости: писатели, которые жили в Москве, на Кавказе, по всему Советскому Союзу. Понятно, что появлялись они у нас редко. И это всегда становилось событием. Это было захватывающе. Этим гостям дед всегда уделял очень много внимания. Чувствовалось, что это те люди, с которыми ему интересно о чем-то порассуждать. Обсуждали они, кстати, очень занимательные вещи. Казалось бы, раз поэты, то должны говорить о современном литературном процессе. Но я особенно не слышал разговоров о литературе. Они говорили о каких-то других интересных вещах. Почему, например, каждое следующее лето более засушливое и жаркое, чем предыдущее (это середина 1960-х). Вспоминали, какие зимы были в 1920-е: снежные и морозные. Помню, как дед рассказывал о своем убеждении, что мы все живем в конце ледникового периода. Те родники, которые бьют из-под земли, — это вода, начавшая вытекать с таянием ледников. В природе существует какой-то определенный



Расул Гамзатов и Аркадий Кулешов.

цикл развития, и сейчас мы живем в конце ледникового периода. Постепенно будет становиться все теплее и теплее, дойдет до какой-то определенной точки, а потом снова похолодает, снова наступит ледниковый период. Мы просто живем именно в этот момент цикла. Вот такие интересные вещи обсуждали. Говорили про космос. Существуют ли где-нибудь инопланетяне? На Луне точно никто не живет, это уже понятно. На Марсе тоже, скорее всего, ничего нет, и исходя из тех фактов, которые известны астрономам, даже если туда и отправится экспедиция, то вряд ли она найдет там какую-то цивилизацию. Вы понимаете, их интересовали глобальные вопросы человечества, вопросы вселенского масштаба. Для чего на земле живет человек? Для чего-то же это все происходит, а мы просто не можем это все понять и связать воедино, но какой-то смысл у всего этого есть...

Буратино и апельсины

Дед ругал меня только однажды. Я, правда, так и не понял за что. Мы закончили десятый класс, был выпускной вечер. И по тогдашней традиции отмечать выпускные вечера в парках, мы праздновали в Парке Горького. Кстати, тогда для выпускников обязательно готовили культурную программу, в концертах тон задавали звезды белорусской эстрады. И вот во время выпускного вечера я пригласил одноклассников к себе домой (мы жили рядом). Ненадолго, буквально на час. А до выпускного вечера мне удалось купить дефицит — апельсины, и купил я их с учетом будущего праздника. Купил напиток со смешным названием «Буратино» (единственную газировку, которую можно было найти на полках в то время). И мы слушали музыку, ели апельсины и распивали «Буратино» из бокалов для шампанского. Часок так посидели, а потом снова вернулись в парк. И вот за это дед потом меня отругал. Что так нельзя делать, что я повел себя нетактично, просто использовал географическое положение своего дома. А он считал, что воспитанные люди так не делают.

Бери и делай

На выбор моей профессии дед и его авторитет никак не повлияли. Он повлиял на отношение к ней. Дед научил меня, что своим делом нужно заниматься не смотря ни на что. Что бы не происходило вокруг, нужно делать свое дело, потому что если ждать необходимых условий, то их можно ждать всю жизнь. Надо работать в тех условиях, которые есть. Это не конструктивно жаловаться: «Ну что тут можно сделать...» Нужно браться и делать.

Беседовала Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ.

Легкость, душевность, глубина

Драматическая поэма Аркадия Кулешова «Хамуціус» редко попадала в театральные афиши. То ли поэтический текст (поэзия — один из самых непростых материалов для спектакля) не давал режиссерам почувствовать себя уверенно. То ли пугали возможные противоречия и сложности в трактовке образа главного героя, которые, какое бы ни было время, обязательно найдутся. В энциклопедии «Тэатральная Беларусь» о постановке поэмы только одно упоминание: в 1981 году Сергей Евдошенко поставил «Хамуціуса» в Брестском областном драматическом театре. Наше время продолжило театральную историю поэмы. В 2012 году режиссер Владимир Савицкий поставил «Хамуціуса» на сцене Белорусского республиканского театра юного зрителя, изменив название на строчку из другого произведения поэта — «Майго юнацтва крылы». Главную роль — роль Кастуся Калиновского — в спектакле исполнил молодой актер Геннадий Гаранский. В преддверии 100-летнего юбилея Аркадия Кулешова мы поговорили с актером о спектакле и поэзии.

Я пришел работать в театр три года назад, поработал год, за который у режиссера и сложилось представление обо мне как об актере. А потом мне выпала эта знаковая роль — Кастуся Калиновского.

Когда я познакомился с материалом, мне стало понятно, что режиссер хочет сделать акцент не на исторических событиях, не на борьбе, а на поведении людей, оказавшихся в экстремальной ситуации: как развиваются их отношения, как они видоизменяются. Это история о том, что нужно оставаться человеком, чтобы ни случилось. С таким режиссерским решением текст становится ближе и понятнее нашему зрителю. У ТЮЗа ведь своя специфика. Мы сделали спектакль для старших школьников, для молодежи. Кстати, в процессе показов нам пришлось поменять их формат. У зрителей возникали вопросы: мы понимаем сюжет истории, но не понимаем, как она связана с конкретным персонажем. И тогда мы стали собирать зрителей перед спектаклем, чтобы поговорить с ними о нашей истории, о поэме, о театральном языке, символах и метафорах в нем.

Мне бы хотелось, чтобы та обязанность по отношению к детям и подросткам, которая лежит на нашем театре, в большей степени касалась и других учреждений. Я вспоминаю, как сам учился в школе, и жалею, что белорусского языка, белорусской литературы у нас было мало. У человека можно спрашивать «Кто ваш любимый белорусский поэт?», когда с этим человеком везде — от дет-



Сцена из спектакля «Майго юнацтва крылы».

ского садика до университета — системно и много разговаривали о белорусской литературе. Тогда он ответит.

Мне нравится, что поэзия Кулешова заставляет современного читателя обратить внимание на «лирику», которая большинству людей сегодня кажется ненужной. Ты становишься мягче, когда читаешь его стихи о любви, о ревности. Вспоминаешь о своей маленькой родине. Кулешова всегда вдохновляли родные места, и, прочитав его стихи, ты вспоминаешь свои, понимаешь, что они тоже тебя вдохновляют.

Если говорить о связи поэзии и театра, то мне кажется, что у нас (именно в Беларуси) необходим как раз такой театр. Во-первых, если сегодня мы хотя бы на толику приблизимся к искреннему пониманию поэзии, то это стремительно сделает нас лучше. И я говорю не о каких-то общих вещах, а о своем опыте как актера. Это мой личный ответ на вопрос «Почему я стал актером?» Хочу, чтобы люди становились лучше, чтобы мир становился лучше. Чтобы в какой-то момент мы способны были понять, что сейчас нужно поступить по-человечески, а не думая о своей какой-то выгоде. Это возможно только благодаря поэзии. Я не видел еще ни одного стихотворения, которое научило бы меня зарабатывать деньги или озлобило. Ну и, во-вторых, поэзия в театре — это и есть настоящий театр, я не говорю, что прозы на сцене не должно быть, но верх искусства, самая высокая планка — это поэзия.

Три определения для поэзии Кулешова? Легкость, душевность, глубина. Меня впечатляет, как в его стихотворениях проявляется ощущение главного. Когда ты, благодаря поэту, точно понимаешь, что есть главное среди разнообразных мыслей и проявлений жизни.

Беседовала Алена ГАЛАЙ.

Фото Андрея СПРИНЧАНА.

Имена

ГАНАД ЧАРКАЗЯН

«Я позвоню тебе из трамвая...»

Сегодня я встречаюсь с Рыгором Бородулиным. Встреча несколько раз откладывалась, переносилась, но вот вроде все заботы и хлопоты отпустили, а состояние здоровья моего дорогого друга позволяет принять гостя. Поэтому с утра я уже в предвкушении праздника. Тем более, что не виделись больше месяца.

Хотя встреч этих за долгие годы знакомства и не счесть, все же особая, праздничная атмосфера сопровождает их всегда, начиная с той самой первой и случайной в коридоре издательства «Мастацкая літаратура».

Помню, что, поднявшись на девятый этаж, я несколько неуверенно шел по коридору, отыскивая глазами нужную мне табличку. Вдруг в конце его слева от меня распахнулась дверь, плеснув солнечным светом в темноватый коридор, и навстречу вышел Рыгор Бородулин. Его можно было узнать издалека по особенной, легкой, глиссирующей — бородулинской — походке. Походке-побежке. В ней ничего не было от величавой поступи забронзовевшего классика, каким к тому времени он уже стал. Думаю, что так же легко и стремительно ходил и другой мой любимый поэт — Александр Пушкин. С ним, правда, в коридоре нашего издательства я не сталкивался. И роднит их, конечно, не только походка и моя симпатия.

Как вежливый гость, я почтительно поздоровался со знаменитым поэтом, но вместо простого кивка в ответ и скользящего рассеянного взгляда получил резкий и неожиданный вопрос:

— Вы — Чарказян?

Я смутился, мне и в голову не могло прийти, что меня может знать сам Бородулин. Тем более, что и книга моя еще не вышла.

— А как вы определили? — спросил я в некоторой растерянности.

— Да проще простого — нос! — Он пальцем показал на свой собственный.— Таких колоритных у нас мало, хотя нет-нет да и встречаются.

— Да и не только у меня, Бог не обидел и Бородулина.

— Ха-ха-ха! — легко рассмеялся он.— Но у вас орлиный, а у меня — как у меня!

Это была наша первая случайная встреча, особая, радостная, незабываемая, важная для моей жизни и моего творчества. Я давно обратил внимание, что все определяющее в жизни — во всяком случае, в моей, — происходит как бы совсем случайно. Только потом за этими случайностями проглядывает закономерность. Немного позже, также в одну из незапланированных встреч в издательском коридоре, Бородулин признался, что впервые услышал о Чарказяне от своего знаменитого земляка — Петра Устиновича Бровки. К тому же, оказывается, он читал и журнальные публикации, видел фото.

— Чукча не просто писатель, чукча еще и читатель! — пошутил Бородулин.

В качестве читателей — друг друга — наши литераторы выступают не так часто, как хотелось бы. Читают обычно только самих себя. Живой интерес к тому, что пишут другие, — это о Бородулине. Возможно, поэтому он заинтересовался

и моими чаргави — четверостишиями. Потом переводил и другие стихотворения. Переводил и прозу, которая, в сущности, только благодаря ему и появилась. Когда я впервые рассказывал Бородулину истории из жизни своего народа, о его обычаях и традициях, он предупредил:

— Больше пока никому не рассказывай. У тебя очень колоритные герои и сюжеты. Потом будешь удивляться, что кто-то написал об этом раньше тебя. Братья-литераторы — это уж такая порода — всегда готовы хороший сюжет приватизировать. Тем более еще не напечатанный. Сначала напиши об этом. А я переведу на белорусский. Будет интересно. Многим будет интересно.

Сегодня я тоже буду знакомиться с новыми переводами моих чаргави. Скорее всего, он прочитает их сам. Бывало, что новые переводы, еще горячие, он читал мне и по телефону — не терпелось услышать мое «ай да Бородулин, ай да молодец!» Да, в творчестве есть что-то от детства, и поэтому поэты, как дети, тоже очень любят похвалу. И поэтому так переживают, когда ее нет. И тогда начинают хвалить сами себя. Поэтому и любую критику воспринимают так болезненно.

Мое знание белорусского языка не дает возможности свободно говорить на нем, но отличить хороший перевод от неудачного я все-таки в состоянии. А переводы Бородулина — это нечто особенное. Каждая строка моего часто не очень ловкого подстрочника начинает светиться каким-то внутренним светом, играть новыми смыслами. Бородулин каждый раз пропускает переводимый текст через свои душу и разум. Иначе он не может. Это уже не просто перевод — это полноценное творчество, повод к которому дают ему мои скромные строки. Так искусный гранильщик из тусклого природного камня делает бриллиант. Каждый раз, слушая его переводы, я радуюсь, как ребенок. Еще и потому, что повод к этому празднику стиха дал ему именно я.

Перед выходом из дома я позвонил Рыгору Ивановичу с домашнего телефона. Занято. Подумал, что не стоит терять время — «позвоню ему из трамвая», по мобильнику.

Сегодня фраза «я позвоню тебе из трамвая» звучит вполне нормально, хотя чаще просто говорят: позвоню по мобильнику. Это предполагает, что звонок может быть совершен откуда угодно. Из автобуса, троллейбуса, метро, такси. Но мало кто знает, что бородулинское «я позвоню тебе из трамвая» родилось почти за полвека до внедрения мобильной связи в нашу жизнь. Когда еще даже фантасты не могли придумать ничего похожего на наши современные телефоны. Но фраза эта легко вырвалась из уст одного поэта и влетела в ухо другого — Владимира Короткевича, а потом стала их обыденным присловьем. Звучало оно тогда, рассказывал Рыгор Иванович, когда возможность звонка была под сомнением.

Проходя через скверик возле стадиона «Динамо», я набрал номер моего старшего друга еще раз. Но, видимо, сделал это слишком торопливо — соединился с какой-то скучающей дамой, явно склонной поболтать. Оставил даму дожидаться следующего звонка. Ну, ничего, подумал я, позвоню рядом с домом. Рыгор Иванович о сегодняшнем визите уже предупрежден.

Всем знатокам белорусской литературы хорошо известно о тесной дружбе Рыгора Бородулина и Владимира Короткевича. При случае я расспрашиваю поэта о том далеком времени, и не только потому, что я очень любопытен, но и потому, что все, что касается моего друга, касается и меня. Так часто говорят на Востоке. А как ни глянь, все же к Востоку я имею некоторое отношение, хотя большая половина жизни прошла в уже давно родной Беларуси.

По дороге вспомнилась одна история с Владимиром Короткевичем, которую я услышал совсем недавно. Для живости изображения попробую передать ее словами самого Бородулина.

— В те наши молодые годы, — рассказывал Рыгор Иванович, — мы чувствовали себя свободно и счастливо. Самое страшное — война, выпавшая на наше детство, — было уже позади. Что-то ели, во что-то одевались, но, в общем, не обращали на это особого внимания. Правда, случались моменты, когда наше немного запоздавшее счастье молодости хотелось дополнить еще каким-нибудь неожиданным содержанием, словно пришпорить его. Это часто бывает у молодежи, отсюда и разные фортели, даже хулиганство. Но мы-то были поэты, и хулиганство наше было тоже в мире фантазии.

— Ты знаешь, мой друг Рыгорка, — начинает Короткевич свою очередную небылицу.

— Не знаю, — тут же возражаю ему.

— Ты еще ничего не знаешь, а уже уверен, что все знаешь. Как всегда!

— Уверен!

Короткевич останавливается и торжественно сообщает:

— Основатель дома Романовых Иван Кобыла был конюхом моего деда!

Какое-то время я с восхищением смотрю на Володю, хлопаю его по плечу и тут же начинаю хохотать. А глядя на его абсолютно серьезное лицо, просто не могу остановиться. Наконец, отсмеявшись, стряхнув слезы с глаз, все же пытаюсь его разубедить:

— Да ты что, Володя, какой такой дед?! Династии дома Романовых больше трехсот лет! Какой дед? Он что — Кощей Бессмертный?

Короткевич не отступает:

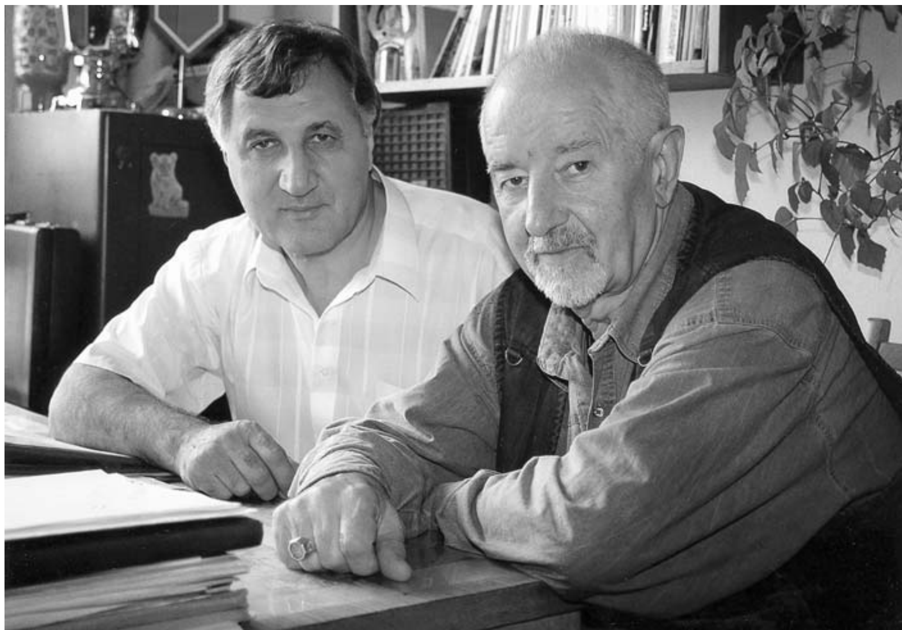
— Ну не дед, так прадед, какая разница? И триста или двести лет — они же рядом! Мне кажется, Рыгорка, подход к истории у тебя совсем не поэтический. Ты что, диссертацию писать собираешься? Так вот, основатель дома Романовых был конюхом моего деда...

И тут уж мы начинали хохотать вместе.

Слушая Бородулина, я представлял и себя участником того разговора. Радовался их молодости, искренней и бескорыстной дружбе, о которой в наши годы можно только вспоминать. И Бородулин с печалью часто вспоминает те далекие дни, вспоминает своего друга и единомышленника, восхищается его душевным богатством, теплотой, неуемной фантазией.

— Конечно, глядя из сегодняшнего дня, жалею, что не вел тогда дневник, не записывал даты встреч и темы разговоров. Да и кто думал, что со временем это кому-нибудь станет интересно. Мы просто жили, каждый день был насыщен до предела, казалось, что так будет всегда, что праздник молодости никогда не кончится. Да и разве можно достоверно записать, о чем беседуют двое взрослых людей?

Запомнился мне и рассказ поэта о военной кафедре БГУ. Там командовал отставной генерал — фамилию Бородулин просил не упоминать. Еще со школы у Рыгора Ивановича были не очень простые отношения с математикой. Тогда он помогал по немецкому языку своему другу-однокласснику, а тот — в решении задач. Так, благодаря этому бартеру, и окончили школу с хорошими оценками по нелюбимым предметам. Поступив на филфак, Бородулин радовался, что уж тут донимать его математикой никто не будет. А на военной кафедре она вдруг снова возникла во всем своем отвратном облике. Школьного друга уже не было рядом, а отставной генерал оказался истовым служакой и любил показать штафиркам-филологам, что главное для мужчины — военное дело. И, конечно, математика, без которой будущему командиру орудийного расчета никак не обойтись. Так что задачи с гаубицей Бородулин решить не мог, да и не хотел. Генерал донимал его этой гаубицей постоянно, а Бородулин, в свою очередь, доводил генерала до белого каления постоянным вопросом: «Сколько стоит снаряд?» На этот вопрос генерал тоже не знал точного ответа, а что-то придумывать считал ниже своего достоинства. А может, просто хранил военную тайну. В конце концов, генерал



Рыгор Бородулин и Ганад Чарказян.

понял, что математика из Бородулина не получится, и сосредоточил свои педагогические усилия на материальной части этой самой гаубицы. Но с изучением орудия тоже возникли трудности. И однажды, когда генерал попросил студента хотя бы показать часть орудия, которую он только что назвал, а тот и с этой пустяковой задачей не справился, терпение генерала кончилось. Он гневно ткнул указкой:

— Вот она, у вас под носом! — и, бросив указку на стол, тут же отправился к проректору.

— Бородулина надо исключать! Немедленно! Таких тупых я еще не встречал! — потребовал генерал.

Незадолго до этого визита проректору принесли коллективный сборник университетских поэтов «Падарунак», и он уже успел ознакомиться с ним.

Проректор показал генералу сборник и сказал:

— Бородулин пишет талантливые стихи, значит, не такой уж и тупой.

Генерал в сердцах бросил:

— Я вам о деле говорю, а вы мне о каких-то стишках!

Бородулин признается, что до сих пор ищет злополучную деталь на гаубице, если та ему где-нибудь встречается, и до сих пор не знает, где эта деталь находится. Но зато сегодня все знают такого поэта, как Рыгор Бородулин.

Идеал образования — знать немного обо всем и все о немногом. О том, что всего важнее для тебя. И каждый человек должен делать то, что он может делать лучше других. А если человек талантлив в чем-то, надо его беречь и поддерживать. Только в жизни не все получается так складно. Имеем своих самородков, но чтим дешевые чужие поделки. Забываем о своих талантах, но старательно подражаем заморским посредственностям. Пишем на своем языке с ошибками, а чужие слова переписываем аршинными буквами и вешаем в самых людных местах.

Однажды моя внучка Олечка принесла мне свою последнюю картинку.

— Дед, я нарисовала деда Бородулина!

Я смотрю на листок, на рисунок, на Олечку, еще наполненную радостью творчества, и удивленно спрашиваю:

— Олечка, как ты могла нарисовать деда Бородулина, если ты ни разу его не видела?

Она не растерялась и, взяв меня за руку, подвела к книжным полкам:

— Вот, смотри! Раз Бородулин, два Бородулин, три Бородулин, четыре Бородулин... Вот одна фотография, другая. А ты говоришь — не видела!

Она положила рисунок на письменный стол:

— Пусть у тебя будет еще один Бородулин, самый красивый. С красной бородой.

— Спасибо, Олечка!

Она довольная уходит, но скоро опять возвращается.

— Дед, в другой комнате тоже Бородулин...

А я на это раньше и не обращал внимания. Оказывается, действительно, почти на всех полках Бородулин. Живет и творит на улице Мележа и одновременно присутствует в доме друга на улице, носящей фамилию разрушителя династии Романовых, родоначальник которой, как нам уже известно, конюх деда Владимира Короткевича.

В годы совместной работы в издательстве «Мастацкая літаратура» Бородулин гордо демонстрировал мне ссобойку, заботливо приготовленную его замечательной супругой Валентиной Михайловной. В этой ссобойке неизменно присутствовал хлеб из муки грубого помола, сало невероятного вкуса, соленые огурцы и фляжка с водкой. Хотя к этому времени Рыгор Иванович был уже давно трезвенником, но, как признавался, любил смотреть, как водка льется в маленькие серебряные рюмочки, они тоже были в этом стилизованном под мужика-белоруса наборе. Хотя и диссонировали с ним, намекая, что мужик хотя и белорус, но от сохи уже оторвался. Угощая кого-нибудь, Бородулин обязательно добавлял, что свое уже выпил.

— А курды как пьют? — все пытался дознаться у меня, когда никак не удавалось соблазнить серебряными рюмочками. Почему-то ему казалось, что Грустный Гранат — так называл он меня за глаза — сразу повеселеет, отведав национального напитка.

— Кружками, Рыгор Иванович,— неизменно отвечал я,— стаканами, черпаками, ведрами, бочками...

— А, значит, не пьют. Трудно им будет выжить в эти сложные и смутные времена... А ты, даже если не пьешь, пиши. За твоей спиной сорок миллионов трезвых людей. Они ждут многого от тебя. Пиши!

— Рыгор Иванович, не сорок миллионов курдов и езидов за мной, а сорок миллионов плюс один белорус.

— Тогда сделаем корректировку. Значит так, запомни на всю жизнь: за тобой сорок миллионов простых курдов и курдов-езидов, — дай бог им государственности! — Рыгор Бородулин и мои десять миллионов белорусов! Теперь ты сознаешь всю меру ответственности, когда садишься за стол? Ну, хоть сало попробуй!

Да, такого сала я уже никогда больше не едал. Наверное, собственного посола. Его Валентина Михайловна на все руки мастерица.

Подходя к дому, набираю номер мобильника Рыгора Ивановича. Долгие гудки, не слышит. Звоню по запасному варианту. Телефон Валентины Михайловны тоже не отвечает. Чувствую, как подскакивает давление, начинает стучать в висках. Стою уже возле подъезда и не решаюсь набрать код домофона. Только бы ничего не случилось. Немного подождав, делаю еще один контрольный звонок на домашний телефон. Последний шанс. Долгие, бесконечные гудки. В голове хаос. Тучи недобрых предположений. А что прикажете думать, когда разом не отвечают все три телефона?

С последней надеждой осторожно набираю код дверей и после долгих гудков — Господи! — слышу голос Валентины Михайловны.

— Валентина Михайловна? — переспрашиваю с дрожью в голосе.

— Что с тобой, Ганад?

— Со мной уже все хорошо. Здравствуйте, я очень рад, что вы дома. А Рыгор Иванович?

— А где ж ему быть? Тоже дома, просматривает твои чаргави. Открываю...

Гора с плеч. Успокаиваясь, прошел к лифту, вызвал. Торопливо ткнул кнопку нужного этажа. Сколько раз нажимал на нее, мог бы сделать это с закрытыми глазами. Как и во всех лифтах, на стенах следы пещерной культуры, на потолке и кнопках управления тоже. Выхожу на площадку. Тут знакомая обстановка: невынесенная старая мебель. Видимо, кто-то долго думал, как вывезти эту рухлядь на дачу, да так ничего и не придумал. Появилось и что-то новенькое: обшарпанное немецкое пианино, еще, наверное, трофейное. То самое, что в свое время доставляло Рыгору Ивановичу кучу переживаний. Однажды и я его слышал — гаммы долбили целый вечер. Но соседям это приносило какую-то пользу, а может, и доставляло удовольствие. Вот и новая дверь, о которой говорила Валентина Михайловна, — поставили, наконец. Теперь все как у всех. Стальные лакированные двери с мощными замками. Точь-в-точь как у бронированного банковского сейфа. Да, вот и народный поэт надежно спрятан от народа. Как большая материальная ценность.

Нажимаю на новую кнопку радиозвонка. Тишина. Да и что услышишь за такой дверью. Нажимаю снова, уже продолжительней. Никто не отворяет. А может, звонок не работает? Ну не для того же мне открыли подъезд, чтобы держать у новой двери. Чтобы я полюбовался ею? Да, дверь надежная. Выдержит осаду. Еще понажимал — с тем же результатом. Никак засел мой Иванович в своем сейфе и сторожит свои мифические гонорары. Правда, если вдруг повезет получить, сейчас не убережешь их ни за какими дверями. Надо тратить сразу или класть в «Беларусбанк» под фантастический процент. Говорят, там хранят свои денежки даже некоторые шотландские лорды. У них есть что хранить.

Ну что, надо звонить хозяину.

И случается чудо. Хозяин отвечает. Поздоровались. И я спокойно так спрашиваю:

— Рыгор Иванович, а почему не открываете мне дверь, я тут уже минут десять звоню. Даже сыграл на старом пианино единственную мелодию, которую знаю. Я даже стучал, думал, звонок не работает.

Рыгор Иванович выслушал и торопливо говорит:

— Сейчас Валя ответит!

И я жалуюсь уже Валентине Михайловне:

— Допустите до его милости, умоляю!

И рассказываю ей, что давно жду под дверями и все остальное.

Она мне в ответ:

— Да я сама ждала у открытых дверей. Подумала, что ты не вошел, может, передумал, дело молодое. Ну, попробуй еще раз позвонить в квартиру, в дверь.

Я выполняю ее указание и старательно давлю кнопку звонка — ни ответа, ни привета. Чертовщина какая-то. Никогда со мной такого не было. Набираю номер Валентины Михайловны и снова жалуюсь, что двери с металлической полировкой не открывают и что я снова буду играть на пианино «С чего начинается Родина...», пока мне не откроют двери металлического сейфа, за которыми вы храните своего Рыгора Ивановича. Но в ответ на мою жалобу слышу смех, который сначала кажется просто издевательским:

— Ой, не могу! Ганад, пианино на шестом этаже! И двери металлические полированные, как у сейфа, там же. Мы наружную дверь не меняли. Меняли внутреннюю. Как тебя туда занесло?! Спускайся!

Потом мы долго смеялись, что я, звоня в квартиру на шестом этаже, упорно хотел попасть в квартиру на пятом. Тогда я пообещал, что обязательно напишу

про то, как ходил к народному поэту в гости, но почему-то через чужую бронированную дверь.

— Бывает, и не такое бывает! — утешал меня с улыбкой Рыгор Иванович.— Тем более у поэтов. Хорошо, что ты еще не вызвал скорую и наряд милиции. А мы-то иногда и вообще забываем дверь закрыть. И ничего, пока Валентину мою не выкрали. Только если кто на твои чаргави покусится — все хотят переводить моего Грустного Граната...

Потом мы прошли в его кабинет, Рыгор Иванович читал свои новые переводы, а я наслаждался мелодичным, своеобразным, чистым, похожим на воды Свитязи, белорусским языком поэта. Такого не услышишь ни по радио, ни на телевидении. Да и в сегодняшней деревне он уже редкость. Впору объявлять поэта лексическим заповедником и ставить под государственную охрану. Белорусы будут гордиться им, пока будет существовать эта малая часть Земли — Белая Русь, ее культура и государство.

28 июня 2004 года в Ватикане Рыгора Бородулина принял Папа Римский Иоанн Павел II, в миру тоже поэт — Кароль Войтыла. Бородулин подарил ему книгу стихов в своем переводе. Историческая встреча. Получив благословение Папы Римского, Бородулин вернулся в свои родные Ушачи.

Через неделю ночью Рыгор Иванович упал со второго этажа родного дома вследствие недомогания. Под ложными балконными дверями торчали зарытые в землю столбики, на которых когда-то закреплялась скамейка. Он упал на землю между столбиков. Ни одной царапины.

— Боженька сберег, — коротко прокоментировал Бородулин.

И я думаю, что Бог помог, сберег. Ведь если Бог посылает человеку испытания, то он вправе и беречь его. Хотя, конечно, этим правом он не всегда и пользуется. О чем свидетельствуют судьбы самых достойных и талантливых людей.

— Если человек находится между жизнью и смертью и если есть за что пощадить его, Бог дарует жизнь. Поэтому относиться к этому дару надо бережно. Ведь твоя жизнь была смыслом стольких людей, что жили до тебя и готовили твое появление.

Поэтому и тема матери звучит в творчестве Рыгора Бородулина так сильно и пронзительно.

Мне посчастливилось знать и другого толкователя этой вечной темы, гениального представителя уже восточной цивилизации, армянского поэта Ованеса Шираза. Он, помнится, гулял по Еревану, а за ним на почтительном расстоянии следовала толпа зевак. Люди останавливались, приветствовали его, потом кто-нибудь обязательно присоединялся к почетному добровольному эскорту.

Однажды Ованес Шираз подписал мне книгу, глянул на меня с улыбкой и сказал:

— Я вчера тебя видел на этом же месте.

Его простые слова растрогали меня до слез. Позднее я понял, что был тронут тем, что оказался как-то выделен, отмечен. Значит, я тоже что-то из себя представляю, а не просто дерево или камень у дороги. Нечто подобное я испытал, когда услышал неожиданный вопрос Бородулина: «Вы — Чарказян?»

Все творчество Ованеса Шираза пропитано темой матери и Родины. Родина и мать — это у армян синонимы. Поэтому армяне гордятся Ованесом Ширазом, а белорусы — Рыгором Бородулиным.

— Я люблю стихи Ованеса Шираза, — признается Рыгор Иванович, — доводилось переводить его. О, это поэзия! — и поднимает глаза к небу.

Так же говорят и так же поднимают глаза к небу армяне — все оттуда, все приходит свыше, чего мы ни понять, ни объяснить не можем. В состоянии только чувствовать сердцем. И передавать свои чувства другим.

Я горжусь еще и тем, что и у меня и у Шираза — один переводчик. Несмотря на постоянную загруженность, Бородулин все же сумел перевести пять моих книг поэзии и прозы. Мне достаточно взять их в руки, чтобы самое плохое настроение тут же улетучилось. «Да будь я и негром преклонных годов, лежачим иль на ходу ли — я счастлив навеки уже оттого, что меня перевел Бородулин!» А если еще вспомню, что судьба подарила мне общение с такими личностями, как Петрусь Бровка и Василь Быков, то и вообще кажется, что жизнь прожита мною не зря. Любопытно, что все они с Витебщины. Видимо, эта земля особенно плодовита на таланты.

К Бородулину я всегда поднимаюсь на лифте. Потому что тороплюсь поскорее увидеть его. Но сегодня я слишком поторопился и ошибся кнопкой. Зато испытал целый шквал эмоций, в конечном итоге, освеживший наши отношения, заставивший поволноваться за него. Но уходить от Бородулина не хочется. Поэтому всегда спускаюсь по лестнице, которая на каждом этаже выглядывает на улицу, а потом снова прячется внутри. Так пять раз.

Я спускаюсь по лестнице и вспоминаю свои вопросы:

— Сколько книг выходило, дядька Рыгор?

— Не помню.

— На скольких языках печатались?

— Не помню.

— С каких языков переводили?

— Не помню.

Рыгор Бородулин не помнит. Ну да, математику он не очень любит. А я знаю литератора, который (по его же признанию) утром считает свои книги слева направо, а вечером справа налево, чтобы не забыть их количество. И сразу вспоминаю своего дальнего земляка, который несколько раз на день пересчитывал своих барашков, в надежде, что случится чудо и их станет больше.

А вот другой ответ Бородулина я записал, чтобы все правильно донести до поклонников его таланта:

— Всю жизнь хотелось писать стихи для себя. Была надежда, что они еще кому-нибудь смогут понравиться. К сожалению, читателей все меньше и меньше, а писателей все больше и больше. Я старался писать такое, что задевало бы меня по-настоящему. В этом, думается, и есть цель творчества. Если ты просто любишь все, что написано тобой, — это конец. На свое творчество надо смотреть отстраненно, как будто ты к этому не имеешь никакого отношения. Только так и возможна объективная оценка. Самое главное — не следовать заранее составленному плану. Плановое производство не для поэзии. Тогда превращаешься в ремесленника, обслуживающего тех, кто платит. Так работает столяр, гончар, кузнец. Но и у них случаются прорывы к подлинному искусству, к нерукотворности. А только нерукотворность и может быть целью поэзии, когда кажется, что стихотворение возникло само собой и живет уже отдельно от тебя. Такое случается редко, но все же случается. Вот ради этих мгновений мы и пишем, надеясь пережить их снова и снова. Невозможно управлять стихотворением — оно непредсказуемо и управляет тобой. Судья последней инстанции — не коллега, не критик, не чиновник по ведомству литературы, но читатель. Надеюсь, что он все еще существует и жаждет встречи с поэзией, а не просто со стишками. Иногда удивляюсь, что в нашей кислотной среде (имеется в виду писательская среда) каждый считает себя классиком и при этом ничего не делает, чтобы им стать. Тут уже все в руках Бога. И государство не поможет, никто не поможет. Чтобы что-то выросло, необходима почва, а если нет почвы, то что тут поделаешь? Время все расставит по своим местам. Слово — это основа, красивое слово — это уже фундамент. На хорошем фундаменте можно построить красивый и прочный дом... Ты же лучше знаешь... (Он имел в виду мою строительную профессию.— Г. Ч.)

Я задаю Рыгору Бородулину еще один, на мой взгляд, непростой вопрос:

— Трудно ли быть народным поэтом?

— Если хочешь, продемонстрирую, — весело отзывается он.

— Разве это возможно?

— Возможно, и, если хочешь, с твоей помощью, — Бородулин лукаво отводит глаза.

Я уже начеку, вижу, что он уже что-то придумал, какой-то розыгрыш, прикол, как говорит моя внучка. Разыграет, и не заметишь. Он мастер на такие штуки.

Бородулин помогает мне надеть горскую бурку и папаху, которые недавно ему вручили аварцы из Дагестана. Специальная делегация приезжала в Беларусь. Дает мне в руки сертификат, вставленный в массивную рамку. Называется «Сертификат Признательности». Текст гласит: «Народному поэту Республики Беларусь Бородулину Рыгору Ивановичу за огромный вклад в области популяризации каратинского языка, за перевод на белорусский язык сборника стихов поэта Х. Асадулаева «ГОРО». За укрепление дружбы между белорусским и дагестанским народами, за величие души и бескорыстную твердость.

Председатель региональной общественной организации «Карата», депутат Народного Собрания Республики Дагестан по Ахвахскому району Г. Муслимов».

Я подвигался немного по комнате, выглянул в другую, показался Валентине Михайловне и признался, что ноша основательная, это не плащик какой-нибудь, да и рамка внушительная. Да, тяжеловато быть народным поэтом.

— Рыгор, ты ж грамоту Ганаду покажи! И постановление! — с улыбкой заглянула к нам Валентина Михайловна.

Сняв с себя нелегкое одеяние последнего народного поэта — после 1992 года звание не присуждается, — уже сидя, знакомлюсь с грамотой, подписанной министром культуры Дагестана Г. Курбановым. «Рыгору Бородулину за укрепление дружбы и сотрудничества».

Эти знаки внимания и уважения почему-то со временем забываются. Наверное, людям стала теперь не нужна дружба и взаимоуважение. Но зато постановление меня восхитило. Это не просто декоративная бурка, а реальная помощь в наше непростое для поэтов время. Его текст привожу полностью:

«Постановление № 11 от 20 апреля 2009 года.

Присвоить звание почетного гражданина села Карата Ахвахского района Республики Дагестан Бородулину Рыгору Ивановичу, народному поэту Республики Беларусь, с выделением земельного участка в местности «Губани».

Бородулин Р. И. на территории села Карата пользуется всеми льготами, установленными для данной категории граждан.

Ходатайствовать перед депутатом Народного Собрания Республики Дагестан от Ахвахского района Муслимовым Г. от имени жителей села Карата вручить грамоту почетного гражданина Бородулину Р. И. с выездом в город Минск Республики Беларусь.

Председатель собрания, глава МО «Сельсовет «Каратинский», М. Шахруев».

Люди кавказской национальности выполняют все, что обещают. И это обещание тоже было исполнено. Знаю, что у Рыгора Ивановича за долгие годы накопилось много наград. Но вот эта награда от почитателей таланта нашего народного поэта из села Карата в далеком Дагестане была, пожалуй, самой трогательной и основательной. Так что теперь Бородулин в любое время может стать полноправным жителем Дагестана.

Был в этой награде ностальгический отзвук недавнего, но уже прошедшего времени. Я вспомнил Петруся Бровку, который написал предисловие к моей первой книге «Прочность». Там были такие слова: «Курд пишет на курдском и армянском, живет в Беларуси и издается на русском языке». Я теперь понимаю, какой дружбой мы все тогда были объединены. Скажут, что тогда были другие времена. Времена, правда, были другие, но люди-то остались прежние. Ведь еще

живы многие из тех, кто помнит об этой дружбе, и особенно на Кавказе, земле долгожителей. И они не хотят терять то хорошее, что когда-то имели.

Бородулин, как всегда, провожает меня до лифта, а я, как всегда, минуя его, медленно спускаюсь по лестнице. Чтобы расставание с Бородулиным не оказалось слишком быстрым. На улицу — внутрь, на улицу — внутрь. На переходах достает меня дождь, остужая лицо водяной пылью. Вот так покидаю сегодня дом Бородулина, дом особой теплоты, особого назначения, храм тепла и духовности для многих и многих людей. Со мной частица этого тепла — стопка новых переводов, которые еще не раз прочитаю перед сном.

На выходе из подъезда дождь встречает уже плотной серой стеной. Достаю зонт, но не открываю. Навстречу торопится женщина. На мгновение задерживается, приподнимает зонт — молодая и красивая. Говорит заботливо, как старому знакомому:

— Дождь! Дождь идет! Открывайте зонт!

Улыбается.

— Если бы вы знали, где я был и с кем встречался, думаю, тоже забыли бы о зонтике!

Она немного удивилась, — есть же чудаки! — еще раз улыбнулась и поспешила к подъезду.

Почему-то хотелось промокнуть до нитки и ввалиться домой, в теплую и светлую квартиру, оставляя мокрые следы на полу. И сказать внучке Олечке, что я был у деда Бородулина. Недоумение в ее глазах заставило отказаться от этого замысла. Я малодушно спрятался под зонтом. Скоро у Рыгора Бородулина День рождения.

Ему исполнится семьдесят девять. Жизнь продолжается. Скоро я подниму серебряную рюмку со словами: «Друг мой и брат, я горжусь тобой!»

Перевод с курдского Валерия ЛИПНЕВИЧА.



К 200-летию Иосифа Гошкевича

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Свой человек в стране Восходящего солнца

В предчувствии бури

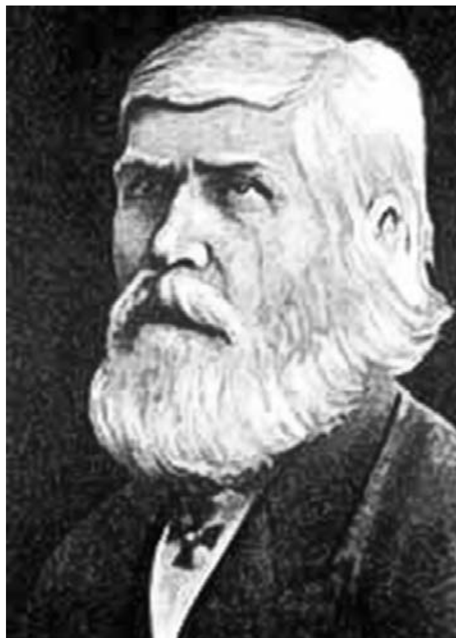
За месяцы плавания Иосифу Антоновичу довелось многое повидать и пережить. Бывали моменты, когда жизнь висела на волоске, но на судьбу не жаловался. Да и зачем жаловаться, если сам согласился стать переводчиком в дипломатической миссии адмирала Евфимия Путятина на фрегате «Паллада», которая в сопровождении нескольких суден, в том числе и фрегата «Диана», отправлялась к берегам Японии для налаживания связей России с этой восточной соседкой. Разве может настоящий мужчина пасовать перед трудностями, ведь испытания только закаливают характер. Однако опасность часто нависала над ним самим или над теми, кто находился рядом. На этот раз она подстерегла всю команду «Паллады», а это почти пятьсот матросов и офицеров и несколько штатских лиц.

Неприятности начались после того, как, посетив Гонконг 26 июня 1853 года, отплыли к островам Боннин-Сима. Расстояние до них по меркам кругосветного плавания (а команда и собиралась осуществить его) — не такое и большое, каких-то 1600 миль. При хорошем попутном ветре этот путь суда обычно преодолевали за семь, в крайнем случае, за восемь дней. Но ветер неожиданно изменил свое направление, подул с Востока. Довелось опускать паруса и ждать, когда он снова станет попутным, а это заняло немало времени. Потом ветер еще не однажды испытывал команду, словно играя с фрегатом, поэтому «Паллада» то спешила наверстать упущенное, то замедляла свой ход, а то и вовсе застывала на месте, слегка покачиваясь на волнах. Поэтому до 5 июля прошли всего лишь миль триста, хотя в лучших случаях это занимало какие-то сутки.

Однако настоящее испытание ждало впереди, когда уже не так и много пути оставалось до главного из этих островов — Баттана. Правда, сначала ничто не предвещало беды. 7 июля, когда оказались поблизости от него, погода стояла отличная, да и ветер сжалился: наконец, решил надолго стать союзником людей и так наполнял паруса, что они даже прогибались под его напором, а фрегат быстро продвигался вперед, ведя за собой другие судна. И хотя приближалась ночь, отказались от того, чтобы провести ее в бухте, что делали при неблагоприятных условиях. Продолжали уверенно двигаться вперед. А поутру все и началось.

Погода ухудшилась с первыми лучами солнца, а когда те, кто был свободен от ночной вахты, проснулись, увидели, что накрапывал мелкий, не по-летнему холодный дождик, а на горизонте сгущались темные тучи, между которыми только проступал силуэт Баттана. Но не столько это встревожило командира «Паллады» капитан-лейтенанта Унковского.

Иван Семенович — один из лучших командиров русского парусного флота, ученик знаменитого адмирала Михаила Лазарева, прекрасно понимал, чем это закончится, ведь по показаниям барометра атмосферное давление понижалось, притом очень быстро, а это обычно бывает перед бурей. Своим беспокойством Унковский поделился с Путятиным, хотя отношения его с Евфимием



Васильевичем и были натянутые, так как и командир фрегата, и начальник экспедиции ни в чем не давали друг другу спуска, у обоих был непростой характер. Однако чаще перебирал меру Путятин. Будучи старшим по званию, он не особо прислушивался к чужому мнению и едва ли не во всем видел нежелание подчиняться ему. Однако это был тот случай, когда ради общей пользы можно, да и нужно было переступить через собственное самолюбие. И первым это понял Иван Семенович.

Унковский поспешил к адмиралу, но тот и сам уже искал его. И также не прятал своей тревоги:

— Кажется, приближается тайфун, — так и сказал тайфун, а не ураган, как обычно называли очень сильный шторм на море российские моряки. Осуществляя кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командованием Лазарева, он встречался с китайцами, а те бурю на море называли тайфуном.

Командир «Паллады» подтвердил опасения Путятина, хотя прямо и не сказал об этом:

— Тайфуны для этих широт, ваше высокопревосходительство, обычное явление.

Такой ответ начальнику экспедиции не понравился, и он повысил голос:

— Мне бы хотелось большей достоверности, капитан-лейтенант.

— Быть тайфуну, — как отрезал Унковский, но, понимая искреннюю озабоченность адмирала положениями дел, продолжил более спокойно. — Нам не привыкать.

— Вы так полагаете?

Путятина было не узнать. Словно подменили человека. Куда подевалась та самоуверенность, которая обычно проявлялась у него и без причины. Чувствовалось, что он действительно обеспокоен тем, чтобы все обошлось хорошо.

— Я уверен, — заявил Унковский, — что фрегат устоит.

— Тогда действуйте, капитан-лейтенант.

Испытание морем

Ветер, между тем, посвежел, стал более порывистым, а давление по-прежнему, хотя и медленнее, продолжало падать. Судна, шедшие за «Палладой», как бы утопали в предгрозовом полумраке. Уже никто из команды не сомневался, что скоро налетит тайфун. Будет не просто нелегко, а предстоит суровое испытание. Но если матросы занимались выполнением своих непосредственных обязанностей, то люди штатские, как Гошкевич, по сути, были предоставлены сами себе.

Поэтому Иосиф Антонович, который прохаживался по палубе, дыша свежим воздухом, ибо его часто тошнило из-за морской болезни, обрадовался, когда увидел секретаря начальника экспедиции Гончарова. До отправления «Паллады» он знал его только как автора романа «Обыкновенная история», опубликованного в 1847 году в журнале «Современник», а через два года познакомился в этом авторитетном издании и с главой «Сон Обломова», обещавшем вскоре появление нового крупного произведения Гончарова. За время

же плавания они успели не только сблизиться, но и подружиться, поскольку оба почти все время находились при Путятине — Гошкевич был драгоманом, иначе говоря, переводчиком.

Заря, освещая небо, как бы разливалась по нему широкой лентой, но тьма опускалась все ниже и ниже, к самому горизонту, тучи словно торопливо поглощали полосу голубого неба, которую еще не успели накрыть. Она постепенно, на глазах, уменьшалась — не уменьшалась даже, а как бы сжималась, превращаясь в черный сгусток. А еще через какое-то мгновение сквозь тучи выглянула луна, словно пытаясь рассмотреть и сам фрегат, и паруса на нем, и людей, одни из которых суетились, а другие, как Гошкевич и Гончаров, застыли в ожидании тайфуна.

Они не знали, сколько так простояли.

Возможно, с полчаса, может, больше — оба потеряли ощущение времени. Фрегат замедлил ход, готовясь к худшему, а суден, следовавших за ним, уже совсем не было видно. Пошел дождь, усилился ветер. «Паллада» стала покачиваться, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Когда же дождь превратился в ливень, Гошкевич и Гончаров оставили палубу.

Не сомкнув глаз провели всю ночь с 8 на 9 июля в каюте Иосифа Антоновича. Да и как было уснуть, когда то, что происходило наверху, отзывалось и тут, внизу: фрегат раскачивался, будто в руках гиганта, желающего испытать людей. Но неприятности на этом не закончились. Стала просачиваться вода.

От матросов же, которые замененные товарищами на вахте, спустились вниз, узнали, что море в этот момент такое, словно в глубине его произошло извержение вулкана, после чего оно никак не может успокоиться. Волны в своем буйстве рассыпают пену, которая сияет каким-то удивительным фосфорическим светом.

Сомнений не осталось в том, что тайфуна уже ждать недолго, но он все еще задерживался и, постоянно напоминая о себе, проявлял свой крутой нрав. И только в полдень 9 июля ветер разыгрался так, что все окончательно убедились в том, насколько то, что происходило перед этим, не шло ни в какое сравнение с тем, что постигло фрегат и другие судна.

Тучи так заволокли небо, что стало темно, как ночью. Дождь лил как из ведра, а шквальный ветер то налетал, то утихал, мог и неожиданно изменить свое направление, от чего «Паллада» в этот момент словно превращалась в щепку, с которой морская стихия делала все, что хотела.

Не прошло и полчаса, как шквальный ветер порвал грот, еще через несколько минут такая же судьба постигла и фок (грот и фок — названия парусов. — **А. М.**). Грот, благодаря неимоверным усилиям, матросам удалось укрепить, а фок поменять. Все это делалось при такой сильной качке фрегата, что достаточно было хотя бы малейшего промаха, чтобы сорваться и оказаться за бортом.

Боковая качка все усиливалась и усиливалась и ее размахи подчас доходили до 45 градусов. Фрегат несколько раз зачерпнул воду, при этом грот-мачта изгибалась, словно тростник, и вырывала клинья, которые держали ее в отверстии палубы. Грот-мачту срочно укрепляли, понимая, что, если этого не сделать своевременно, судно постигнет неминуемая гибель.

Внизу был ад не меньший. В трюм воды налилось столько, что промокали ноги, и она все продолжала и продолжала просачиваться. Прошло полдня, а положение все больше ухудшалось. Тайфун не то что не собирался утихать, но еще сильнее раскачивал фрегат, который и так, казалось, только чудом не пошел на дно.

Унковский был сам не свой. Он прекрасно понимал, что все, что возможно в этой ситуации, сделал, но все равно его гнело чувство страха за судьбу людей, за которых, как командир фрегата, он отвечал. Не узнать было и Путятина, который не вмешивался в действия Унковского и не навязывал ему свою волю, хотя обычно и любил делать это.

Только в четыре часа дня 9 июля ветер начал утихать, однако качка исчезла не сразу. Вначале, напротив, даже усилилась. Это было вызвано тем, что верхуш-

ки волн уже не срывались ветром, а потому они с еще большей силой бросались на борт фрегата. Посветлело небо, и уже не оставалось сомнений, что беда миновала, о чем поспешили сообщить тем, кто находился внизу, матросы.

Гошкевич и Гончаров с облегчением вздохнули.

— А я уже думал, что скоро надо будет с жизнью прощаться, — искренне признался Иван Александрович.

— Все шло к этому, — согласился с ним Иосиф Антонович.

— Море есть море...

— Но другое дело, если с ним связываешь свою профессию, — в раздумье добавил Гошкевич.

Китай — хорошо, а Япония — лучше

Ни Гошкевич, ни Гончаров, о таком выборе даже не мечтали. Гошкевич, пожалуй, еще в большей степени, чем Иван Александрович. Ведь он готовился стать священником. Да, не зря говорят: пути Господни неисповедимы. Заранее не знаешь, как твоя судьба обернется, какой фокус выкинет. Так получилось и у Гошкевича. Готовился стать священником, а очутился на фрегате «Паллада». Хотя поворот в жизни Иосифа Антоновича произошел значительно раньше, а уже это и повлияло на то, что он попал в состав дипломатичной миссии адмирала Путятина.

Детство Гошкевича прошло в деревне Якимова Слобода Речицкого уезда Минской губернии, где его отец был священником в местной церкви. В семье его называли Осипом. Сначала его образованием занимался отец, приобщая к знаниям в домашних условиях, а потом он отдал сына в церковноприходскую школу, где сам и являлся преподавателем. Немалое влияние на воспитание Осипа оказали и друзья отца протоиереи Адам Фиринович и Иван Григорович. Особенно последний, который в 1820—1829 гг. был ректором Гомельских уездного и приходского училищ, интересовался белорусской стариной. Именно он подготовил рукопись первого археографического сборника по истории Беларуси, который под названием «Белорусский архив древних грамот» в 1824 году вышел в Москве.

Как признавался Гошкевич в зрелом возрасте, Григорович сильно повлиял на его судьбу, так как с ранних лет прививал ему любовь к книге, говорил о том, что только высокообразованный человек может занять достойное место в обществе. А еще в детстве Гошкевич любил голубей, что, конечно, явление обычное для мальчишек, но важно то, что все эти занятия нисколько не препятствовали ему серьезно относиться к учению.

В двенадцатилетнем возрасте оказался в стенах Минской духовной семинарии, закончив которую, поступил в Петербургскую духовную академию. Однако его интересовали не только богословские науки, но и иностранные языки, в овладении которыми достиг большого успеха. Закончил академию в 1839 году с прекрасным знанием английского, греческого, еврейского, немецкого, французского языков. Не меньшие познания у него были по латыни.

Еще во время учебы в академии вместе с Иваном Захаровым, который позже станет выдающимся китаеведом, Гошкевич выступил инициатором литографированного перевода Ветхого Завета с еврейского языка на русский. Это предложение поддержал переводчик, известный востоковед Герасим Павский и вскоре задуманное было осуществлено. Правда, это не понравилось Святейшему Синоду, который осудил Павского, а его молодых сподвижников в качестве наказания направил в декабре 1839 года в составе Русской духовной миссии в Китай.

В Синоде, разумеется, и представить себе не могли, что тем самым оказывают Гошкевичу такую услугу, о которой он и мечтать не мог. Почти десятилетнее

пребывание в этой стране поспособствовало тому, что Иосиф Антонович в совершенстве овладел китайским, маньчжурским и монгольским языками, приступил к корейскому. Притом в овладении китайским языком не ограничился официальным, усвоил также и основные его диалекты. А еще пребывание в Китае позволило ему хорошо узнать это государство. В составе делегации оказался и земляк Иосифа Антоновича, уроженец Слуцка художник Кондратий Корсалин. Он в Пекине пользовался большой известностью у местной знати и влиятельных чиновников, которые с удовольствием заказывали ему свои портреты. Часто Корсалин брал с собой и Гошкевича. Это Иосифу Антоновичу также шло на пользу, ведь он мог получить полезную информацию и, конечно же, лучше изучить китайский разговорный язык.

Благодаря нахождению в Китае, Гошкевич по-настоящему заинтересовался наукой. Осуществляя поездки по стране, он собирал гербарии, пополнял коллекцию бабочек, насекомых, первые экспонаты которой у него появились сразу по прибытии в Пекин. Проводил Иосиф Антонович и географические, геологические и даже астрономические наблюдения, произвел немало ботанических опытов. Постепенно материалов собралось много, поэтому, по мере пополнения своих коллекций, наиболее важное из них отсылал в Петербург. Остальное же взял с собой, когда весной 1851 года собрался назад.

Сразу по возвращении из Китая, его, как знатока восточных языков, зачислили чиновником по особым поручениям в Азиатский департамент Министерства внутренних дел. В это время обсуждался вопрос о посылке дипломатичной миссии в Японию. Россия была заинтересована в налаживании тесных связей с этой страной, которую, как важную сферу своего влияния, воспринимали и другие государства, понимая, насколько перспективны контакты со страной Восходящего Солнца и какие желанные итоги они могут дать в дальнейшем, если опередить соперников и скорей наладить дипломатические отношения.

Миссии требовался переводчик. Конечно, в департаменте знали, что Гошкевич японского языка не изучал, однако руководство было в курсе, насколько японский язык близок к китайскому и маньчжурскому языкам, которые Иосиф Антонович, как известно, знал прекрасно. А еще чиновники, уверенные в его способностях, были убеждены, что изучение японского языка по приезду много времени у него не займет, а потому никакого сомнения у них не оставалось, что лучшую кандидатуру на драгомана не найти. Как были убеждены и в том, что Гошкевич станет достойным продолжателем тех, пусть и небольших традиций в японоведении, какие были заложены его предшественниками.

Начало было положено еще в 1705 году, когда появился указ Петра I, согласно которому приказывалось японцу Дэнбею «обучать японскому языку и грамоте», а в итоге был составлен первый словарь, подготовлены фразеологический сборник и хрестоматия. Продолжил это важное дело другой японец, некто Гандзой и, как итог, — появление небольшого русско-японского словаря, японской грамматики, введения в японский разговорный язык.

Однако особенно много поспособствовала в этом деле так называемая «мунгальская» школа, основанная в стенах Вознесенского монастыря в Иркутске в 1725 году. В ней наряду с японским языком изучались китайский и монгольский языки. Свое второе рождение эта школа пережила в 1802 году, когда настоятелем монастыря стал архимандрит Иакинф, вошедший в историю как знаменитый ученый-синолог Никита Яковлевич Бичурин. Кстати, там проходила подготовку и Русская духовная миссия, направлявшаяся в Китай. Знания, приобретенные в «мунгальской» школе очень пригодились Гошкевичу во время нахождения в этой стране.

На предложение войти в состав дипломатической миссии, что отправлялась в Японию, Иосиф Антонович согласился не раздумывая. На это не могло не повлиять, разумеется, то, что миссию поручили возглавлять адмиралу Путятину, которого на то время хорошо знали не только в России, но и во всем мире. Однако

главное было в том, что Гошкевич почувствовал настоящее наслаждение в постижении нового, ранее неизвестного и неизведанного. Теперь же появилась как раз такая возможность: знакомство с загадочной страной, ее обычаями, с ее народом и, конечно же, возможность изучения японского языка.

А путь далек и сложен

Дипломатическая миссия должна была отправиться к берегам Японии на фрегате «Паллада». Заложенный 2 ноября 1831 года и спущенный на воду 1 сентября 1832 года, он в свое время считался первым красавцем русского флота. Правда, безостановочная эксплуатация «Паллады» привела к скорому износу фрегата. Поэтому в 1840 году довелось проводить капитальный ремонт его надводной и подводной части, что позволило улучшить его качество. Однако оно, по сравнению с теми, которые были построены позже, уже устарело и не подходило для кругосветного плавания, а именно такая задача, а не только посещение Японии, ставилась перед его командой.

Почему-то последнее обстоятельство никого особенно не беспокоило. Спокойно отнесся ко всему и Путятин, хотя и был опытным мореходом и хорошо понимал, чем это может обернуться. Что касается Иосифа Антоновича, он в подобных «тонкостях» не разбирался. С нетерпением ожидал отправления, успел познакомиться с Гончаровым, а также с некоторыми офицерами команды. Не догадывался, что этот день, как для него, так и для Ивана Александровича, будет омрачен.

Начиналось же все так, как и обычно в подобных случаях, торжественно. 7 октября 1852 года матросы и офицеры из команды, члены дипломатической миссии выстроились на палубе фрегата. Понимая значимость этого плавания для России, на проводы «Паллады» прибыл сам император.

Николай I в сопровождении шефа жандармов А. Орлова и других высоких должностных лиц медленно обошел строй. Поскольку Гошкевич с Гончаровым были в штатской одежде, они выделялись среди других. Это было замечено императором. Николай I остановился около Иосифа Антоновича и Ивана Александровича, после чего с недоумением посмотрел на Орлова.

— Кто такие? — спросил он недовольно, обращаясь то ли к Гошкевичу с Гончаровым, то ли к шефу жандармов.

О причине неудовольствия императора было нетрудно догадаться. Незадолго до этого было раскрыто Петербургское товарищество разночинцев во главе с Михаилом Петрашевским, участники которого требовали демократизации страны. Сам руководитель организации в 1849 году был сослан на вечную каторгу, а многие из участников также получили наказание. Поэтому Николаю I в каждом подозрительном человеке обязательно виделся государственный преступник. Теперь же перед ним, как подумалось ему, был не один из них, а сразу два, желающих оставить Россию.

— Кто такие? — повторил Николай I.

Гошкевич с Гончаровым, посчитав, что император обращается к ним, растерялись, не зная, что и ответить. Уже собирались пояснить, какая роль отведена им в дипломатической миссии, но на выручку пришел Орлов.

— К петрашевцам никакой причастности не имеют, — решительно заявил он.

Николай I остался доволен ответом и более ни о чем не стал спрашивать. Иосиф же Антонович с Иваном Александровичем только молча переглянулись, не промолвив ни слова. И не только потому, что в строю нельзя разговаривать, а они, хотя и были штатскими лицами, решили придерживаться уставных требований. От того, каким тоном император пытался выяснить, кто они такие, у обоих на душе остался неприятный осадок.

Длительное плавание при всем своем однообразии (Гончаров в цикле дорожных очерков «Фрегат “Паллада”» заметил: «Горячо в природе, холодно в душе:

кругом море и море») приносило и свежие впечатления. Происходило это тогда, когда, пройдя сотни миль, заходили в порты. В отдельных же случаях в них задерживались надолго. Как в марте 1853 года, когда, достигнув Южной Африки, остановились в бухте Саймансбей. Тогда Иосиф Антонович решил двинуться в глубину материка и заняться геологическими исследованиями. Собрал желающих и вместе с ними начал изучение местности от Капштата до реки Оранжевой, что позволило составить приблизительную геологическую карту этого района. Но этими исследованиями Гошкевич не ограничился, он также занялся сбором редких видов местной флоры, что позволило составить неплохой гербарий.

Оставив Южную Африку, «Паллада» продолжила плавание, с каждым днем приближаясь к берегам Японии. Но чем меньшим становилось расстояние до этой страны, тем чаще природа подносила команде свои сюрпризы. Но никогда столько не пережили путники, как столкнувшись с этим тайфуном, который едва не потопил фрегат и другие судна.

— Все же в счастливой рубашке мы родились, — улыбнулся Гончаров.

— И не говорите, — согласился с ним Иосиф Антонович. — Я было уже подумал, что напрасными были мои усилия по овладению японским языком.

За изучение его Гошкевич взялся во время плавания. И хотя делать это было непросто: мало было нужной литературы, а главное — отсутствовала возможность живого общения с носителями языка.

Казалось бы у цели, но...

Однако ждать пришлось ровно месяц. К нагасакскому рейду подошли вечером 9 августа 1853 года, но продолжать плавание в столь позднее время не решились, не зная, как будут встречены, поэтому всю ночь простояли поблизости под малыми парусами.

На утро Путятин приказал поднять на фрегате «Паллада» флаг уполномоченного Его Величества и эскадра пошла на правый, так называемый, внешний рейд. Правда, начался штиль, и она должна была задержаться до четырех часов дня.

В это время несколько баниёсов — местных чиновников в богатой одежде — прибыли на фрегат, чтобы разузнать о цели визита. В этом не было ничего неожиданного, так они всегда поступали при подходе заграничных суден. Путятин в общих словах объяснил, что их цель — установление взаимоотношений с Японией и заверил, что более точно о цели визита будет сказано самому губернатору.

Хотя визит русских баниёсы восприняли с некоторой настороженностью, тем не менее, разрешили эскадре двигаться дальше. Под звуки национального гимна она прошла первые с моря нагасакские батареи, с которых за ней наблюдали любопытные японцы, и около шести часов вечера бросила якорь поблизости среднего рейда.

Находящиеся на палубе «Паллады» баниёсы, потребовали, наконец, конкретизировать цель визита. Путятин ответил, что об этом можно узнать из письма, которое попросил передать нагасакскому губернатору. Однако это насторожило. Они спросили:

— А разве для того, чтобы передать одно послание, необходимо его доставлять на четырех суднах?

— Иначе нельзя, — успокоил их Евфимий Васильевич, — ведь это очень важное письмо.

Баниёсы стали перешептываться, после чего один из них, видимо, старший, попросил письмо.

Иосиф Антонович, который, разумеется, присутствовал при этом разговоре, старался как можно точнее донести адмиралу смысл вопросов японцев и точно так доходчиво сообщать им, что говорит Путятин. Это давалось ему нелегко, ведь

японский язык он не успел изучить надлежащим образом, но помогало знание маньчжурского языка, который знали и эти баниёсы. Они, наконец, сказали:

— Передадим письмо, — и оставили фрегат.

Путятин с нетерпением ждал ответа. Через некоторое время японские посланцы возвратились. Их было не узнать. Если перед этим они скромно улыбались только потому, что этого требовал этикет, то теперь их лица светились радостью.

— Губернатор готов вас принять, — перевел Гошкевич и добавил. — Они говорят, ваше высокопревосходительство, что их правитель разрешил идти на средний рейд.

Старший баниёс опять начал что-то говорить, при этом еще больше улыбался. Поняв смысл сказанного, улыбнулся и Иосиф Антонович:

— Он говорит, что до этого такая высокая честь выпадала из иностранцев только голландцам, а другие визитеры, даже англичане и американцы, не имели права двигаться дальше.

— Сообщите, — попросил Путятин своего драгомана, — что Россия надлежащим образом оценит такое гостеприимство.

Но почтительное отношение нагасакского губернатора к русской дипломатической миссии этим не ограничилось. Когда эскадра оказалась на среднем рейде, баниёсы показали вперед, что-то говоря.

— Нам позволяют стать на внутреннем рейде, — перевел Гошкевич.

— Даже на внутреннем? — удивился Путятин.

— На внутреннем, ваше высокопревосходительство, — повторил Иосиф Антонович. — А еще они говорят, что мы можем разместиться так, как посчитаем нужным.

— Чудеса да и только, — покачал головой Путятин, дружелюбно улыбаясь баниёсам, а те начали что-то объяснять Гошкевичу.

— Ваше высокопревосходительство, — на одном дыхании выпалил Иосиф Антонович, — на внутренний рейд поныне не заходило ни одно заграничное судно!

Ни слова не сказав, Путятин с признательностью стал пожимать руки баниёсам, тем самым выражая радость, что так легко удалось достигнуть с ними взаимопонимания. Однако, как вскоре выяснилось, радоваться все же было рановато. Хотя губернатор и с уважением отнесся к неожиданным гостям и организовал для Путятина и его ближайшего окружения теплый прием, письмо, какое ему вручили, отказался передать в Верховный совет страны. И не потому, что не хотел это сделать. По местным законам и уставам это можно было сделать, только получив разрешение высших властей.

Переговоры затянулись, и руководитель дипломатической миссии видел, что он не в состоянии их ускорить. Также он был убежден и в том, что это не по силам и нагасакскому губернатору, ибо тот должен был придерживаться местных традиций, да и далеко не все от него зависело. Но больше всего Путятина беспокоило то, что он не получал никаких сведений из России, а там уже могли начаться военные действия с Турцией, а в этот конфликт, несомненно, ввяжется Англия. Англичане же, как и американцы, имеют немалые интересы на Востоке, что не может не внести осложнений в деятельность дипломатической миссии.

Нет добра... без худа

Чтобы разузнать о том, что происходит в мире, Евфимий Васильевич отправил барк «Князь Меньшиков» в Шанхай, а команде шхуны «Восток» приказал идти в Татарский пролив и подготовить гавани, раньше открытые русскими, но пока не нанесенные на карты, для возможной стоянки эскадры, когда в том возникнет необходимость. А это было как раз наиболее подходящее место, ведь упомянутые гавани являлись закрытыми.

Опасения Путятина были беспочвенны. В сентябре из Шанхая поступили сведения о том, что Россия разорвала отношения с Турцией. Значит, действительно до войны оставалось недолго. А пока эскадра, чтобы не терять время впустую, пошла к Сахалину и обследовала его, нанеся на карту бухты и гавани, а также найдя на острове большие залежи каменного угля.

А в сентябре 1853 года Путятин приказал двигаться в Шанхай, также для того, чтобы получить сведения о положении в мире. В Шанхае же это было сделать не так и сложно, ведь там находились консулы не только тех государств, которые имели в предстоящей войне свои интересы, но и нейтральных, которые с готовностью делились сведениями, интересовавшими руководителя русской дипломатической миссии.

Не ошибся Путятин и на этот раз. Действительно, желающие поймать рыбку в мутной воде были. И первыми среди них были американцы, которые видели в России сильного конкурента на востоке. Командор Пери, узнав в конце 1853 года, что, уладив свои дела в Шанхае, эскадра собирается идти в Японию, решил сорвать это плавание. И нашел не такой и сложный, хотя по-своему оригинальный способ.

Пери, чтобы лишить русскую эскадру топлива, приказал скупить в Шанхае весь уголь и поместить его на морских складах своей страны, которых в этом регионе было немало. Затеянное, безусловно, удалось бы, если бы Путятин все же не достал немного угля, которого хватило, чтобы добраться до Японии. Такие меры были сделаны вовремя, ведь Евфимий Васильевич 15 декабря 1853 года получил сообщение о том, что разрыва отношений России с Англией и Францией ждать недолго, а это повлияет и на осложнение отношений с Америкой.

Японские власти согласились принять эскадру, но по-прежнему дипломатическая миссия не имела никакой конкретики о налаживании отношений с этой страной. Путятин с нетерпением ожидал ответа от Верховного Совета, куда было направлено послание, но, когда, наконец, 5 января 1864 года, получил его, ясности не стало больше. Это были обычные дипломатические рассуждения. Согласия на переговоры не давалось, но и не отрицалась возможность их.

Вернулись обратно в Китай.

Довелось побывать также в Корее, а потом опять плыть в Японию. Однако, не получив согласия на переговоры, пошли к берегам России.

Одиссея, сродни... дню Помпеи

Постоянные переходы с места на место, невозможность проводить надлежащий профилактический осмотр судов привели к тому, что «Паллада» оказалась в критическом состоянии. Дальше плавать на ней было небезопасно. Когда она вошла в начале осени 1854 года в Императорскую гавань, Путятин приказал Гошкевичу пересаживаться на «Диану», куда перебрался и сам.

Иосиф Антонович сделал это без особого сожаления, хотя и успел сойтись со многими офицерами и матросами. Если что и беспокоило его, так то, что на родину возвращался Гончаров. Но и Ивана Александровича можно было понять. Он стал раздражительным, ощущалось, что путешествие его утомило. Гошкевич же, наоборот, привык, не так сильно, как в начале плавания, реагировал на качку, да и интересовался возможностью в перспективе тесного контакта с японцами, а значит, изучения их языка.

9 октября 1854 года «Диана» подошла к хадакской гавани Японии, где и бросила якорь, чтобы через некоторое время снова продолжить плавание. Но, когда ровно через месяц оказалась в Осакском заливе, попасть в местную гавань не смогла — вход в нее был перекрыт. Порт Осака был закрыт для заграничных судов по приказу осакского сёгуна — так называли в Японии главнокомандующих, которые действовали от имени императора.

Куда более дружелюбно отнеслись к миссии в Симоде, а это недалеко от Осаки. Однако решение не пускать иностранцев тут не действовало не только потому, что местный сёгун оказался более благожелательным. На принятие подобного решения повлияло и то, что русские моряки спасали японцев во время сильнейшего цунами, настигшего симодцев как раз в это время, когда к порту подходила «Диана». Хотя и самим им довелось непросто, ведь этот ураган значительно превосходил по своей разрушительной силе даже тайфун, в результате чего «Паллада» только чудом осталась на плаву.

То, что довелось пережить, Иосиф Антонович, когда цунами отошел, поспешил записать. И сделал настолько искусно, что, когда знакомишься с этим свидетельством, будто наяву видишь чудовищность происходящего, а еще ощущаешь, насколько хорошо он владел пером. В чем легко убедиться, хотя бы по этому отрывку:

«Вода со дна моря буравила и словно в котле кипела, волны ее клубились, и, вздымаясь, рассыпались брызгами; валы с моря одни за другим... напирали воду, захватывали берега, мгновенно заливали местность все далее... Натиск воды, быстро распространяясь, добрался скоро до самого города, залил улицы, покрывал строения, уносил с собою обратно в морскую пучину и разломанное строение и самих людей! Скоро весь залив наполнился сплошною массою бревен, джонок, соломы, платьев, трупов человеческих и людей еще живых, сохраняющих пока жизнь на какой-либо доске или куске дерева. Стон, крики, вопль гибнущих японцев, шум воды, это был такой хаос, приблизительно которому видим картины, с величайшим ужасом и содроганием описания... последнего дня Помпеи!»

Общие испытания сблизили хозяев и неожиданных гостей. Сёгун не только согласился вести переговоры, но и выделил для русских самый большой храм в своем городе. Но когда в первый же день, 10 декабря 1854 года, Путятин познакомил японцев с российскими предложениями, выяснилось, что переговоры, по сути дела, еще и не начавшись надлежащим образом, сразу же зашли в тупик.

На предложение открыть свободную торговлю с Россией, сёгун категорически заявил, что он не вправе принимать такое решение, ведь не только в порт Осака, а и в Эда (теперешний Токио) иностранцев не пускают. По этой же причине отклонялось и второе требование: отвести для русских суден места стоянок в портах Осака и Хакадате. И, само собой разумеется, Россия не могла иметь в одном из этих портов своего консула, а именно таким было третье требование.

А тут еще пришел очередной цунами. «Диана» едва не затонула. Требовался срочный ремонт. Сделать это Путятин решил в тихой бухте Хэдэ. Однако туда судно так и не дошло. Неожиданно налетел настолько сильный ветер, что 7 января 1855 года потопил его, и экипаж спасся только потому, что на помощь «Диане» вовремя пришли японцы.

Чего хотели, того добились

Оказавшись на берегу, матросы приступили к строительству нового корабля, а Путятин продолжал переговоры, на которых его неизменным помощником оставался Гошкевич. Иосиф Антонович после кораблекрушения переживал двоякое чувство. Безусловно, ему было жаль утонувшего фрегата, но еще больше горевал, что вместе с «Дианой» погибли его коллекции и фотоаппарат. Радовало же то, что встретил японца, который представился как Татибан Каасай. Был он буддийским бонзой. Однако, разумеется, не только это привлекло к нему внимание Иосифа Антоновича.

Такой человек, как Каасай, был Гошкевичу полезен уже тем, что мог много рассказать о местных традициях и обычаях, а это для переводчика имело немалое значение. Однако куда важнее было то, что при первом же знакомстве Каасай

высказал желание изучать русский язык. Иосиф Антонович очень обрадовался такому предложению. Лучше и придумать нельзя. Он учит Каасая русскому языку, а Каасай его — японскому. Оба сразу же пожали друг другу руки в знак согласия, хотя и понимали, что подобные контакты для Каасая вызывают большую опасность и причина была хорошо известна: японские власти не только не пускали заграничные судна в свои гавани, но и под страхом казни не позволяли своим гражданам контактировать с иностранцами. Но Гошкевич пообещал, что никто об этом не узнает, а Каасай, в свою очередь, также заверил его, что все будет держать в тайне.

Встречались только тогда, когда Иосиф Антонович был свободен от переговоров, а они, хотя занимали и не так много времени, проходили регулярно, и часто невозможно было заранее сказать, когда опять возобновятся, ведь сёгун постоянно советовался с высшей властью, а поэтому спешил высказать Путятину свое очередное мнение.

Его же позиция, как убедился Евфимий Васильевич, оставалась не то что неопределенной, но и шаткой. Сёгун то категорически заявлял, что дальше не может идти никакого разговора об открытии японских портов для иностранцев, то начинал рассуждать о возможности сделать для России исключение. А иногда ссылался и на мнения других сёгунов, которые, как было видно, также никак не могут принять окончательное решение.

Путятину приходилось проявлять большую дипломатию, чтобы не навредить этим контактам, хотя и были случаи, когда с трудом сдерживал себя. В такие моменты своей выдержкой ему немало помогал Гошкевич. Он, переводя слова адмирала, хотя особой вольности и не позволял, но умело изменял интонацию, а это лишний раз свидетельствовало на пользу благожелательности русской стороны, а также о том, что миссия готова принимать во внимание японские традиции. А если и настаивает на своем, так только ради общей пользы. Япония не должна сомневаться в том, что со стороны России она найдет надежного друга на политической арене.

И миссия добилась своего. 26 января 1855 года стороны подписали соглашение, согласно которому отношения между Россией и Японией выходили на новый виток. Довольный итогами переговоров, Путятин устроил для баниёсов, от которых зависели итоги их, парадный прием, на котором те неоднократно подчеркивали, что видят в России надежного друга. И не кривили душой, ведь уже смогли убедиться насколько действия русской дипломатической миссии отличаются от того, как ведут себя американцы. Те постоянно действовали с позиции силы, угрожали репрессивными мерами, а русские с самого начала шли на доверие, дорожа традициями страны, с которой хотели жить в согласии и дружбе.

Подписание соглашения стало па-настоящему убедительной победой российской дипломатии. И не в последнюю очередь, конечно, драгомана Гошкевича. Можно было возвращаться домой. Если что и задерживало миссию, так то, что пока было не завершено строительство нового судна, которое решили назвать «Хэда». Но дело постепенно приближалось к завершению, и 21 апреля 1855 года на нем был поднят Андреевский флаг.

Не зарекайся... от плена

Поскольку все не могли разместиться на «Хэда», оставляли Японию тремя группами, используя для этого и другие судна. Последняя, третья группа, отплывала 14 июля 1855 года на немецком бриге «Грета». На нем находился и Иосиф Антонович со своим новым другом. Каасай же, узнав об отправке дипломатической миссии, пожелал ехать в Россию, а поскольку японцы по-прежнему не имели права оставлять свою страну, в целях конспирации его пришлось доставлять на корабль тайно, спрятав в один из ящиков.

Не могли себя ощущать в полной безопасности и сами члены миссии, которые оказались на бриге. Однако не потому, что кто-то собирался помешать им оставить Японию. В море они могли встретить какое-либо английское судно и попасть в плен, ведь шла Крымская война, а Англия являлась противником России. Надежду на лучшее давало разве то, что стояла дождливая, с постоянными туманами погода. Это, безусловно, усложняло плавание, но увеличивало уверенность, что удастся избежать встречи с англичанами, которые, вероятнее всего, переждут ненастье в какой-либо тихой гавани.

Однако погода, напротив, оказала плохую услугу. Из-за скверной видимости бриг наткнулся на спящего кита и едва не затонул, а 1 августа 1855 года, когда туман рассеялся, находясь уже в Охотском море, неожиданно увидели английское судно «Баракота». Российские матросы и офицеры, которые находились на бриге, поспешили спрятаться в трюме, но англичане, подойдя ближе, приказали пустить их представителей на борт. Пришлось согласиться, ведь «Грэт» не мог противостоять хорошо вооруженному боевому кораблю. Во время обыска спрятавшиеся были найдены. Оправдания, что они не имеют при себе оружия, ничего не дали.

Не было принято во внимание и то, что Гошкевич в общем-то штатский человек. Как и Каасай, которого назвали Владимиром Прибыловым. Им вместе с другими пленниками англичане приказали перейти на «Баракоту». Сначала их отправили в порт Аян, а после в Нагасаки, где держали в течение месяца, пока туда не прибыли корабли английского адмирала Стирлига. Тот, увидев среди пленников офицеров, потребовал, чтобы они показали ему устье Амура. Но они отказались, ведь не хотели выдавать государственную тайну.

В Нагасаки пленники находились до осени, после чего в сентябре их переправили в Гонконг, который являлся английской колонией. Там они пробыли до ноября 1855 года, пока из Лондона не поступил приказ доставить их в Англию.

Но и пребывание в Гонконге Иосиф Антонович провел не без пользы. Поскольку о нем пошла молва как об отличном знатоке Востока, гонконгский губернатор Джон Баврин, который возглавлял местное отделение Лондонского Азиатского товарищества, пригласил Гошкевича на очередное заседание этой организации, где тот смог поделиться своими впечатлениями от посещения Японии и Китая. Вместе с тем, он резко раскритиковал колониальную политику, которую проводили Англия и другие страны применительно к этому региону, противопоставив им Россию, которая, защищая собственные интересы, не притесняет местное население. Россия с уважением относилась к традициям народов, что сложились в течение столетий, а то и тысячелетий.

Когда пленники прибыли из Гонконга в Англию, их разместили в плавающей тюрьме, в качестве которой использовался транспорт «Эмператрис». В этой тюрьме они провели несколько месяцев, с нетерпением ожидая освобождения, однако никакие меры ничего не давали, да и, по правде говоря, никто особенно и не прислушивался к такой просьбе.

Так продолжалось до того времени, пока между Россией и Англией не был подписан мирный договор. Это и ускорило возвращение пленников в Россию. 22 апреля 1856 года Гошкевич с Каасаем уже были в Петербурге.

Памятник, поставленный... словарем

Находясь в Японии, Иосиф Антонович загорелся желанием создать русско-японский словарь и своими планами поделился с новым другом и сподвижником. Каасай поддержал его замысел и согласился помогать. Собственно говоря, ради этого он и решил ехать в Россию.

К работе над словарем приступили еще тогда, когда в качестве пленников плыли из Гонконга в Англию. Теперь же, отдохнув после длинной дороги, придя в себя после нелегких испытаний, направились в Азиатский департамент, где

Гошкевич представил Каасая руководству. В департаменте, узнав обо всем, взяли его на работу, но под третьим уже именем — Масуд Кумезаймон. А с ноября 1857 года переводчиком в ранге коллежского регистратора начал там службу и сам Гошкевич.

Помимо основной работы Иосиф Антонович вместе с Каасаем учил японскому языку учеников учебного морского экипажа. Это было очень вовремя, так как Япония, заключив соглашения с Россией и Соединенными Штатами Америки, открыла для заграничных суден порты Симоду, Нагасаки и Хакадата, а значит, требовалось немало переводчиков. Для начала на квартире у Гошкевича занимались трое учащихся, которые, приобретя необходимые познания в японском языке, позже с успехом работали в Японии.

На подготовку переводчиков уходило немало времени, но это не препятствовало обоим одержимо работать над словарем. Работа велась настолько интенсивно, что уже меньше чем через год рукопись была отправлена в типографию, а в 1857 году словарь увидел свет. По просьбе своего помощника Гошкевич обозначил не только собственное авторство. На титуле он сделал и дополнительное свидетельство: «при помощи японца Татибана но Каасай».

Масуд Кумезаймон настоял, чтобы была обозначена его прежняя фамилия, которая принадлежала древнему дворянскому роду. А значилось именно Татибан но Каасай, а не просто Татибан Каасай потому, что подобное написание соответствовало тогдашним правилам транслитерации японских алфавитных знаков русскими буквами.

В это время сам Гошкевич уже работал переводчиком в ранге коллежского регистратора в Азиатском департаменте, куда устроился в ноябре 1857 года, незадолго до выхода словаря. Безусловно, если бы не помощь Каасая, одному ему тяжело было бы подготовить такой словарь, притом очень объемный: 18 000 заглавных слов на 462 страницах. И не только потому, что не знал в достаточной степени для такой важной работы японского языка. Причина и в ином: при создании подобных словарей немало значит опыт предшественников, в данном случае в области изучения того же японского языка. Но дело и в том, что Иосифу Антоновичу, по сути, не было на кого опереться. Словари с японского языка на другие языки вышли очень давно, и Гошкевич не мог воспользоваться ими, поскольку они уже являлись библиографической редкостью, а ко всему, устарели. Да и приобретения в этом направлении были не такие и большие.

Японско-португальский словарь, составленный иезуитскими миссионерами, вышел в 1603 году. Японско-испанский датировался 1630 годом и представлял собой перевод первого. Были, правда, еще две японские грамматики на латыни и одна на португальском языке, но и они имели немалый возраст, относились к концу XVI — начала XVII вв. Правда, появились и две новинки. Но одна (лексикон Медгурста), как свидетельствовал сам Гошкевич, «по самому объему не мог быть полезным для серьезных занятий», поскольку имел много «самых грубых ошибок». Пособие же по японской грамматике французского японоведа Леона де Рони вышло в том же 1857 году, когда завершалась работа над русско-японским словарем и оно не могло оказать какой-либо помощи Гошкевичу. Иосиф Антонович познакомился с ним в последний момент, это пособие адресовалось тем, кто только приступал к изучению японского языка.

Однако, как установил современный японский специалист по русистике, почетный академик Российской академии наук и лауреат Ломоносовской медали за 1999 год Ёсикадзу Накамура, Гошкевич пользовался одним из энциклопедических справочников, выходивших в Японии для ежедневного обихода, которые назывались сэцуёсю. Под рукой у Иосифа Антоновича скорее всего был сэцуёсю, составленный популярным писателем Уру Масакадзу не ранее 40-х годов XIX столетия. В пользу подобного утверждения свидетельствует то, что есть точные совпадения и параллели в порядке размещения и содержании заглавных слов словаря Гошкевича и этого сэцуёсю. Да и сам Иосиф Антонович в предисловии

к словарю признавался: «Со мной было несколько книг, полученных от японских приятелей, и в том числе до пяти небольших словарей, с которых и выбран лучший за основу для японско-русского словаря. При приведении всех слов в порядок выброшены почти все собственные имена, но взамен добавлено из других источников до тысячи слов, которые... особенно часто употребляются».

Накамура убежден и в том, что Гошкевич, несмотря на его скептическое отношение к лексикону Медгуста, все же пользовался при подготовке «Русско-японского словаря» и им. Однако все это, разумеется, не может уменьшить значимость работы, проделанной Иосифом Антоновичем, благодаря и его хорошему знанию японского языка, да и тому, что он имел такого надежного помощника, как Каасай.

Гошкевич в предисловии к словарю писал о трудностях, с которыми столкнулся. Не было полного японского шрифта, в особенности китайского, который мог бы служить дополнением к нему. При печатании «русский текст, предварительно набранный и проверенный, отпечатывался чернилами, которые употребляются в литографии, и в оставленные пробелы вписывались японские и китайские слова; а затем вместе переводилась на камень и окончательно печаталась в литографию».

При такой работе, конечно же, важная роль отводилась Каасаю. Он давал подробные ответы на вопросы Гошкевича, касающиеся значимости и употребления отдельных слов и выражений, и в совершенстве владел японской каллиграфией, старательно вписывал тонкими, но выразительными и равномерными штрихами помазка все заглавные слова и выражения для литографической печати. В отдельных случаях приводились и примеры их употребления.

И все же именно Иосиф Антонович является настоящим автором этого словаря, который был по достоинству оценен уже сразу после выхода его из печати. Гошкевича наградили престижной Демидовской премией, ему присвоили Золотую медаль Императорской академии наук. В печати появилось немало положительных рецензий.

Значительно позже, в мае 1862 года была отмечена и работа Каасая, который за старательность в службе получил орден св. Станислава III степени. Но тогда он был уже не Каасаем, и не Владимиром Прибыловым, и не Масудом Кумезаймоном, а Владимиром Иосифовичем Яматовым, потому что принял православие и российское подданство, а в честь своего крестного Иосифа Гошкевича решил взять отчество Иосифович.

По словам современного японского исследователя Дзюна-ити Сата, ««Японско-русский словарь» И. Гошкевича был эпохальным, творческим словарем японского языка, величайшим по объему и наилучшим по выполнению для своего времени. Словарь был основан на совершенно новых для тогдашних специалистов Запада материалах, полученных старательным автором при содействии непосредственных носителей языка».

Не потерял своей актуальности словарь Гошкевича и по сегодняшний день. В первую очередь он воспринимается как памятник науки середины XIX столетия, а также как важный этап в развитии лексикографии, к нему часто обращаются специалисты-японоведы, а также те, кто желает изучать японский язык. Этим словарем Гошкевич сам поставил себе памятник.

Добрые дела беловолосого консула

Вдохновленный успехом, Иосиф Антонович хотел и в дальнейшем связать свою жизнь с японистикой. И к этому все вроде бы шло. В том же 1857 году он узнал, что в Казанском университете, который успел стать центром российского востоковедения, было принято решение о создании отдельной кафедры японистики. А вскоре он получил приглашение возглавить ее. И, скорее всего, согласился

бы, однако почти одновременно появилось и еще одно предложение, притом не менее перспективное, ибо было связано с решением царского правительства об открытии консульства в Японии и размещении его в городе Хакадате. Гошкевичу предложили стать первым российским консулом в этой стране, а значит, была возможность длительное время жить там, лучше изучить японский язык. Иосиф Антонович отдал предпочтение второму предложению.

В правительстве остались довольны его решением. Да и имели на руках рекомендацию, данную Путятиным, а авторитет Евфимия Васильевича по-прежнему оставался очень высоким. Путятин свидетельствовал: «Не могу нарадоваться его способностям, многосторонней образованностью и строгой точностью выполнения всех порученных ему дел. Нельзя было выбрать чиновника с большими достоинствами и при этом такого скромного, который бы в такой степени удовлетворял цели своего назначения».

Сначала предполагалось, что штат консульства будет состоять только из самого консула и его секретаря. Но, поскольку российское правительство хотело не только укрепить торговлю с Японией, постепенно давая ей широкий размах, о чем Иосиф Антонович узнал из инструкции Министерства иностранных дел, врученной ему в феврале 1858 года, но и своей повседневной работой убеждать японские власти, да и все население в самых лучших намерениях, штат расширили. Ввели единицу морского офицера, в задачу которого ставилось знакомить японцев с основами астрономии, познаниями в мореходстве, судовой механике. Посылали также и врача, который бы лечил местное население, а также учил его гигиене, а из наиболее способных японцев готовил местных специалистов в области медицины.

В Японию Гошкевич отправился с женой Елизаветой Степановной и пасынком Владимиром. Через всю Россию пришлось добираться на лошадях, каких ему (поскольку будучи чиновником VI класса он приравнивался к полковникам, капитанам 1-га ранга, обер-секретарям Синода и Сената) позволялось иметь их шестеро. Так, меняя лошадей, и доехал до восточной границы России, чтобы оттуда путь в Японию продолжить по морю.

Наконец, 22 октября 1858 года взору Иосифа Антоновича открылся остров Хоккайдо, на котором и находился город Хакадате. Размещалось это поселение, возраст которого составлял всего несколько лет, на берегу бухты. От нее строения «взбирались» ввысь, крепясь на трех террасах. На это время в Хакадате было до шести тысяч жителей. Вряд ли бы нашлось много желающих селиться здесь, если бы Хакадате не имел статуса административного центра. Поэтому, несмотря на то, что на острове ежемесячно происходили землетрясения, и находилось четыре действующих вулкана, поселение постепенно отвоевывало себе горы, а также расширялось вдоль береговой линии.

Однако в Хакадате был и еще один существенный недостаток. Правда, это в большей степени ощущали иностранцы, ведь местное население привыкло к капризам зимы с ее резкими перепадами температур. В природе не наблюдалось никакого постоянства. После сильного мороза могло неожиданно резко потеплеть или, наоборот, оттепель внезапно менялась таким похолоданием, что страшно было выйти на улицу. И это повторялось с завидной последовательностью. А ко всему в течение четырех месяцев в году дули холодные северо-западные ветры, что также плохо сказывалось на здоровье. Прежде всего, европейцев, хотя и сами японцы не очень радовались этому. Подобные местные особенности во всей их полноте Иосиф Антонович прочувствовал значительно позже.

Пока же все складывалось наилучшим образом. Пожаловав на второй день после прибытия к губернатору, убедился, что Мурагами Авадино-ками — из тех людей, с которыми можно легко найти взаимопонимание, поэтому быстро был решен и вопрос с жильем. Поселили Гошкевича и его спутников в буддийском храме, а под консульство выделили земельный участок. А через полгода справили и новоселье.

На вершине сопки, которую облюбовал Иосиф Антонович, появился двухэтажный особняк для него и его семьи, а возле него были построены дома секретаря, морского офицера, врача, возведены хозяйственные строения: склады, хлебопекарня, баня. Отвели и двор для животных. И не только потому, что хотел, чтобы консульство само обеспечивало себя основными продуктами питания. Зная, что японцы употребляли рыбу и почти не ели мяса, полностью отказывались от молочных продуктов, решил научить их доить коров, получать масло, делать творог и сыр, что также местному населению было в новинку.

С первых дней своего нахождения на острове Иосиф Антонович старался сблизиться с местным населением. Консулы других стран (они жили поблизости от российского дипломатического представительства, что, кстати, в дальнейшем оказало и дурную услугу: 13 февраля 1865 года загорелся дом английского консульства, пожар перебросился и на русские строения и уничтожил их, сгорели и ценные коллекции Гошкевича) нередко с презрением относились к японцам, вели себя чванливо, Иосиф Антонович же всегда разговаривал с ними на равных, не обращая внимания на социальный статус человека, который находился перед ним. А на встречу нового, 1859 года, пригласил к себе как можно больше гостей, чтобы лишний раз убедить их в том, что намерения у русских в Японии наилучшие.

Завоевывать доверие надо было как можно скорее, ведь и по приезду на остров да и позже послы некоторых стран, относясь неблагожелательно к России, распространяли провокационные слухи о том, что у нее агрессивные намерения к Японии, что она даже мечтает посадить здесь своего губернатора. Гошкевич понимал, что в подобной ситуации хорошего отношения к себе, а также к своей стране можно добиться только конкретными делами, которые убедят японцев, что к ним приехали не покорители, а надежные друзья.

В 1859 году Иосиф Антонович открыл невдалеке от консульства временный лазарет, который позже превратился в госпиталь и в нем ежегодно поправляли свое здоровье до сотни местных жителей. Пошел Гошкевич и дальше. Желающие могли получить медицинскую помощь и дома, а также было организовано обучение японских врачей, а это еще больше способствовало уважительным отношениям японцев к консульским работникам.

Вслед за первой русской школой в Японии при консульстве открылась вторая, педагогом в которой работал И. Махов. Он с помощью местного резчика по дереву Дзюкити и печатника Тайкити издал русскую азбуку «Россия но ироха», которую использовали не только для занятий в школе, но и рассылали ее по всей стране для желающих овладеть русским языком.

Это дало хорошие результаты. Забегая вперед, надо сказать, что в 1868 году (сам Гошкевич тогда уже оставил Японию) один член консульства, а также один из японских учеников, который по предложению Иосифа Антоновича вместе с еще пятью молодыми самураями успешно прошел обучение в Петербурге, преподавали в правительственной Хакадакской школе не только русский язык, но и географию, историю, математику на русском языке. Последнее обстоятельство повлияло на то, что упомянутая школа была переименована в Хакадакскую русскоязычную.

Беловолосый русский консул, а именно так стали называть японцы Гошкевича, позаботился и об открытии школы фотографии. А еще много занимался изучением флоры и фауны этой загадочной в то время для иностранцев страны. Его коллекции насекомых, которые были отправлены в Петербург, исследовали многие известные энтомологи.

В частности, Иосиф Антонович нашел ранее неизвестного жука — металлически-зеленого с малиновыми полосками, который позже стал называться листоедом Гошкевича. Еще один жук, хищный, получил название «жужаль Гошкевича». Открыл он и ночную бабочку, вошедшую в историю как «мертвая голова Гошкевича» (по-русски «бражник Гошкевича»).

Собрал же Иосиф Антонович богатую коллекцию потому, что много путешествовал. Ему были созданы благоприятные условия, так как он стал одним из первых иностранцев, которому разрешили ездить по стране. Даже попал в город Эда, где имел переговоры из сёгуном Японии.

Много сделал Гошкевич и для распространения православия в этой стране. Первым пастырем там был иеромонах Филарет, но он являлся священником консульства всего несколько месяцев. Иосиф Антонович вынужден был искать ему замену. Поэтому обратился к руководству Русской Православной Церкви с просьбой прислать такого пастыря, «который мог бы быть полезным не только своей духовной деятельностью, но и учеными работами, и своей личной жизнью в состоянии был дать хорошее представление о нашем духовенстве не только японцам, но и иностранцам».

Такого священника Гошкевич нашел в лице иеромонаха Николая (в 1970 году он был канонизирован Русской православной церковью как святитель Николай Японский), который прибыл в Хакадате в 1861 году. Иеромонах Николай в течение восьми лет при помощи самого консула и его семьи в совершенстве изучил японский язык, познакомился с историей, культурой и обычаями японцев. При этом его настольной книгой стал «Японско-русский словарь».

Здоровье Иосифа Антоновича в это время ухудшилось, ведь климат тех мест, в особенности резкие смены его, не прошли бесследно. 4 марта 1864 года Гошкевич окончательно убедился, что необходимо искать себе замену, потому и отправил письмо в Азиатский департамент, в котором сообщал, что нахождение в неблагоприятных условиях вызвало у него преждевременную старость. Просил уволить его со службы и дать средства для выезда.

У всего есть итог

Хакадате он оставил на шхуне «Сахалин» 20 апреля 1865 года. Но Японию он покидал с грустью не только потому, что полюбил и свою работу, и саму эту страну. На хакадакских погостах осталась спать вечным сном его любимая жена. А он хорошо знал, что больше сюда уже никогда не приедет, поэтому прощался с ней навсегда.

Вернувшись в Петербург, опять стал работать в Азиатском департаменте, теперь драгоманом VI класса. Но продолжалось это недолго, поскольку 10 июля 1867 года должность ликвидировали. Получалось, что его знание японского языка никому не нужно. От понимания этого стало не по себе. Если что и радовало, так то, что по-прежнему специалисты высоко отзывались о его словаре, да и постоянно пользовались им. А еще удовольствие приносила работа над книгой «О корнях японского языка», замысел написания которой у него появился во время нахождения в Японии. Однако заниматься этим, как убедился, не обязательно в Петербурге. Можно где-нибудь и в другом месте, так как собранного материала было много. Все чаще останавливался на мысли, что лучше податься куда-нибудь подальше от столицы.

Именно в этот момент, когда в чем-то находился на жизненных перепутьях, и решил осуществить свою давнюю мечту и переехать в деревню. Повлияло на это решение и то, что встретил женщину, которая не только согласилась стать его женой, но и, как и он сам, хотела жить на природе, среди скромных деревенских людей...

Иосиф Антонович приобрел небольшое поместье Мали (теперь Островецкий район). 20 октября 1867 года он обвенчался с дочерью отставного полковника Матчина Екатериной Семеновной и поехал туда, где и надеялся провести свои последние дни.

Успел дождаться сына, который родился 18 августа 1872 года и был назван в честь отца. А вот появления книги «О корнях японского языка» не дождался.

Она вышла в Вильно только в 1899 году, а Гошкевича не стало 15 мая 1875-го. Книга эта стала как бы его заветом о том, что нужно уважать не только свой народ, но и другие, помня, что каждый из них заслуживает внимания: «Японский народ, который недавно почти принудительно втиснут в семью цивилизованного европейского мира, давно имел право на это место по внутреннему родству; не потому ли и он проявляет такую удивительную энергию, такое стремление к цивилизации».

Появление книги «О корнях японского языка» — это уже результат усилий Иосифа Иосифовича. Сын позаботился также и о сохранении богатой библиотеки отца, которую передал в Институт востоковедения Российской академии наук, где она и находится по сегодняшний день. Большой научный интерес представляют письменные памятники, содержание которых связано с географией, историей, этнографией и языком народов Кореи, Китая и в особенности Японии. Те, что касаются этой страны, стали первым большим собранием японской литературы в Азиатском музее.

Много было сделано Гошкевичем, большой след оставил он в востоковедении, но получилось так, что долгое время о нем помнили только в Японии. В Советском же Союзе об Иосифе Антоновиче почему-то забыли, не вспоминали о нем и в Беларуси. Однако не зря говорят: все, что ни делается — к лучшему. В Островце поставлен бюст нашего выдающегося земляка. Проводятся научные чтения, посвященные ему. Появляется все больше публикаций, в которых исследуются разные аспекты жизни и деятельности первого «официального» белоруса-дипломата.

Не лишне, пожалуй, будет сказать, что сподвижник Иосифа Антоновича Каасай, продолжая службу в Азиатском департаменте, с 1870 года начал читать лекции по японскому языку в Петербургском университете, а в сентябре 1874 года возвратился к себе на родину. Жил в Токио, получая пенсию от российского правительства, которая была немалой, ведь в 1871 году ему присвоили чин коллежского асессора, а при отставке перевели в надворные советники. Умер Каасай 31 мая 1875 года, прожив 65 лет.

Его похоронили во дворе буддийского храма в квартале Сироканэ района Сиба. Сегодня это недалеко от того места, где находится посольство Республики Беларусь в Токио.

В городе же Хакадате вместо старой деревянной церкви, возведенной еще во времена Гошкевича, находится новая, каменная, а поблизости от нее — православное кладбище, куда перенесен прах первой жены беловолосого консула. Ему же много материалов посвящено в экспозиции местного музея. В городе же Фудзи на памятнике матросам и офицерам фрегата «Диана» среди других фамилий значится и Гошкевич. А еще в честь его назван залив у берегов Северной Кореи.



Литерарурный портрет

ЛЮБОВЬ ТУРБИНА

Хроникер, оставляющий образ времени

Первая книга прозы Андрея Федаренко «Гісторыя хваробы» вышла в 1989 году. Повесть, давшая название сборнику, возвращает нас лет на двадцать пять назад — даже странно, что все изменилось за столь короткий срок. При чтении ее приятно поражает мастерство автора, интересная композиция произведения, напоминающая роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» — дневники и письма незадачливого студента Веремейчика, нелепо погибшего под колесами машины, ночью, когда с компанией студентов он возвращался с танцев из соседней деревни. После его смерти их публикует сосед Веремейчика по общежитию... Многое, многое вспомнилось из собственной студенческой юности, пока читала произведение, особенно какие-то детали: ночное поле, «дымок над сожженной стерней», запах сухой картофельной ботвы — тот самый запах Родины, которую с легкой руки все того же Михаила Юрьевича любим мы до сих пор «странной любовью».

Рассказы этого сборника разнообразны по содержанию и по форме. Радость общения с тонко чувствующим и нестандартно мыслящим автором не покидает читателя до последней страницы. При этом первая книга, скажем, забегая вперед, как и вторая, насыщена конкретикой лет, связанных с движением «Адраджэння», то есть возрождения национальной культуры. А это сборы подписей за повсеместное введение белорусского языка, эйфория митингов и собраний, в которых участвуют персонажи, как молодые, так и не очень, прозы А. Федаренко. Прочтение книги через двадцать лет подсвечено опытом горечи и разочарований, пережитых за эти годы, и что удивительно — предощущением этого веет с ее страниц. Поражает внутренняя свобода молодого автора, который сразу, при первом своем появлении на «поле» белорусской литературы, имеет смелость не строиться в шеренги, не декларировать то, чего от него в данный момент ждут, а воспользоваться появившейся тогда относительной свободой, чтобы просто быть самим собой, что обходится крайне дорого во все времена! Есть у него во второй книге примечательная фраза, он говорит, что похвалить в первые годы перестройки что-либо из застойных лет не прощалось также, как положительное высказывание о царизме в послереволюционные годы. Извлекать уроки из пережитого нам снова недосуг...

Вторая книга прозы Федаренко «Смута» состоит из двух повестей и десяти рассказов; при чтении снова переживаешь прошедшее, вспоминаешь скачки в изменении общественного сознания. Ощущение внутренней и внешней нестабильности задает тон и питает сюжеты почти всех произведений книги. Из «фантастических» картинок о школьном самоуправлении в первой повести, давшей название сборнику, вырастает в дальнейшем «детектив для мальчиков и девочек», с которого и началось мое знакомство с писателем. Не мог молодой автор, уроженец Гомельской области, обойти вниманием и тему Чернобыля: в рассказе «Бляха», композиционно напоминающем знаменитый рассказ Михася Стрельцова «Смоление вепря», описываются будни тех, кто остался жить на загрязненных

радиацией территориях — это старики и «лузеры», те, кто и раньше, до трагедии, оставались на обочине жизни.

Таковым является пропащий мужик по прозвищу Бляха. Однако теперь он почувствовал свою значимость: он оказался самым сильным из оставшихся на «зоне». Поэтому именно его приглашают старики забить кабанчика.

Но эйфория свободы проходит, наиболее быстро — у слабых. И на этих грязных землях, в изоляции от остального мира, есть силы, которые не дают человеку просто жить-доживать. Сферы влияния и здесь поделены, а на оставшиеся, как волки на свежее мясо, набрасываются мародеры... Стужа, мрак, вой одичалых собак, вторящих завываниям ветра, безнаказанность зла, богооставленность этих мест — все это передано убедительно и достоверно. Когда стая одичалых собак нападает на мародера, и он с воплем о помощи стучится в хату к ограбленным им же старикам, то никем не уважаемый, избитый этим же мародером Бляха вызывается идти за фельдшером, в стужу и мрак. И погибает как праведник «за други своя», разорванный собаками насмерть. Читатель испытывает катарсис, как и положено при встрече с настоящей литературой. Кстати, именно рассказом Андрея Федаренко «Бляха» была представлена белорусская проза в европейском «Литературном экспрессе-2000».

Но что может дать надежду, восстановить душевное равновесие, без которого невозможна жизнь? Два слова «смута» и «сум» близки по звучанию, но для первого ближайший синоним «мятеж», а второе переводится — «грусть», та самая, о которой сказал поэт: «Мне грустно и легко, печаль моя светла...»

Два рассказа из второй книги Андрея Федаренко воспринимаются как прививка от любой смуты в общественном сознании. Внимание в них сосредоточено на жизни внутренней, на ощущениях ранней юности. Это рассказы «Пеля» и «Один летний день». Каждый читатель припомнит хотя бы один летний день из собственного позднего детства — ранней юности в дорогих его сердцу местах. «Святлей за той, падлеткавы, сум у мяне пасля ў жыцці нічога больш не было...» — так просто, так очевидно, так непреложно. Ловлю себя на том, что мне все время хочется оправдываться: зачем говорю очевидные вещи, ведь читали мы в свое время немало таких прекраснодушных откровений, чем же эти необычны, новы?

Не мне одной рассказ «Пеля» пришелся по сердцу. В 1992 году, в авторском переводе на русский язык, он был награжден дипломом как лучшее произведение малой прозы на конкурсе, который проводила Международная ассоциация фондов мира. Кроме приглашения в Москву на вручение премии в условия конкурса входило опубликование лучших произведений в журналах «Москва» или «Октябрь», чего впоследствии, к сожалению, не произошло... Однако этот рассказ был опубликован в июльском номере журнала «Дружба народов» за 2004 год, и в одном из обзоров «Л. Г.» журнальных публикаций за год был назван одним из лучших произведений.

Вернемся, однако, к рассмотрению мастерства прозаика. Его тексты пронизаны реминисценциями и ассоциациями, аллюзиями: уже упоминалось о сюжетной перекличке со Стрельцовым в «Бляхе», в рассказе «Один летний день» можно проследить композиционный ход из того же «Смоления вепря», автор как бы только рассказывает читателю о замысле рассказа, о намерении его написать. Есть в этом же произведении своими словами пересказанная картина из романа Ивана Мележа «Люди на болоте». Чувствую так же, как и Андрей Федаренко, эту трепетную любовь, родившийся на Полесье автор представляет, как стоят под вишнями Василь и Ганна, и что недолгим будет их свидание, уже идут с обрезами кулаки...

Классика — это те произведения, которые были прочитаны в отрочестве и с тех пор растворены у нас в крови, и герои их для нас реальнее самой реальности: кажется, что мы сами были участниками описанных в них событий. Мотивы Чехова и Толстого также считываются в прозе Федаренко. Читая его повесть

«Нічые», невольно вспоминаешь «Тутэйшых» Янки Купалы, а один из его рассказов «Гульба святых» поднимает мифологические пласты сознания подобно прозе Джойса или Фолкнера. Творческое восприятие прочитанного, «книжность» — главный упрек вступавшим в литературу в семидесятые годы — теперь является одной из характерных ее черт, одной из неотъемлемых ее, сегодняшней литературы, примет.

Рассказ «Пеля» выделяется не только в этой книге — это визитная карточка автора, который признается в послесловии (книга снабжена авторскими предисловием и послесловием), что написан этот рассказ по сравнению с другими очень быстро, на одном дыхании, за два часа — как раз в то время, когда все средства информации трубили о ГКЧП, когда расхожие представления о добре и зле, да и о чем угодно, прямо на глазах меняли знаки на противоположные, и мотив болота, шаткости почвы под ногами, был интуитивно нащупан автором как самый актуальный и получил свое полноценное воплощение. Но не только зыбкость и неустойчивость означает для Федаренко, как и для Мележа, болото — для родившихся на этой почве трясина, болотце, пеля — еще и защита от инородных нашествий, от чужеродных влияний.

В рассказе не выпустившая автора-героя стихия ночного болота, вызвавшая поначалу его досаду и злобу, потому что из-за этого он опоздал на поезд, идущий в Крым, как потом оказалось, спасла его от неминуемой гибели... Еще раз о широте таланта Федаренко: если рассказ «Пеля» или отмеченная как лучшая публикация в журнале «Полымя» за 1996 год повесть с бунинским названием «Вёска» могут относиться к «деревенской прозе», то повесть 1998 года «Цугцванг» напоминает рассказы Честертона, в которых детективная интрига и раскручивающийся пружиной сюжет, подобно рыболовной приманке, — способ заинтересовать читателя, поймать его внимание на крючок (тем более, что речь идет об авторе, который, по собственному его признанию, не представляет себе жизнь без рыбалки), а затем писать просто «про жизнь», про нас, не про суперменов и преступников, а про обывателей, которые все-таки в любые времена и в любой нации живут день за днем обычной жизнью с ее насущными заботами, и где вопрос о нравственности и безнравственности перед лицом не закона, а всего лишь собственной совести отнюдь не считается праздным.

В первых номерах журнала «Полымя» за 2004 год был опубликован долго ожидаемый читателем роман «Рэвізія», отрывки из которого были опубликованы и в Беларуси, и в Москве, в журнале «Юность» № 4 за тот же год. Этот роман представляется нам значительным шагом в творчестве белорусского прозаика. Первые же страницы дают развернутую картину бурной литературной жизни в Беларуси в конце восьмидесятых — начале девяностых. Одно из первых действий разворачивается на собрании в Доме литераторов, которое описано с присущим автору мягким юмором и острой наблюдательностью, но без сарказма. По сравнению с Юрием Поляковым, который в своем знаменитом романе «Козленок в молоке» не щадит своих коллег по перу, также узнаваемых для тех, вероятно, кто к этому кругу принадлежит. Многие персонажи романа Андрея Федаренко также узнаваемы для белорусской читающей публики и культурной элиты.

Следует особо отметить, что когда публиковались отрывки из романа, он назывался «Сквозь столетье зимы», в журнале же «Полымя», когда произведение было опубликовано полностью, в 2004 году, автор изменил его название на более короткое и емкое — «Рэвізія». Попытаемся проанализировать, почему это произошло? Первые страницы романа о брожении умов во время резкого слома общественной формации посвящены писательской братии: в известном всему Минску Доме литераторов зимним вечером собирается молодежь. Повествование ведется от лица студента Алеся Трухана, которого привели на собрание старшекурсники. Это его глазами мы видим литературное собрание девяностых. Более всего поражает Алеся то, что все вокруг говорят по-белорусски, никогда до этого

он не видел сразу так много людей, говорящих по-белорусски. Таким образом, сразу же, чуть ли не с первой фразы, фиксируется главный посыл набирающего силу движения «Адраджэння» — возрождение национального самосознания. Можно даже сказать — это и есть белорусская национальная идея.

Среди организаторов вечера, сидящих в «президиуме», Алесь сразу выделяет Ведрича, по описанию его внешности и поведения белорусский читатель узнает культового поэта того времени Анатоля Сыса. Когда приходит его черед выступать, автор вкладывает в уста героя несколько стихотворных строк именно этого автора.

Далее сюжет развивается так: по окончании вечера Ведрич с Труханом после блужданий по ночному Минску оказываются в общежитии в комнате последнего. Поэт догадывается, что Трухан пишет прозу, выпрашивает рукопись романа, и, узнав, что названия у него нет, предлагает свое: «Сквозь столетие зимы». К слову, это тоже цитата из стихов Анатоля Сыса. Далее следуют вставки из романа, написанного Алесем Труханом, которому предстоит опасная операция. Поэтому для него так важно, чтобы после него что-то осталось. И мы читаем этот роман в романе, где его автор, Алесь Трухан, становится главным героем романа Алесем Трухановичем. Действие разворачивается в 1920-е годы на Гомельщине, в родных местах Трухана-Трухановича (и Андрея Федаренко тоже).

Текст романа в романе вступает в сложноподчиненные отношения с первоначальным текстом. В романе Ю. Полякова «Козленок в молоке» тоже применяется прием «романа в романе», речь в нем идет о мистификации: два литератора, сидя в ресторане ЦДЛ, заключают пари о том, что один из них может сделать писателя из первого встречного, предъявив критикам пачку чистых листов. И главный герой, которому эта идея пришла в хмельную голову, выигрывает пари: первого встречного, неграмотного Витька приглашают на ТВ, принимают в СП и даже присуждают ему престижную Бейкеровскую (читай — Букеровскую) премию. Никто никого не хочет читать — тревожный сигнал для тех, кто занимается литературой.

Традиция изображения собратьев по перу отсчитывается в XX веке с Михаила Булгакова, со знаменитого романа «Мастер и Маргарита», где душным майским вечером в Доме литератора двенадцать писателей ждут своего коллегу Берлиоза на заседание МОССОЛИТА. Имя Булгакова возникает уже на первой странице романа «Козленок в молоке», текст которого предваряется эпиграфом из письма Михаила Афанасьевича Иосифу Виссарионовичу: это обширная цитата из Гоголя, который говорит, что современный писатель не может не быть сатириком, и особенно (добавим от себя), когда речь идет о собратьях по перу.

Персонажи Юрия Полякова узнаваемы скорее всего теми, кто принадлежит к многочисленному кругу московских литераторов. В отличие от романа А. Федаренко, где молодые прозаики и поэты встречаются в актовом зале Дома литераторов, слушают стихи друг друга, отпускают с места в основном иронические замечания, место встречи московских писателей — ресторан, и не дать никому прочитать ни одной стихотворной строчки — главная задача собравшихся. Поэтому пустые листы наиболее всех устраивают, а как это называется: «смерть автора» или «смерть литературы» — это уже задача для критики.

Белорусский литературовед И. Шавлякова констатирует, что эпоха Пост интересуется не нормальностью, а аномальностью социальных, нравственных, эстетических явлений: «инфляция» гуманистических ценностей, медленное, но неумолимое саморазрушение культуры — лишь промежуточный итог глобального духовного кризиса, а руины быстро зарастают сорной травой.

Роман Алеся Трухана, который он прячет перед операцией в герметически закрытой трубке, несет функцию «послания в бутылке» — есть и такой «бродячий сюжет». Найденная (и прочитанная!) рукопись дает шанс на спасение, если не тела, то души; так пишется последняя или единственная книга автора, тем самым подтверждая слова Шавляковой: «В этой ситуации белорусская литера-

тура впечатляет именно своей «нормальностью», которая в мире перевернутом кажется почти невозможной».

Однако вернемся к заглавию романа А. Федаренко «Рэвізія». Ключом к пониманию его является эпиграф ко второй части романа: «Именем Его Императорского Величества... объявляю ревизию сему сумасшедшему дому». Это состояние ревизии в умах, полный пересмотр всех моральных установок, политических симпатий, оставшихся после предыдущей эпохи, и является скрытой темой романа. Если же вернуться к блестяще доказанному постулату романа Ю. Полякова «никто никого не читает», то в романе Федаренко «антитезой» этому постулату выступает сцена вызова Трухана в «большой дом» — так называлось здание КГБ в Минске. В результате этого вызова начинающий писатель понял, что во всяком случае одного заинтересованного и вполне грамотного читателя он уже обрел — в лице приставленного к нему сотрудника госкомитета, который провожает молодого автора словами: пишите быстрее продолжение, мы ждем, нам интересно. Напрашивается вывод: отмена госцензуры и даже персональной слежки лишает писателя «гарантированного» читателя определенного «вида», читающего написанное хотя бы по служебной необходимости.

Действие романа А. Федаренко, начинающееся, как точно указано автором, в октябре 1989 года, переносится фактически на 70 лет назад, в родные места автора. Тут возникают картины природы, всегда присутствующие в белорусской «большой» прозе. Трухан-Труханович, попавший из реальности сегодняшней, в ту малоизвестную послереволюционную белорусскую деревню, узнает речку, на которой вырос; и именно через узнавание речки он начинает понемногу осваиваться в непонятной доселе действительности...

Правда, предшествовало этому перемещению во времени пребывание героя в больнице, причем болезненность Трухана заявлена еще в конце первой сцены романа, когда после окончания литературного вечера Ведрич заинтересовался Труханом, новым человеком на «сходке». Взаимоотношения Ведрича и Трухана — одна из сквозных сюжетных линий романа.

Однако история с «Рэвізіяй» носит особый характер: гордость молодой Беларуси, поэт Анатоль Сыс, скончался в мае, приблизительно через год после опубликования романа, в котором он стал прообразом одного из главных его героев. «Рэвізія» — настоящая, добротная проза с лихо закрученным сюжетом, трагическая по звучанию: опасная болезнь Трухана задает тон его настроению и восприятию всего, что он видит, чувствует и записывает. И перемещение во времени у него происходит, как у Льва Толстого в романе «Война и мир», в эпизоде со сном князя Андрея: «Я умер — я проснулся». И в новой (в старой деревенской) действительности герой Федаренко, словно в тумане, долго не узнает родных: мать, отца, брата. Но их доброта и самопожертвование возвращают его к жизни. Таким образом, существуют лишь две подлинные ценности в мире: любовь близких и родная природа, лишь они не теряют своего значения в любом времени, и в прошлом, и в настоящем. А также при любом политическом устройстве. Об этом пишет Алесь Трухан, воспринимая произведение как послание тем, кто будет жить после.

Роман белорусского прозаика фиксирует своеобразное замирание жизни в течение долгого пребывания Трухана в палате больницы перед операцией и ожидание особого, живого слова, с которым связаны надежды нации на «Адраджэнне».

В последнее время актуализируется идея воссоздания, реконструкции утраченного, но несомненно более значимого, чем достижения дня сегодняшнего. Возвращение-воспоминание стало едва ли не главным мотивом новейшей белорусской литературы, что обнаруживается на различных уровнях художественной системы.

«Ревизия» А. Федаренко вызвала немало положительных откликов: «такого в белорусской литературе еще не было» и «сам роман — действительно стоящая вещь». Особенно отмечался хороший слог, «погрузившись в который так инте-

ресно следить за сложными перипетиями жизни Трухана-Трухановича». Главный герой романа Алесь Трухан в конце 1980-ых годов на основе своих видений или снов, которые его периодически посещают, пишет роман о 20-х годах XX века. А персонаж его произведения, Алесь Труханович, «помнит» свою будущую жизнь, то есть жизнь А. Трухана в конце 1980-х — то ли две жизни одного человека, то ли Труханович двойник Трухана или его «перевоплощение».

Возможно, в белорусской литературе это наиболее яркое и талантливое произведение прозы последних лет, которое читается легко и с напряженным интересом: герои живые, а сложная композиция не нарушает естественности повествования.

Если поколение, пришедшее в литературу в конце семидесятых — начале 1980-х годов, можно назвать «потерянным» из за отсутствия позитивной общественной идеи, что так или иначе оказывает разрушительное воздействие на талант, то поколение Федаренко, явившееся в мир «в его минуты роковые», которое «призвали Всеблагие как собеседника на пир», по контрасту с предыдущим можно назвать «найденным». Кажется, этот термин уже употребляется в украинском литературоведении и критике. Но прошла волна, сошла пена, и остаются не поколения писателей, а отдельные имена. Мне довелось с опозданием в десятилетие познакомиться с творчеством одного из лучших современных белорусских прозаиков. Для русского читателя трудно будет донести ту особую, доверительную интонацию, которую привносит белорусский язык, и языковая близость для переводчика, может, и не помощь тут, а помеха: так похоже, но другое.

Особенности характеров, интонация проявились сильнее всего в голосах самых тонко чувствующих белорусских писателей: Максима Богдановича, Ивана Мележа, Михася Стрельцова. Каждый знающий белорусскую литературу вправе протянуть свою цепочку имен. Но если Богданович — поэт, Стрельцов — прозаик, перешедший во второй половине жизни к поэзии, что случается достаточно редко, то Иван Мележ — автор прекрасной прозы, в которой местами превалирует поэтический элемент. Именно этот знаменитый белорусский писатель ближе всего по духу Андрею Федаренко. Недаром он лауреат премии имени Мележа. При всей душевности и лиричности это «крепкая» сюжетная, не эссеистическая проза, каковой чаще всего оказывается «проза поэта». В произведениях этого автора, кроме узнаваемых и убедительных характеров и обстоятельств ощущается еще и дух времени, а это дорогого стоит! И если меня будут снова настойчиво спрашивать здесь, в Москве, что же на самом деле происходило после распада союзного материка и наблюдается сейчас в Беларуси, мне есть что ответить: читайте прозу писателя Андрея Федаренко.



С точки зрения рецензента

...Я хотела бы знать, куда плывет та лодка

К творчеству белорусской писательницы Алены Браво отношусь сложно и неоднозначно. Что-то принимаю, с чем-то не согласна, и это нормально. Неравнодушное читательское отношение, обсуждение произведения (как, в частности, повести А. Браво «Рай давно перенаселен») — один из показателей попадания произведения в цель. Не помню, кто сказал о талантливых писателях: многим дан мяч, да не многие попадают им в цель.

Однозначно следующее: Алена Браво — талантливейшая современная писательница, и в данном случае не вижу смысла доказывать очевидное.

В октябрьском номере журнала «Нёман» опубликована повесть Алены Браво «Рай давно перенаселен». Ранее она была напечатана на белорусском языке в журнале «Маладосць».

Редкие писатели в состоянии отобразить сложную гамму чувств, любовных в особенности. Здесь нужен талант, он один объединяет писателей, неважно кто они, мужчины или женщины, иначе все благие намерения могут сойти на дорожку грубой плоти или скучнейших банальностей. Нынче эта дорожка усилиями циников и людей, у которых нет сердечного тепла, давно превратилась в магистраль, и чего только на ней не встретишь! Кроме любви. Но я несколько отвлеклась.

Сразу отмечу, что не приемлю в повести Алены Браво. Например, не могу согласиться с исключительно черной краской в описаниях советской жизни, которую писательница вспоминает часто, это свойственно и другим ее произведениям. В этом лично мне слышится некая фальшивая нотка, натянутость, у меня на такие же вещи из прошлого другой угол зрения, другая память и личный опыт, более благодарный.

Все время спотыкаюсь на этих местах, и почти всегда не соглашаюсь с автором — «*нищенские обеды в столовке», «быт, всегда каторжный», «на заседаниях товарищеских судов от них особенно сильно разило по́том в сочетании с духами «Красная Москва», «некоторые выблевывали слезу пролетариата на тряских районных дорогах»* (о поездках на картошку в колхозы), *«искать в заплеванных пригородных электричках очередного обладателя нечистых ботинок и чистой души», «женщины этого поколения, всю жизнь прозябавшие под солнцами мнимых величин, не могли без образцов*» и так далее, и так далее. Кстати, так и просятся сравнения, хочется сослаться на то, что многие современные женщины греются исключительно под солнцем гламура и глянца. Но это видение писательницы, ее мир, творческое преломление и отражение ее жизни, и это невозможно по чьей-то команде изменить или подстроить под чей-то вкус. Тогда это уже будет не свободное творчество, а навязанное, сродни партийному заказу.

Мне самой часто приходится возвращаться в своих произведениях в прошлое, такой прием возможен в новой книге, к примеру, пишу: «*Литература тем и хороша, что позволяет по-иному взглянуть на прежнюю жизнь. Да, жизнь невозможно переписать заново, но можно попытаться*

что-то исправить в себе, изменить себя и измениться.

В столь запоздалой исповеди, наверное, и происходит самопознание, некая «инвентаризация» прошлой жизни, думаю, она поможет каким-то образом исправить меня, предупредит будущие ошибки.

А если моя повесть поможет другим людям, значит мы все на верном пути»...

Такое мучительное, болезненное самокопание, исследование собственных ошибок, ошибок матери, бабушки, деда, окружающих близких людей — этого у писательницы А. Браво предостаточно. Исповедь героини, от имени которой ведется повествование, написана блестяще. А это — дело не простое, попробуйте сами.

Но тем и отличается настоящая литература: не сюжетными ходами, не заманиванием читателя в детективную ловушку, не односложным чириканием хищных сирен, охотниц за чужими кошельками и даже жизнями, а некой магической тайной. Силишься разгадать, да вот все никак не можешь приблизиться к ней. Требуется большое напряжение ума, духовный опыт, чтобы понять глубокий смысл и авторский подтекст некоторых произведений.

В повести А. Браво есть все необходимое для точного попадания в сердце читателя: отражение времени, показ внутреннего мира героев, язык.

Часто за внешним, почти механическим мельканием героев авторы пытаются скрыть пустоту. Мысли, чувства, психологическая точность в раскрытии характеров и даже человечность сегодня, с вашего разрешения, в «текстах» — большая ценность и редкость. Все больше вульгарности и пошлости, их в изобилии. Нередко стоит только пробежать глазами одну страницу и хочется тут же закрыть книгу. Пусть это останется на совести авторов.

В рассматриваемой повести прослеживается нравственная эволюция: от обид девочки, которую не любит родная мать, до понимания и прощения ею матери.

Женщина, или «моя мать», занята исключительно устройством своей личной жизни, где нет места для маленькой девочки. Тема отношений матери и дочери — сложнейшая, все звенит и рвется от трагизма.

Вот еще на что я обратила внимание, в повести не встретишь слова «мама». Оно такое мягкое, родное, живое. Присутствует другое: «она», «мать», «матерью», а это совсем не одно и то же. «Мать» в повести так и не стала «мамой». Есть над чем задуматься.

Но вернемся к признаниям дочери. Послушайте этот плач, сколько в нем застаревшей боли, она саднит, ранит, не отпускает и спустя много лет.

«*Но ведь я, я любила ее! Любила как никто в мире и бешено страдала от ревности, потому что ее не интересовало ничто, кроме горечи ее несбывшейся жизни, горечи, которой она отравила наше детство (только к яду мы с сестрой оказались чувствительны по-разному, как, впрочем, и бывает у разных организмов). Разве могло удовлетворить ее жажду обожание рожденного ею существа? Во мне она с отвращением видела саму себя. А именно себя-то и приучена была ценить «дешевле всего», оттого так яростно искала подтверждения собственной значимости то в брачных играх, то в социумных бирюльках*».

У героини повести происходит духовный рост. Нам представлена такая проекция во времени: вот ей пять, восемь, двенадцать лет, вот она уже девушка-студентка, молодая женщина. Она нагружает себя по максимуму, «нагружает» и свою душу, созидает ее, она готова к милосердию и прощению. А вот с ее матерью происходит обратное: эгоизм разъедает ее душу.

Предательство матери, как разрушение самой жизни, втягивает в свою воронку окружающих. Судьбы близких, особенно дочери, как жертвоприношение, неоправданное, не спасающее никого. Все, что казалось незыблемым, прочным, превратилось в прах и мираж. Печальны итоги.

Почти все приобретения матери «*после того, как ею и отцом была получена новенькая, с иголочки, квартира, мать выставила отца из ком-*

фортабельного элизиума с видом на центральную улицу, объясняя свой поступок несходством характеров», в конце концов, заканчиваются личными разочарованиями, разводами, потерями.

Жизнь матери, оцениваемая глазами дочери. Дочь всегда жестокий судья и некий ревнивый блюститель, она рядом и одновременно в тени. Жизнь матери доходит до крайней степени отчуждения, боюсь произнести это слово — нравственной деградации. Ее душа, как колодезный источник, давно обмелела, она пуста и уже не в состоянии восстановиться. Привычка брать, не отдавая взамен, в конце концов, опустошает и разрушает человека.

И все-таки, на мой взгляд, дочерний подход к матери крайне несправедлив, слишком взыскателен, непримирим, что-то есть в нем бесчеловечное не по-божески. Такое устройство взаимоотношений «дочь-мать» и «мать-дочь» — не по мне, не приемлю. Да, не приемлю, но опять же не могу осуждать и авторскую концепцию. Мир вообще устроен страшно несправедливо, его реалии порой чудовищны и внушают опасения. Но это уже другая тема.

Человек — не чудовище, в нем уживается все, и в этом «все» сочетаются в каких-то пропорциях дурное и хорошее, светлое и темное, высокое и низкое. Выпячивание боли за счет другого человека, да, виноватого, но не постороннего, уж слишком кровожадно, по-моему. В литературе, как и в жизни, должно быть сочетание противоречий, нередко абсурдное, но никак не нагнетание одной краски, часто мрачной и убийственной в своей безысходности.

Повторюсь, на мой взгляд, семейная трагедия в повести амбивалентна, т. е. достаточно двойственна и неоднозначна, так как не в меньшей степени затрагивает героиню-рассказчицу. Но когда-то придется выходить из тени тайных наблюдений. Ничто не спасет нашу героиню, никто не поддержит. Даже ее последние откровения и признания перед матерью выглядят несколько беспомощными, словно рассчитанными на оправдание неискушенного читателя.

Героиня достаточно откровенно поведала нам на предыдущих страницах повести о своих внутренних демонах, терзающих ее наяву и во снах. Она сознательно выдает перед нами «скрытое бессознательное». Но мы-то уже все знаем.

Не знаю, которая из этих двух женщин более несчастна, страданий хватило обеим. Им бы друг друга пожалеть, повиниться и простить.

В начале повести героиня разглядывает старую фотографию матери, такой же прием замыкающего кольца повторяется в конце произведения. Героиня находит неизвестные фотографии молодой матери.

Привожу большую цитату, рука не поднимается ее урезать, так хороша отточенная проза А. Браво: «*На пол упали неизвестные мне фотографии моей матери. «Моей матери», — написала я. Но хорошо знакомый мне образ и этот никак не совмещались. Не амбициозная эгоистка, сама Женственность взглянула на меня с тех черно-белых карточек. Брови-ласточки, предгрозовое облако темных волос, капризные пухлые губы, но главное — глаза, вернее, их выражение: мечтательное, доверчивое, беззащитное. Длинное светлое пальто с отложным воротником — и это там, где идеальной одеждой считается «немаркое». Одна ножка в модном ботинке с высокой шнуровкой грациозно отведена назад. Да ей, кажется, идет любой наряд!.. При нас, детях, она никогда не улыбалась, мы не были достойны ее улыбки, от которой, оказывается, сразу же вспыхивает, словно подсвеченное изнутри, пышное облако волос. Простой черный сарафан, тонкий кожаный ремешок вокруг осиной талии, тяжелые косы за спиной — сидит на прибрежном камне сама Ассоль, ожидающая свою единственную любовь; а вот, прижимая к груди букетик полевых цветов, склоняется в шутливом поклоне. И откуда у дочки пьянтоса-моряка такие позы? Крохотный букетик фиалок в волосах... Здесь же она обернулась: детский ясный лоб, глад-*

ко зачесанные назад волосы, лакированная сумочка прижата к большому круглому животу. Отец со счастливым видом поддерживает ее под руку.

Так вот какой она была! И что же с ней случилось?»

Так что же с ней случилось, пытается ответить на этот вопрос героиня. Здесь есть над чем задуматься, и не только героине, но и вдумчивому читателю.

Концовка повести остается открытой. Я люблю такие концовки. Каждый может проникнуться чужой судьбой и трактовать последние слова в силу своих пожеланий и надежд.

«*На моем рабочем столе рядом с компьютером — одна из унаследованных мною фотографий. Это место называется Пески; наша река, совершающая здесь плавный изгиб, похожа на зеркальное дно огромной чаши, краями которой являются высокие, покрытые чистейшим белым песком берега... И вот чуть дальше этой отмели, ближе ко дну чаши на воде покачивается лодка с широкой полосой по борту. В ней сидят мои молодые родители и бабушка, а дед, лихо зажав в зубах папироску, бредет по воде, толкая лодку все дальше и дальше от берега. Моя красивая мать поправляет прическу, на коленях у нее лежит букет только что срезанных кувшинок. Бабушка в простом ситцевом платье с повязанной вокруг головы косынкой не сводит озабоченных глаз с кормы, где мой загорелый отец держит на коленях девочку, очень похожую на него, одетую в матросскую рубашечку и белые сандалики.*

Я хотела бы знать, куда плывет та лодка».

Или, может быть, у колыбели новорожденного уже стоит судьба и знает, куда поплывет эта лодка?..

Ирина ШАТЫРЕНОК



С точки зрения рецензента

«Лістапад»: вчера, сегодня и... завтра



Минский кинофестиваль «Лістапад» — культурное событие со своей историей. Белорусскую столицу сегодня без этого бренда трудно уже и представить. Каждый год в ноябре на протяжении двадцати лет оживает отечественная кинотусовка. Оживает и требовательный зритель, жаждущий открытий. Что-то новое узнает массовый кинозритель. По-другому начинают вести себя журналисты, пишущие о культуре, а соответственно и о кинематографе. Понятным становится, что есть у нас свои, белорусские, кинокритики. Словом, фестиваль — тот фрагмент культурной, да и обыденной тоже, действительности, убеждающий белорусское общество в том, что кино как искусство живо и будет жить.

Лично мне импонирует то, что у нас есть такой «Лістапад». И лично меня раздражают разговоры о том, что наш фестиваль, наши организаторы и пропагандисты отечественного кинопроцесса и все его участники несколько не такие, как в Москве, Каннах и проч. Да, не такие. Но ничуть не хуже, даже если они и не лучше французских, итальянских и американских звезд. У нас есть кино! У нас есть кинозритель, а значит, есть и читатель киноведческой литературы. Сомнений это не вызывает. Такому читателю и посоветуем открыть книгу известного киноведа кандидата филологических наук Людмилы Саенковой «Минский международный кинофестиваль «Лістапад»: 20 лет спустя», недавно вышедшую в «Издательском доме «Звязда». Во вступительном слове к сборнику, под обложкой которого собраны материалы разных жанров, автор замечает: «...Фестиваль — явление праздничное, торжественное, со своими законами, ритмами, драматургией, конфликтами, завязками и развязками. Здесь происходит столкновение мнений, вкусов, критериев, амбиций. И все это ради того, чтобы ощутить, понять, осмыслить не только определенный кино-, но и социальный, и временной контекст. Фестивальные фильмы помогают прикоснуться к большому киноматерику, который для большинства зрителей недоступен, либо непонятен, но всегда притягателен. Кинофестивальное пространство всегда эвристично, оно предлагает новое знание, открывает новые

смыслы, знакомит не только с новыми фильмами, но и с новыми направлениями, стилями, формами, за каждыми из которых стоит автор. Это территория авторских произведений, «штучных» творений. Во времена засилья массового ширпотреба фестиваль утоляет культурный голод и тоску по-настоящему...»

Сергей Артимович, кинорежиссер, директор фестиваля в самом его начале, — один из первых героев книги. Рассказывает, как все начиналось. На самом деле, тогда, в начале пути, сложно было поверить, что из этого действа, во многом основанного на инициативе, на энтузиазме, вырастет традиция и, что уже через несколько лет Минск осенний нельзя будет представить без «Лістапада». Беседа Людмилы Саенковой с Сергеем Артимовичем — это еще и напоминание, что многого можно добиться, если гореть любимым делом. Последующими директорами «Лістапада» были Валентина Степанова (очень длительный отрезок времени — с 1996 по 2008 гг.), Александра Захаревич, Анжелика Крашевская. В разные годы руководителями программ игрового и документального кино являлись Игорь Сукманов, Ирина Демьянова. Беседы со всеми этими людьми, влюбленными в кино, — отражение непростой фестивальной жизни, страницы, которые в чем-то можно назвать и учебником по организации яркого фестивального действа. Иногда в разговоре организаторов возникали и острые темы, звучали серьезные критические нотки. Но этим тексты и интересны... Ведь все мнения имеют значение, когда идет поиск истины.

Основу книги Людмилы Саенковой составляют статьи, посвященные фестивальным фильмам. Интервью, беседы, помещенные в начале, — это своего рода вхождение в материал, предмет разговора. Дальше читателя ожидают встречи со знакомыми, а для кого-то, может быть, уже и забытыми фильмами. И здесь уже появляется своеобразная киноведческая ретроспектива, которая помогает осмыслить кино последних десятилетий как многоплановое явление со своими примечательностями, различными гранями, кино как часть нашей жизни. Обратимся, к примеру, к главе «Смятение чувств», в которой Людмила Саенкова делится своими впечатлениями о кинофильмах 1998 года. Кстати, книга так и построена: все рецензии, отчеты, статьи сгруппированы по годам проведения фестивалей, в них отражены переживания, эмоции, тревоги и размышления о кинематографическом пространстве, охваченном вниманием «Лістапада». В главе «Фильмы, которые нас выбирают» есть подразделы: «Фильм, который выбрали зрители» (о работах «Принцесса на горошине», «Котенок» и «Брат»), «Фильм, который выбрали кинематографисты» (здесь идет разговор о фильмах Альгимантаса Пуйпы «Ожерелье из волчьих зубов», Павла Чухрая «Вор»), «Фильм, который не выбрал никто» («Под кличкой “Ика”» Т. Бекирзаде, «Бег от смерти» В. Дерюгина), «Фильм, который могли выбрать все» («Время танцора» Вадима Абдрашитова). Письмо Людмилы Саенковой — лаконичное повествование, чем-то похожее на кинематографическое действо, размышление о художественном поиске. Этим — ярко очерченным информационным характером — книга тоже привлекает.

В «Смятении чувств» — 1998-й фестивальный год. В главе «Постмодерновый “Лістапад”» на рубеже веков» — как раз и о фильме, который сегодня, наверное, у многих на памяти — «Ворошиловский стрелок». Читаем написанное Людмилой Саенковой по «горячим следам»: «Зрители «Лістапада-99» неожиданно отдали свои сердца «Ворошиловскому стрелку» (режиссер Станислав Говорухин, Россия). Неожиданно, потому что уж очень прямолинейным и однозначным показался этот фильм. Герои четко разделены на хороших-плохих, чужих-своих. Есть в фильме жертва — молодая девушка, на защиту чести которой встает не закон, не государство, а дед-ветеран. Блистательное прошлое ворошиловского стрелка позволяет ему точно попадать в цель, не убивая, а наказывая. Все понятно, просто, очевидно. Но самое замечательное у Ста-

нислава Говорухина как раз именно то, что он точно, просто и понятно предлагает дать выход отрицательной массовой энергии по поводу нынешних «новых», богатых, молодых и наглых. Носилось в воздухе это желание. Выход был найден. В качестве наглых негодяев — не замусоленные люмпены, а роскошно пьющие, жующие, недообразованные «новые». А в роли того, кто вершит возмездие, — человек с честно отработанным советским прошлым, пожилой и благообразный. Этот фильм четко расставленных типажей, точно подмеченного злободневного конфликта и вечного противостояния отцов и детей...» Рецензии Людмилы Саенковой носят характер разговора о кино как социальном явлении. Нет, точнее — о кинематографическом осознании нашей жизни во всех ее проявлениях. Возможно, не всегда автор уделяет много внимания игре отдельных актеров. Но зато у читателя появляется четкое представление о том, насколько кино умеет подмечать нашу жизнь, вскрывать те или другие общественные проблемы. Кино и жизнь — вот главный предмет разговора в книге Людмилы Саенковой о фестивале «Лістапад».

Знакомство с этим изданием подтолкнуло к некоторым размышлениям об отечественном киноведении. У нас очень немного книг, отражающих процессы в современном кино. Иногда складывается впечатление, что кинокритика вообще ушла в тень. Возможно, отчасти виноваты в этом и отечественные масс-медиа. Тема кино как многопланового культурного явления как-то уходит со страниц газет и журналов. Не так часто встретишь рецензии на новые фильмы. Немногие отечественные фильмы рассматриваются в сравнении с работами кинематографистов соседних стран. Редко пишут и о проблемах, связанных со сценарной работой. Одними интервью с актерами, иногда — с режиссерами, проблему не решишь. Людмила Саенкова уже многие годы выступает настоящей подвижницей, рассказывающей о белорусском кинотворчестве. Книга о «Лістападзе» — убедительное тому подтверждение.

***Сергей* МИРНАРЛИЕВ**



С точки зрения рецензента

Все говорили, но молчал ковыль

Странная судьба у этой книги.

Лет тридцать назад в Брянской писательской организации мне предложили написать отзыв на рукопись, пришедшую по почте неизвестной мне Елены Дзюсе. Услышал фамилию и отказался. Дело в том, что незадолго до этого я читал «Дневники» Эжена Делакруа и в них частенько мелькало: «Обедал у Дзюсе». Меня раздражало такое чрезмерное внимание великого маэстро к пище. Подумаешь — событие. И этот Дзюсе... случайно попавший в историю.

Но, перелистывая рукопись, наткнулся на строчку: «Все говорили, но молчал ковыль». Она меня заинтересовала. О чем, собственно, он молчал? Короче, передумал. Взял рукопись. На следующий день вернул ее с восторженной рецензией. Оказывается, и в наше бездарное время существует поэзия. Сравнивал начинающую поэтессу с Цветаевой, Ахматовой...



Руководитель писательской организации в свою очередь ознакомился со стихами и согласился с моим мнением: да, случилось неожиданное. Надо издавать.

При встрече с Еленой Дзюсе я, между прочим, осведомился: откуда у нее такая ненашинская фамилия?

«Я подписалась фамилией деда, — был ее ответ. — Он выходец из Франции».

Я почувствовал, что жизнь втягивает меня в новую историю. Меня заинтересовали не только стихи, но и судьба Елены. Ну, ладно, с дедом разобрались. Он всего лишь однофамилец и никакого отношения к известному Делакруа не имеет. А бабка? Наверно, в ее судьбе было тоже что-то необычное? Бабку Елена застала в живых. Слышала ее рассказы о репрессиях. В лагерь, находившийся у Караганды, она угодила как иностранка. Ее двенадцатилетняя дочь оказалась на улице. Однажды ее, прячущуюся под скамейками на вокзале, заметил милиционер. Сжалился над девочкой. Взял в свою семью. Во время войны она была угнана в Германию. На фарфоровой фабрике вкалывал весь интернационал, вернее, вся Европа. Кроме немцев, трудились здесь французы, бельгийцы... Но больше всего было рабынь из Украины.

Отец Елены — потомственный казак из Усть-Медведицкой. Теперь

Серафимовичи. Сапер. Нянчил на руках неразорвавшиеся снаряды в кузове полуторки. Может быть, от этого был у него взрывной характер.

Елена закончила школу в Новозыбкове с золотой медалью. Брянское художественное училище — с красным дипломом. Поступила в Институт им. Репина. Но дальше все пошло наперекосяк. Неудачный брак. Особенно, на взгляд родителей, желающих добра своей единственной дочери. Муж был старше Елены почти вдвое. Его дважды пришлось вытаскивать из психушки. Отправили его туда за поэму о неслучившейся еще катастрофе на Чернобыльской АЭС. О близящейся гибели СССР. Кому была нужна такая правда в то время? Да и кто бы ей поверил? Трясся от звонков академик, защищенный мировой славой. Нет, не Сахаров. Другой... Писатель Конецкий хотел помочь. Расспрашивал. Но когда услышал, что аресты никак не связаны с алкоголем, отступился. Понял — политика. С КГБ не сладишь. В это сложное время неожиданно поддержали опального поэта В. П. Астафьев, Б. Куликов и журнал «Смена», в котором появились стихи, сделавшие невозможным третий арест. Институт Елене пришлось оставить. С больной матерью, которой было под девяносто, она оказалась на Гомельщине. В лесной деревушке у озера Глушец, где прошло детство бывшего мужа, с которым она наконец рассталась.

Дальше было как в горячечном бреду или в поэме опального поэта. Чернобыль. Развал СССР. Перестройка. Стихи остались в прошлом. Как посторонняя, издали наблюдала: ее не слишком даровитые ровесницы наперебой печатались. Бегали по презентациям. Окунались в так называемую литературную жизнь. Постепенно добивались какой-никакой известности. В ее судьбе многое произошло, уводившее от живописи, поэзии. Все дальше. Дальше.

Умер отец. В последнее время засобирался на Дон. Остались гармошечка да отголосок оборванной песни: «По Дону гуляет...»

Правда, на новом месте, в Старых Дятловичах, ей нравилось. Шум сосен, кукушка, обещающая всякое разное...

Но вернемся к книге, выхода которой ждали тридцать лет. Поэтесе удалось главное — вдохнуть в книгу огромность страны.

У русского человека всегда за душой простор. За каждой судьбой — немереная даль.

И позовет меня седая быль.
Погонит прочь из городов постылых.
Вслед за конями дикого Батыя.
С собой на север увезу ковыль.

В ее «Ковыле» запрограммирована будущая судьба. В том числе Чернобыль. Это ведь ее Новозыбков накрыла радиация.

Дон она увидела мельком. Таким.

Пьяный босой казак с всклокоченной головой. Рубаха распояской. Нет в нем прежнего достоинства.

А что увидела на Полесье?

Деревеньки уходят в погост,
На погостах трава высока.

Это не бунинская золотая печаль увяданья с запахом антоновских яблок. Не блоковская Россия, увиденная сквозь слезы первые любви.

Зашифровала будущую судьбу в «Ковыле» и никуда от нее не денешься.

Когда тебя по логике нелепой
Чужой молвы закон осудит слепо
И тратить доводы ты будешь зря —
Ты вспомни про молчанье ковыля,
Седого ковыля придонской степи.

У каждого русского поэта свой образ России.

Твоя древняя слава оплевана.
После стольких кровавых потерь
Опозорена и разворована.
Ну так что, тебе лучше теперь?

Узнаете сегодняшнюю Россию? А ведь это сказано тридцать лет назад.

Эти стихи не из тех, какие мельком прочтешь, мысленно отметишь: «Не хуже, чем у людей». И больше к ним не возвращаешься. Нет, с ними сживаешься, перечитываешь, откры-

вая в них новую глубину. Они обладают притягательностью. Уже знаешь наизусть многие строфы и все-таки опять перелистываешь, думая, что, может быть, что-то упустил, и что вот-вот откроется нечто новое, значительное. Порой хочется пожить в атмосфере стихотворения. И каждый раз — это новый мир. Словно впервые различаешь: «Хлеб на столе. И всего-то осталось от жизни несколько яблок на синей садовой скамейке». Разве можно это забыть?

Многие стихи Агиной, если не все, минорного звучания. И краски она выбирает приглушенные.

Ох, эта долгая, долгая осень.
На крутояре очесок стожка.
В межах подмерзших поклоны бьет オземь
Пыльно-лиловый репейник платка.

Обратите внимание на язык. Где выкопала она эти слова? В генной памяти? Не так просто обстоит это богатство.

И за что ты, Россия, подкидыша
Польши, ливов, татарских кровей
Обрекла меня жизнь мою выдышать
Над проклятой судьбою твоей?

Вспомним В. Ходасевича, тоже подкидыша, который много дал русской поэзии.

С удивительной свободой написаны многие стихи Агиной, но даже среди них выделяются «Сорока на обломанном суку», «На окраине города...»

Пес залаял бродячий,
Трусящий за пьяницей старым,
Да червивое яблоко
Под ноги в пыль упадет...

Узнаешь, где-то рядом Гомсельмаш, легендарная Балбесовка, у которой толпятся алкаши. Всюду жизнь, и не всегда она показушная, как Славянский базар ...

В ее стихах нет убаюкивающей монотонности. Всегда присутствует интонационная точность, безошибочность выбора. Иногда стихи напоминают ворожбу:

Разожги огонь, разожги в печи.
Я приду босой из ночи.

Выбор интонации очень важен. Недаром Роберт Бернс признавался, что сначала приходит к нему мелодия.

Талант редко дается один. Если с неба дается, то много. Часто в придачу к поэтическому дару дается живописный. Пушкин, Лермонтов, Шевченко, многие другие поэты обладали талантом художника. Елена — отличный график. Это видно по оформлению собственной книги. Дар воображения позволяет ей разглядеть где-то в Японии на заснеженной террасе забытый кем-то веер. Шелк потемнел, и сквозь снежок проступает узор цветущей сливы.

Она любит японскую поэзию X—XII веков.

Напоследок одно ее стихотворение приведу целиком:

Настанет день — усталая душа
Земной одежки ветошь отряхнет
И налегке, босая, не спеша
С осенней стаей тронется в отлет.

А то, что здесь на утренней земле
Вдыхало жизнь, болея и любя,
В песке среди каменьев и корней
Останется, не ведая себя.

Под кряжистой, смолистою сосной,
Не под крестом... Оборони мой Бог.
С цветущих трав, что прежде были мной,
В июне пчелы соберут оброк.

И в каждой капле — солнечный настой
Бессмертника, полыни, чабреца...
С ушедшей жизнью звездною пыльцой
Смешается цветочная пыльца.

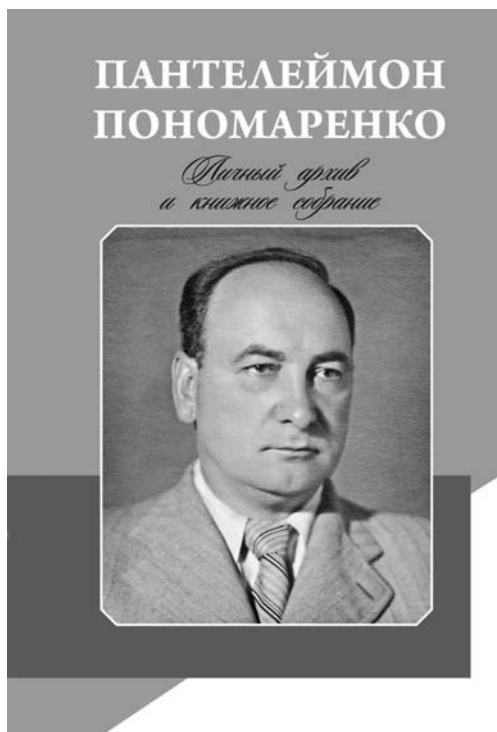
Неспешно солнце тенью от сосны
Земных часов отсчитывает ход.
Снуют стрекозы, навевая сны,
И стадо реку переходит вброд.

По моему глубокому убеждению, тридцать лет назад в русскую поэзию пришел настоящий поэт.

Юрий ФАТНЕВ

С точки зрения рецензента

Уникальное издание



Вынесенное в заголовок название — отнюдь не гипербола, к которой автор рецензии прибегает с целью привлечь внимание читателей к недавно увидевшей свет книге «Пантелеймон Пономаренко: личный архив и книжное собрание».

Дело в том, что это издание являет собой едва ли не единственный пример (если не считать «Библиотеки В. И. Ленина в Кремле: Каталог». М., 1961) издания каталога личной библиотеки государственного деятеля, к тому же дополненного описанием его личного архива (последнее — вообще уникальный случай!). Читатель привык иметь дело с описаниями книжных и рукописных собраний ученых, писателей, художников, для которых личные библиотеки и архивы — инструмент их научной и творческой деятельности, впоследствии служащий важным источником для изучения этой самой деятельности (особенно в тех случаях, когда речь идет о выдающихся представителях культуры); но вот чтобы личные библиотеки и архивы политических и государственных деятелей становились объектом изучения...

Рецензируемый каталог подготовлен совместными усилиями представителей архивных, библиотечных и музейных учреждений Беларуси и России, в которых хранится некогда составлявшее единое целое, а ныне рассеянное архивно-книжное собрание П. К. Пономаренко. Среди составителей каталога — сотрудники Национального архива Республики Беларусь, Российского государственного архива социально-политической истории, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, Государственной публичной исторической библиотеки России, Президентской библиотеки Республики Беларусь, Национального исторического музея Республики Беларусь, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

В каталоге приводится научное описание личного собрания П. К. Пономаренко (1902—1984), бывшего в 1938—1947 гг. первым секретарем ЦК КП(б)Б и в 1944—1948 гг. Председе-

дателем Совета министров БССР. Оно представлено хранящимися в фондах РГАСПИ 108 делами личного фонда Пономаренко за 1946—1981 гг. и 71 делами за 1930—1950, 1981—1982 гг. в НАРБ. Среди документов фондов — письма в адрес П. К. Пономаренко, докладные записки, копии донесений, подготовительные материалы (рукописи, выписки из печатных изданий) по истории партизанского движения, доклады, выступления, статьи, собранные им документы по истории Великой Отечественной войны, западной Беларуси, фотографии. Описание письменных документов дополняется хранящейся в БГАМЛИ его коллекцией фотографий в количестве 29 дел. Архивная часть каталога дополнена перечнем находящихся в различных хранилищах Минска и Москвы книг из личной библиотеки П. К. Пономаренко, в которых наряду с библиографическим описанием приводятся и имеющиеся владельческие (дарственные) записи (это особенно важно для изучения характера отношений авторов книг с тем, кому они надписывались), печати, а также указания на места их хранения. В каталоге публикуется также описание экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью П. К. Пономаренко и хранящихся в БГМИВОВ.

Но в начале несколько слов о том, чье книжное и архивное собрание выступает в качестве объекта описания. Для людей старшего, да и среднего возраста эта личность не требует особого представления. Его имя носит одна из улиц столицы Республики Беларусь; есть улица П. К. Пономаренко и в Могилеве; мемориальная доска в честь него открыта в 1980-е гг. на фасаде «мемориального дома» на углу ул. К. Маркса и В. Ленина в Минске. В годы Великой Отечественной войны имя начальника Центрального штаба партизанского движения было присвоено 5 партизанским бригадам и 16 партизанским отрядам, действовавшим на оккупированной территории Беларуси.

Заглянув в современные электронные средства коммуникации, обнаружим там наряду с общеизвестными биографическими сведениями о Пономаренко и оценочные характеристики, выраженные порой носящими некий налет сенсационности определениями типа: *«преемник Сталина», «объединитель белорусских земель»* и т. п. Заметим, кстати, что подобные характеристики не подкрепляются основательными источниками, а потому едва ли могут приниматься во внимание серьезными исследователями.

Не ставя задачей в рамках настоящей статьи-рецензии исследовать деятельность «первого лица Беларуси», каким являлся П. К. Пономаренко в 1938—1948 гг., отметим лишь, что это была достаточно противоречивая личность. В нем проявлялись, с одной стороны, качества выдающегося организатора, призванного восстановить обескровленный репрессиями 1930-х гг. кадровый потенциал республики; с другой же стороны, он не мог не быть сторонником продолжения той же репрессивной политики (хотя и в более «мягкой» форме, поскольку изменилась ситуация), которую проводили его предшественники. Обладавший острым природным умом и выработанным политическим чутьем, П. К. Пономаренко иногда демонстрировал вопиющие проявления дилетантизма. Это особенно заметно на примере его общения с представителями интеллигенции вообще, гуманитарной, в частности.

Так, и полгода не проработав в Беларуси, 21 ноября 1938 г. П. Пономаренко направляет на имя И. Сталина записку «О белорусском языке, литературе и писателях», в которой, проанализировав (?! — **М. Ш.**) «контрреволюционную деятельность белорусских нацдемов» в сфере языкознания, литературы, истории, делает вывод о целесообразности «начать... большую работу по очистке белорусского языка от всех насажденных полонизмов, искусственно придуманных и издевательских слов и терминов», «решительно очистить литературу от произведений с национал-фашистской контрабандой». В заключение автор записки просит адресата дать совет о том, что делать с Янкой Купалой и Якубом

Коласом, на которых, с одной стороны, имеется достаточно «изобличающего их материала», чтобы арестовать и привлечь к суду как «врагов народа», но с другой стороны, учитывая их известность и авторитет, он считает возможным попытаться «использовать... [их] в целях разложения группы, отрыва наиболее честного и ликвидации остатков нацдемовщины».

Наверняка, мы так никогда и не узнаем, существовала ли эта история о замене ордеров на арест Янки Купалы и Якуба Коласа орденами для них. Или это миф, созданный в окружении «вождя всех времен и народов» и призванный в очередной раз восславить его мудрость? Сам П. Пономаренко предпочитал не распространяться на этот счет. Поэтому можно полагаться лишь на некие косвенные свидетельства лиц, с которыми он общался, будучи уже в преклонном возрасте и находясь не у дел. Мы имеем в виду рассказы историка Г. Куманева, государственного деятеля К. Мазурова и др. Если верить воспоминаниям бывшего в 1970-е гг. заведующим партийным архивом Института истории партии при ЦК КПБ С. З. Почанина, с которым неоднократно общался работавший в 1976—1978 гг. в архиве над своими мемуарами П. К. Пономаренко, нечто подобное имело место быть. В частности, Почанин со слов Пономаренко писал, что к последнему осенью 1938 г. приходил нарком внутренних дел А. Наседкин и просил дать санкцию на арест Янки Купалы и Якуба Коласа. В ответ на это Пономаренко рекомендовал не спешить, поскольку он должен согласовать данный вопрос с Москвой.

«Я стал добиваться приема к Сталину. Вскоре прием состоялся. Сталин был в хорошем *состоянии* [sic. — **М. Ш.**]. Выслушав мои аргументированные доводы о белорусских писателях, — сказал Пономаренко, — Сталин неожиданно для меня ответил: «Если так, то их надо наградить, а не арестовывать». Вскоре после этого группа белорусских писателей была награждена орденами. Так спаслись они от репрессий, видные белорусские писатели: Янка Купала, Якуб Колас, Михась Лыньков и другие, — сказал Пономаренко».

Что касается исторической науки, то здесь объектом своей критики П. К. Пономаренко избрал одного из наиболее авторитетных историков, занимавшихся изучением истории Беларуси периода Средневековья и Нового времени — В. И. Пичету. Последний, как известно, после возвращения в 1935 г. из ссылки хотя и не проживал в Беларуси, тем не менее, поддерживал научные контакты с ее Академией наук. Накануне войны ему было возвращено звание действительного члена Академии наук БССР, которого он был лишен в связи с арестом в 1930 г. Находясь с осени 1941 г. в эвакуации в Ташкенте (здесь пребывали союзная и белорусская академии наук, равно как и МГУ им. М. В. Ломоносова) В. И. Пичета принимал участие в работе не только союзной Академии наук (членом-корреспондентом которой он был избран в 1939 г.), но и белорусской Академии наук, хотя деятельность последней оценивал достаточно критически. Рецензируемый каталог зафиксировал нахождение трех работ ученого по истории Беларуси, написанных им в 1924—1927 гг., в библиотеке П. Пономаренко.

С подачи секретаря ЦК КП(б)Б по пропаганде Т. С. Горбунова научная деятельность В. И. Пичеты в области изучения истории Беларуси интерпретировалась как «буржуазно-националистическая». Выступая на заседании бюро ЦК КП(б)Б 28 октября 1946 г., П. К. Пономаренко отмечал, что «мы не можем в настоящее время пройти мимо прошлых трудов Пичеты по истории Белоруссии ввиду абсолютной неприемлемости и враждебности концепций, составлявших основу этих трудов...»

Полутора же годами ранее, обращаясь к участникам пленума ЦК ЛКСМБ (29 марта 1945 г.), П. К. Пономаренко с учетом, вероятно, аудитории, примитивно-просто, если не сказать больше, знакомил слушателей с концепцией истории Беларуси в изложении В. И. Пичеты: «Белоруссия жила счаст-

ливо в союзе с Литвой, что это был ее золотой век. Потом пришли русские и оккупировали Белоруссию. Вы понимаете? Ягелло — это друг, там было содружество, а русский — это оккупант. Дальше, польский король Сигизмунд Август выставляется великим другом белорусского народа. После таких выводов Пичету немного подержали в тюрьме, потом его выпустили».

Аналогичная критика ученого со стороны П. К. Пономаренко имела место и на февральском пленуме ЦК КП(б)Б 1945 г., на котором первый секретарь ЦК потребовал создания марксистской истории белорусского народа, призванной возбудить его национальную гордость, «показать его путь от эпохи первобытнообщинного строя, в борьбе с иноземными захватчиками и классовыми врагами, во взаимодействии и дружбе с великим русским народом и украинским народом к счастливой сталинской эпохе».

Вероятно, занятия П. К. Пономаренко историей Беларуси, которые не могли не повлиять на состав его личного книжно-архивного собрания, носили не только «профессиональный» характер. Да, безусловно, в конце 1930-х гг., после разгрома так называемой «школы Покровского», после принятия известных документов ЦК ВКП(б) и СНК СССР о преподавании гражданской истории в вузах и средних школах, истории как науке не могли не придавать важного политического значения. Разумеется, первый секретарь республиканской партийной организации не мог не держать под своим контролем все, что было связано с написанием учебников по истории Беларуси, с выработкой ее концепции. Но помимо этого было, очевидно, у 36-летнего «технаря» (в 1932 г. Пономаренко окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта) и собственное желание познакомиться с историей республики, руководить которой поручил ему всесильный «Хозяин». Такой вывод можно сделать, опираясь на некоторые документы, составленные незадолго до того, как Пономаренко оставил Беларусь. В частности, реагируя на решение комиссии АН БССР выдвинуть его в состав действительных членов Академии по истории, П. Пономаренко писал также выдвигавшемуся в академики секретарю ЦК по пропаганде Т. С. Горбунову: «Очень тронут таким актом со стороны товарищей, выдвигающих в академики, но должен заявить, что это преждевременно. Товарищи осведомлены о моих работах по истории и их характере, но я ведь еще ничего не выпустил, и поэтому для многих это будет непонятно».

Трудно сказать, было ли это проявлением скромности (заметим, что в свое время В. И. Ленин также отказался от избрания в Социалистическую академию, объясняя это невозможностью из-за болезни активно работать, а быть фиктивным членом он не мог) или имело значение мнение «многих», и прежде всего того, кто направил его в Беларусь.

Возвращаясь к рецензируемому изданию, отметим, что оно важно не только по причине эксклюзивности субъекта архивно-библиотечного описания или ввиду того, что будет содействовать подготовке научной биографии П. К. Пономаренко (на последнее обстоятельство обращается внимание в аннотации книги, размещенной на сайте НАРБ). Его значение следует рассматривать и в более широком историко-культурологическом аспекте. Книга, на наш взгляд, позволяет обратить внимание на такие проблемы белорусского государства и общества 1930—1940-х гг., как «интеллектуальный уровень советской политической элиты», «отношения власти с представителями культуры» и др. Эта книга любопытна и в архивоведческо-книговедческом аспекте. Она в очередной раз демонстрирует незавидную судьбу личного архивно-книжного собрания, распыленного между рядом архивных, библиотечных и музейных учреждений нескольких стран после смерти его создателя. Рецензируемая книга являет собой достаточно успешный пример виртуальной реконструкции *фрагмента* некогда единого архивно-книжного собрания человека, возглавлявшего Беларусь в не самый про-

стой период ее истории. Вдумчивый исследователь найдет в ней ответы на многие вопросы из области социальной, политической истории, истории культуры Беларуси.

И в завершение статьи-рецензии об этой уникальной книге, не могу не отметить инициатора ее подготовки, светлой памяти Виталия Владимировича Скалабана (1947—2011). Только благодаря его энергии и авторитету в архивно-библиотечно-музейных кругах Беларуси и России удалось свести воедино (хотя бы и виртуально!) рассеянные по хранилищам двух этих стран документы (в широком понимании данного термина) государственного деятеля Беларуси. Уже будучи тяжело больным, он не переставал интересоваться подготовкой издания книги. Автор этих строк вспоминает, как вернувшись в конце июня 2011 г. из Брянска, где участвовал в работе научной конференции, организованной местным университетом, позвонил Виталию Владимировичу с тем, чтобы поделиться впечатлениями от конференции. Особый интерес у В. В. Скалабана вызвала информация о том, что в Брянском мемориальном музее «Партизанская Поляна», который посетили участники конференции, находятся написанные художником Ф. Модоровым портреты брянских партизан — Героев Советского Союза. Виталий Владимирович оживился, начал рассказывать о художнике, чьи «партизанские картины» имеются также и в собрании П. Пономаренко и войдут в готовящийся каталог. Увы, ему не удалось увидеть его изданным. 20 августа 2011 г. Виталия Владимировича не стало...

Михаил ШУМЕЙКО



С точки зрения рецензента

О не самой скучной книге и шоколаде, который то ли черный, то ли горький...

Не знаю, у всех так происходит с возрастом или это мое личное, индивидуальное... но в последнее время документальную прозу явно предпочитаю художественной (а раньше наоборот было!).

Художественную, вроде как читать интереснее, там из ничего такой сюжетик закрутить можно! А в документальной что?

А в документальной — вся наша история, все прошлое наше общечеловеческое. Далекое и близкое, хорошее и плохое, трагическое, нередко кровавое... но наше! И ты, читая о нем, словно с вечностью соприкасаешься, словно на невидимой машине времени переносишься из своего настоящего в те далекие времена...

Но это, как говорится, вступление...

Передо мной новая книга «Издательского дома «Звязда», выпущенная к 70-летию журнала «Маладосць». Название ее — «Скрозь “Маладосць”, а еще у нее есть подзаголовок «Не самая сумная кніга пра грошы, чорны шакалад, пісьменнікаў і літаратуру»...

Название интригующее, сразу же захотелось прочитать эту книгу. Особенно после того, как познакомился с предисловием, написанным составителем ее, нынешним главным редактором журнала «Маладосць» Светланой Денисовой. Интересное предисловие, оригинальное... особенно пришлась мне по душе следующая фраза:

«Читай, как нравится, читатель, — пишет Светлана Денисова. — Она написана для тебя — книжка, что в твоих руках, — и далее добавляет. — Ты можешь читать ее даже вверх ногами — она не сделается от этого менее интересной.»



Читать вверх ногами я, разумеется, не рискнул, но...

Может, это покажется кому-то странным и даже не совсем логичным, но начал я чтение с последнего, четвертого раздела книги, который называется несколько бюрократически: «Пратаколы».

Почему именно с «Пратаколаў»?

Не знаю, почему именно... но, читая их, я вдруг словно сам очутился в той отдаленной эпохе. 1968 год... 1967 год...

Год одна тысяча девятьсот шестьдесят третий...

Господи, да я в то далекое время еще только школьные азы осваивал (с разной степенью успешности), о большой литературе и не помышлял вовсе, а литературный процесс в республике шел полным ходом! Собирались, спорили, обсуждали...

И осуждали, отбраковывали... иногда то даже, что сейчас уже классикой белорусской литературы считается...

Стихи Бородулина отвергнуты как идейно незрелые, из стихотворной подборки Короткевича — лишь два признаны годными для печати. Рассказ Быкова, вроде и хороший, но какой-то там гуманизм непонятный... (это из протокола от 04.04.1963 г.)

И уже тогда волновали проблемы тиража. К примеру, у российской «Юности» — 600 тысяч экземпляров тираж, а у нашей «Маладосці» — всего только восемь (эх, сейчас бы эти восемь тысяч!)... значит, недоработки! Срочно исправлять нужно! Встречи с читателями организовывать, качество публикаций всячески улучшать...

Интересно читать все это сейчас, очень даже интересно!

Или вот в протоколе заседания редколлегии от 11.12.1963 г. самое первое упоминание о новой повести Владимира Короткевича: «...аповесць У. Караткевіча пра Стаха, на гістарычную тэму».

А в протоколе от 17.11.1965 г. читаю следующее: «Нас критиковали, что мы напечатали «Дзікае паляванне караля Стаха», а читатели единодушно поддерживают...»

Два коротеньких сообщения, а между ними рождение одного из самых самобытных и талантливейших произведений белорусской литературы!

Впрочем, кроме раздела «Пратаколы», в книге «Скрозь “Маладосць”» имеются еще три («Размовы», «Разважанні», «Успаміны»). Читать их тоже чрезвычайно интересно: там и история, и юмор, и даже встречаются... почти детективные сюжеты!

Не верите? Откройте тогда страницу 145. Там Казимир Камейша вспоминает о частых переездах редакции «Маладосці» в бурные перестроечные времена. Из здания ЦК комсомола — в Дом печати, оттуда — в Дом прессы... потом аж на проспект Машерова, в Дом книги... и вновь в Дом прессы...

И вот во время этих изнурительных переездов очень многое было потеряно, и в том числе бесследно исчезло так называемое «машеровское кресло», которым редакция очень дорожила. «Я, правда, немного догадываюсь, в чьи руки оно могло попасть, — многозначительно заканчивает свою мысль Казимир Камейша. — Но музейный покой ему, кажется, не гарантирован».

Вот вам и завязка детективного сюжета! Куда же оно подевалось, знаменитое это кресло? И почему Камейша, вскользь намекнув о своей догадке, ничего более конкретного так и не сказал?

А всего через несколько страниц в воспоминаниях Алеся Комаровского нахожу развязку. На даче у него, оказывается, это кресло стоит, да еще и тщательно отреставрированное!

А если серьезно, то все разделы книги читаются на одном, как говорится, дыхании. И интересная (хоть и спорная) мысль Татьяны Сивец, что среди нескольких сильных произведений можно дать в журнале и парочку произведений послабее, чтобы авторы могли сравнить и анализировать. И не менее интересное (и не менее спорное) утверждение Петра Васюченко, что, дескать, хорошим поэтом можно стать и в самой ранней юности, такого же качества прозаиком — лишь к годам тридцати, а настоящими драматургами и вообще только после сорока лет становятся.

Или взять, к примеру, воспоминания Василя Гигевича. Вот он перечисляет темы, на которые в то время (не такое уж от нас и отдаленное) писать не рекомендовалось. Не то, чтобы открыто запрещалось, но...

И тут же вспоминает, как в редакции появлялся разгневанный Владимир Короткевич и сверкал глазами на «душыцеляў прыўкраснага пісьменства». И как заведующий отделом прозы Владимир Домашевич умел его

успокоить своим спокойным и благожелательным тоном...

Кстати, у самого Владимира Домашевича мне больше всего запомнились его теплые слова о коллегах по работе в «Маладосці», и, отдельно, о трагически ушедшем из жизни талантливом поэте Викторе Стрижаке, «атручаным чарнобыльскім стронцыем і жорсткай нашай рэчаіснасцю»...

Впрочем, и десяти страниц не хватит, если начать подробно перечислять все то, что запомнилось (и понравилось) в этой необыкновенной книге!

А вот что запомнилось и понравилось больше всего?

Трудный вопрос...

То, как Анатоль Козлов копил деньги на квартиру, откладывая их в... рабочий сейф Янки Сипакова?

Или то, как здорово умела выдавать поэтические экспромты Евгения Янищиц прямо на... картофельном поле?

А может, история о том, как здорово разыграла Валентина Кадетова такого непревзойденного мастера розыгрышей, как Алесь Комаровский... неожиданно признавшись ему в любви?

И как таинственный и весьма плодовитый в свое время писатель-юморист Степан Даймак оказался неожиданно... единым в трех лицах (**Степан** Кухарев, Леонид **Дай**неко, Пятрусь **Мак**аль)?

И так далее...

Это же можно сказать и о воспоминаниях Генриха Далидовича, по сравнению со многими другими, занимающими две, от силы, четыре странички, довольно объемных, в чем-то, может быть, излишне резковатых, но таких искренних...

Особо хочется отметить воспоминания дочери Валентина Ждановича Валерии о своем отце... Это даже не воспоминания, а небольшие, талантливо написанные новеллы.

А сколько всего (и боли, и теплоты) вместилось на двухстах шестидесяти восьми страницах «не самой скучной книги»! Боли за безвременно ушедших коллег и товарищей, теплоты в воспоминаниях о совместной с ними работе в журнале...

Вот из-за всего этого я и люблю читать документальную прозу! Но только настоящую, живую, жизненную... а не приукрашенные (а часто и насквозь лживые) мемуары.

А книгу «Скрозь “Маладосць”» я читал, сообразуясь с советом на самых первых ее страницах, под нетерпеливое «сербанне» (классное слово, даже не захотелось его переводить!) горячего свежесваренного кофе с черным (именно с черным!) шоколадом. И хватило мне этой чашечки кофе и этой шоколадной плитки аж до страницы тридцать девятой...

А там...

А там, именно на этой странице — воспоминания о работе в «Маладосці» бывшего главного редактора (девятого по счету) Татьяны Сивец, которые озаглавлены «Пад каву з горкім шакаладам»...

Геннадий ГЛЕБОВ



Литературное содружество

Максим Танк и Куба

Незаурядная личность классика белорусской советской поэзии, народного поэта Беларуси Максима Танка, и сегодня привлекает внимание читателей. Продолжают издаваться его произведения, завершен выпуск 13-томного Собрания сочинений, подготовленного Институтом языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной Академии наук Беларуси. Такое общественное, читательское внимание далеко не случайное. В этом кроется признание не только творческих заслуг великого поэта, но и осмысление его непростого жизненного пути.

Родился Максим Танк (настоящее имя — Евгений Иванович Скурко) 17 сентября 1912 года в деревне Пильковщина Вилейского уезда Виленской губернии. Теперь Пильковщина находится в составе Мядельского района Минской области. В 1921—1939 гг. эти места входили в состав буржуазной Польши. Беларусь была разъединена на две части. В 1932 году юный Женя Скурко начинает активно сотрудничать с нелегальной коммунистической печатью, публикует свои первые стихотворения, вступает в комсомол. В 1936 году его принимают в члены Коммунистической партии Западной Беларуси.

Неоднократно поэта арестовывали. В виленской тюрьме при поддержке товарищей Максим Танк издавал рукописный журнал «Краты» («Решетка»). В 1939 году Западная Беларусь воссоединилась с Белорусской Советской Социалистической Республикой. Начали издаваться новые книги Максима Танка. В 1948 году за сборник «Каб ведалі» поэт отмечен Государственной премией СССР (тогда она называлась Сталинской). В 1978 году Максим Танк стал лауреатом Ленинской премии за книгу поэзии «Нарачанскія сосны». Долгие годы поэт возглавлял Союз писателей Беларуси, ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Умер Максим Танк в 1995 году, 7 августа.

Занимая активную гражданскую позицию страстного борца за утверждение идеалов свободы, равноправного существования в обществе и мире, Максим Танк много сил и стараний отдал укреплению литературных связей Беларуси с другими странами и народами. Одиннадцатый том Собрания сочинений Максима Танка свидетельствует о широких переводных интересах художника слова ко многим литературам. В том числе — и к кубинской. К сожалению, на Кубе белорусскому поэту не удалось побывать. Хотя, вероятно, шансы открыть новую страну, новый народ у литератора были, вот и в дневнике его за датой 13 октября 1987 года читаем следующую запись: *«...звонили из СП из Москвы. Агитировали ехать на Кубу, отказался...»* За этим лаконичным «отказался» — многие причины. И возраст почтенный — уже 75 лет исполнилось... И жена болеет, и хлопот дома, в Беларуси, немало. Время было шатким: перестройка, крушение многих идеалов, разрушение устоявшегося порядка, тревога в ожидании грядущих перемен. Вот если бы раньше пришло такое приглашение. Надеюсь, что именно так и думал белорусский поэт...

В 1986 году в Минске увидела свет антология кубинской поэзии на белорусском языке — «Тытунёвая кветка». Составитель — Карлос Шерман. Среди переводчиков — и народный поэт Беларуси Максим Танк, впоследствии эти переводы войдут в уже упомянутый 11-й том Собрания сочинений. Чья же поэзия привлекла внимание белорусского стихотворца? Максим Танк перевел три стихотворения Альберта Элисео: «Донна Берта идет снова с цветами своими», «Ночь», «Теплый хлеб». Творчеству самого Танка особенно очень созвучно последнее произведение. Сюжет его достаточно прост, есть теплый хлеб, он дышит, будто живой, его крошки пришли из ракушек. Хлеб — это солнце еды. И друг у поэта — пекарь, он мешает тесто, создает хлеб, который вдохновляет поэта. А художник мешает слова благодарности за хлеб и создает стихотворение. У самого Максима Танка многие стихотворения посвящены хлебу. А одна из поэтических книг так и называется — «Мой хлеб надзённы».

В Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства хранятся автографы переводов. Работа над перевоплощением стихотворения кубинского поэта о Донне Берте датирована 1982 годом. Так и написано: «Нарочь, август 1982...» Нарочь — озеро у родной Танку деревни Пильковщина. Другие стихотворения датируются 1986 годом. Точнее, даты на автографах нет. В 1986 году они впервые были опубликованы.

В «Тытунёвую кветку» вошли и другие переводы Максима Танка. У кубинского поэта Мишеля Барнета белорусский мастер выбрал следующие произведения: «Есть люди», «Родина», «Революция», «Стол накрыт», «Тула». Кстати, все автографы без даты, за исключением автографа перевода стихотворения «Тула», над ним Танк работал в августе 1982 года на Нарочи. А вот автографы переводов трех стихотворений поэтессы Ненси Морехон все отмечены датой и местом работы: «Нарочь, август 1982 г.» Из Ненси Морехон Танк перевел «Негритянку», «Впечатления», «Размышления в полдень о тех, кто погиб на Плайя Хирон».

Переводческому интересу Максима Танка к кубинской поэзии способствовали многие факты его жизненной, творческой биографии. В 1960 году белорусский поэт вместе с представительной делегацией участвует в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Еще по дороге — а добирались в США на корабле через Атлантику — Танк записывает в своем дневнике: *«...стоим и любуемся океаном... Вдали прошел наш грузовой пароход. Наверное, из Гаваны...»* А 21 сентября 1960 года в дневнике появляется следующая запись: *«Из газет и от корреспондентов узнали о вчерашней поездке Никиты Сергеевича в Гарлем, где в гостинице «Тереса» он навестил Фиделя Кастро.*

Как известно, по приказу государственного департамента хозяева гостиниц в центре Манхеттена отказались предоставить место для кубинской делегации, и она поселилась в черной части Нью-Йорка, куда почти никогда не заглядывают белые хозяева города. С радостью встретили жители Гарлема и Фиделя Кастро, и Никиту Сергеевича, всю ночь возле гостиницы происходили демонстрации, были слышны песни, танцы, призывы: «Пусть живет кубинская революция!», «Руки прочь от Кубы!»

Сложно было привыкнуть к Нью-Йорку белорусскому поэту, человеку, выросшему среди белорусских лесов и рек, в тишине деревенской жизни. Может быть, поэтому Максим Танк так внимательно впитывал в себя впечатления, так сильно вслушивался в звуки и голоса городских кварталов. И, конечно же, с особым старанием работал на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября в дневнике поэта появляется следующая запись: *«Подобно освежающему грому прозвучало выступление Фиделя Кастро, которое, кажется, всколыхнуло весь зал.*

Вот он уверенным шагом подходит к трибуне. На нем зеленоватого цвета военный мундир, воротник

рубашки расстегнут, будто этому солдату революции жарко, на плечах — погоны с ромбами, разделенными на две равных части. Одна — красная, вторая — черная. Посередине ромба горит белая пятиконечная звезда. Волосы немного кучерявые. Брови прямые, густые. Над правой бровью — морщина или какой-то шрам. Усы редкие, борода черная, густая. Лицо очень живое. Начал Фидель Кастро говорить спокойно, свободно — без какого-либо заранее подготовленного текста. Но, когда вспомнил про обиды своего народа, о несправедливой и вражеской политике американского правительства в отношении к колониальным народам и народам Латинской Америки, которые задыхаются в сетях жадных трестов и монополий, чувствовалось, как нелегко ему было сдержать свой гнев. Дважды председатель прерывал его выступление. Первый раз, когда он затронул кандидатов в президенты Кеннеди и Никсона, второй раз, когда он вспомнил франкистскую Испанию.

Фидель Кастро говорил больше четырех часов. Тот, кто слышал и видел его на трибуне, слышал и видел бушующее пламя кубинской революции...»

На следующий день Максим Танк снова возвращался к кубинской теме: «...снова пламенно выступил представитель Кубы. Мы все влюбились в этих чудесных, бородатых, беспокойных кубинцев. Кто бы их не зацепил, они всегда дадут надлежащий отпор».

Наверное, тогда, в 1960-м, белорусский поэт мало что знал о кубинской литературе. Это уже в 1970-е гг. начнется активное расширение белорусско-кубинских литературных связей. На Кубе побывают белорусские писатели: Василь Быков, Рыгор Бородулин, Виктор Казько, Алесь Жук, Карлос Шерман, Николай Матуковский и другие. В Минске были изданы книги, произведения кубинских поэтов и прозаиков в коллективных сборниках. В 1978-м — сборник стихотворений Николаса Гильена «Падарожжа да сябе самога». В 1986-м — антология «Тытунёвая кветка». Большая подборка стихотворений белорусских поэтов (были в ней и произведения Максима Танка) вышла в свет во втором номере кубинского журнала «Union» («Единение»). В Беларусь в разные годы приезжали А. Бальмасэде, Лейво Порталь, Л. Маре, О. Фернандес, Л. Эрос Леон, Д. Навара и другие. Конечно же, с кем-то из них Максим Танк, будучи в руководстве Союза писателей Беларуси, непременно встречался.

...В марте 1961 года вместе с советской делегацией на сессию ООН Максим Танк отправляется уже самолетом. 8 апреля после очередного заседания появляется следующая дневниковая запись: *«Над Кубой сгущаются тучи. Государственный департамент открыто заявляет о своей интервенции...»* 18 апреля — новая запись о том, что тревожит: *«...США под прикрытием флота начали агрессию против Кубы. А в ООН на глазах у всей ассамблеи, разыгрывается фарс, который угрожает перерасти в новую всемирную бойню».* 20 апреля 1961 года: *«На Кубе, кажется, дела обстоят не так плохо, как об этом писали американские газеты... Выступал Дж. Кеннеди. Говорил о необходимости смены курса американской политики, а то без выстрела можно потерять все. Стивенсон всю жизнь считался либералом, а за последние дни сбросил маску миротворца. Врал о летчике, которого у нас сбили, врал, когда говорил, что контрреволюционеры не из американских баз высаживали десант? Тревожное время...»*

Свою работу в ООН белорусский поэт продолжил и в октябре 1962 года. Из дневниковой записи от 8 октября: *«На утреннем заседании прослушал яркое и боевое выступление президента Кубы Дортикоса Освальдо. Все эти кубинцы — прирожденные ораторы, трибуны. Зала заседаний впервые за эту сессию была переполнена. Возле ООН стояли толпы людей, полиция».*

Судьба Кубы волнует ее друзей... 21 октября 1961 года: *«Америка открыто объявила о блокаде Кубы. Мир оказался на грани войны...»*

Именно тогда Максим Танк записал в свой рабочий дневник следующее восьмистишие (цитирую подстрочный перевод):

Сколько ног, которые мечтают
Про обувь самую модную,
Сколько плеч, которые хотят
Греться в мехах, бриллиантах,
Сколько рук хочет иметь богатство,
Золотые браслеты, —
И как мало голов видел,
Чтобы искали в мире правду!

Еще одна запись из дневника поэта от 26 августа 1962 года: *«По дороге в Кони Айланд, включили радио и услышали, что Хрущев соглашается на демонтаж наших ракет и предлагает начать переговоры. Президент Кеннеди дал приказ о снятии блокады... Призрак войны отступил. Только надолго ли?..»*

Не будем заниматься преувеличением и говорить о том, что классик белорусской поэзии любил Кубу также как и родную Беларусь. Но, наверное, правдой будет предположение, что все тревоги свободолюбивого кубинского народа нашли место в беспокойном сердце революционера и поэта Максима Танка. Как хочется, чтобы его голос, его поэмы о тех, кто знал цену свободе, отстаивал ее с оружием в руках, прозвучали и на страницах кубинских литературных журналов, чтобы его искренние, идущие из глубин души монологи о Николае Дворникове, воевавшем в Испании, Вере Хоружей, погибшей в Великую Отечественную войну, стали известными кубинскому читателю.

Кирилл ЛАДУТЬКО



Авторы номера

ЗЕЛЕНКО Вера Викторовна. Родилась в 1956 г. в Москве (Россия). Окончила математический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси. Автор книги прозы «Время ничего не значит». Живет в Минске.

ГАЛЬПЕРОВИЧ Наум Яковлевич. Родился в 1948 г. в Полоцке. Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, окончил Витебский педагогический институт. Поэт, прозаик, публицист, радиожурналист. Автор ряда книг. Директор радиостанции «Беларусь». Живет в Минске.

АВЛАСЕНКО Геннадий Петрович. Родился в 1955 г. в д. Липовец Ушачского района Витебской области. Окончил биологический факультет Белорусского государственного университета. Автор нескольких книг для детей и взрослых. Живет в Червенском районе Минской области.

ПЕГАСИН Михаил Владимирович. Родился в 1982 году в г. Светлогорске Гомельской области. Окончил Военную академию Республики Беларусь. Поэт, прозаик. Живет в Минске.

ШЕМЕТКОВА Наталья Геннадьевна. Родилась в 1973 г. в Гомеле. Окончила Белорусский государственный университет транспорта. Печаталась в республиканских периодических изданиях. Член литературного объединения «Пралеска». Живет в Гомеле.

ВАСЬКО Федор Федорович. Родился в 1961 г. в п. Мурмаши Мурманской области (Россия). Окончил Ленинградский электротехнический институт. Поэт. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Орше.

ГОДУЛЬКО Василь (Василий Владимирович). Родился в 1946 г. в д. Федьковичи Жабинковского района. Учился в Минском государственном педагогическом институте иностранных языков. Печатался в газетах «Сельская праўда», «Заря», «Літаратура і Мастацтва», в сборнике «Дзень паэзіі». После смерти поэта выдан сборник «Голас». Умер в 1993 году в д. Федьковичи Жабинковского района.

Д'ОРМЕССОН Жан. Родился в 1925 г. в Париже (Франция). Окончил Высшую нормальную школу (Париж). Член Французской академии, доктор философии. Автор более 30 книг. Живет в Париже (Франция).